

к 84(2)
3-80

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ

**МОСКВА –
ТРЕТИЙ РИМ
(ЧЕТВЕРТЫЙ РОМАН
В СТИХАХ)**



**КОРЕННАЯ
ПУСТЫНЬ
(ПОВЕСТЬ-ПРИТЧА)**

Орёл 2007



Золотарёв
Леонард Михайлович

**МОСКВА –
ТРЕТИЙ РИМ**

(роман в стихах)



Орёл – 2007

Золотарёв, Л. М. Москва – третий Рим (4-я книга романа-эпопеи в стихах «Арсений Чигринев»), «Коренная пустынь, или На земле просиявшие» (повесть-притча) / Л.М. Золотарёв – Орёл: издатель Воробьёв А.В., 2007 – 436 с.

Рецензенты: Курляндская Галина Борисовна –
доктор филологических наук, профессор.
Осмоловский Олег Николаевич –
доктор филологических наук, профессор.
Узилевский Геннадий Яковлевич –
доктор филологических наук, профессор.

Ответственный редактор: **Осмоловский Олег Николаевич –**
доктор филологических наук, профессор.

В эту книгу большого русского писателя Леонарда Михайловича Золотарева входит четвертый, заключительная часть эпопеи в стихах «Арсений Чигринев» – роман в стихах «Москва – третий Рим», а также повесть-притча на современную, животрепещущую и историческую тему «Коренная пустынь, или На земле просиявшие», которая продолжает идеи драматической квинтологии в стихах об Александре Македонском, всё так же из Большого Евразийского Круга.

Ранее были опубликованы первые три романа в стихах – «Библейское имя Мария», «Кремль. Соловки», «Неопалимые». С выходом в свет четвертого романа завершается многолетний подвижнический труд автора по созданию современного эпоса, образованного сплавом квантовой поэзии, многомерного потока сознания, многослойных реалий жизни в обновленной эстетике, художественного мышления. Эпопея в стихах предназначена как для подготовленного, так и широкого читателя, особенно для молодежи



*Леонард Михайлович Золотарёв в годы,
когда задумывался этот роман в стихах.*



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(предисловие)

Вот и окончен труд нескольких лет моей жизни — четвертый роман в стихах «Москва — третий Рим» большого эпического полотна в стихах «Арсений Чигринев» — о герое нашего времени, на переломе веков, даже тысячелетий, где в литературе, как мне кажется, должна быть своя колокольня Ивана Великого. Иными словами, обязано быть произведение большого масштаба. И я это сделал!

Вспомним, как все началось: с первого романа в стихах об Арсении Чигрине, названном «Библейское имя Мария». Передо мной маячил единственный в мире роман такого рода, созданный гением Пушкина «Евгений Онегин» — о «лишнем» человеке в русской литературе XIX века. Все другое крупной формы (Байрона, Гете, Шелли и др.) до тех пор было большими поэмами. А.С. Пушкин писал своего «Онегина» семь лет, я же, благодаря опыту создания романов в прозе, драматургической трилогии в стихах о Крещении Руси, выдал первый том своего «Арсения» года за полтора. Дорого было участие в проекте друга моего Осмоловского Олега Николаевича — доктора филологических наук, профессора, специалиста по Достоевскому.

Однажды при встрече втроем за кружкой доброго пива в Орле, на улице Латышских Стрелков, о которой в свое время я даже сложил песню, один наш приятель — тоже профессор, доктор философии — высказался этак свысока: «Да что ты, Леонард, знаешь об этом!»

— Об чем это?! — сдвинул я брови.

— Да он знает, — вспыхнул Олег, — сколько же, сколько и мы с тобой! Плюс он еще и писатель, с художественной интуицией.

В то время мы обсуждали сугубо эстетические, философские, направленческие вопросы. Ясно, что без

этого — масштабного произведения, тем более романа в стихах, не создать. Просто лирикой, даже самой нервной, тонкой, не обойдешься. Правда, к тому времени я уже имел опыт написания продолжения «Илиады» и «Одиссея» Гомера — «Белая Скифия». Две части в ней: действие первое происходит тут у нас в скифских местах, это, так сказать, верхний треугольник в «белоскифском ромбе» — острием вверх, к которому и был подобран мной музыкальный ключ. И второй треугольник дилогии — острием книзу. Тогда (археолог Л.Красницкий, философ В.Оболенский, филолог, доктор наук Г.Узилевский) из группы моей «Белой Скифии» дали мне немало добрых советов. А тут еще сам Гомер — бездонный, невероятно живой, современный.

Весь роман в стихах — это действительные события то в провинции, то в Москве с 91-го, 93-го годов. То на Красной Пресне, то на кольцевой дороге, а то у «растрелянного» здания Парламента. И этот текст положил я на музыку. И вот теперь, через годы, оглядываясь в не такое уж давнее прошлое, что я вижу и что имею? Ныне за спиной у меня уже все четыре романа в стихах, о чем я вначале и мечтать-то не смел. На практике осуществлены наши с Олегом Осмоловским чаяния, воплощены эстетико-нравственные, философские, литературоведческие мысли, глобальные космологические идеи, без чего невозможно было бы превращение такого крупного, сложного современного куса жизни в тугой поэтический сплав. Мы с Олегом Николаевичем тогда назвали предощущаемое направление сначала «фантастическим» (уже было у Достоевского), затем более точным и, на наш взгляд, перспективным — «космическим» реализмом.

И что же мы видим ныне? Открывается целый поток нечто подобного в литературе. Начнем с Нобелевского лауреата бразильского писателя Паоло Коэльо, совершившего недавнюю свою «одиссею» по России — на «восточ-

ном экспрессе» от Москвы до БАМа, как некогда и я, ваш покорный слуга. Есть в произведениях Коэльо нечто ментальное, «поток сознания»; мне кажется, это уже встречалось (Пруст, Джойс). А вот в руках у меня известный бестселлер американца Дэна Брауна «Код да Винчи». Много чего там «накопано» из истории общества, религии, человека. Вначале аллюзии и иллюзии, ощущение достоверности, к финалу однако осознаешь, что это все-таки детектив. По своему фантастико-психологическому, социально-нравственному смыслу, по всему реальному, несколько странному, сатанинскому, инобытийному содержанию это, безусловно, уровень не «божественного» Достоевского. Однако многое из того, что открывается, что за кадром, — особенно о моем тезке Великом Магистре Леонардо да Винчи, имя которого ведет меня по жизни и в творчестве, колышет, однако, не одну только мою «подкорку».

Так вот, нечто подобное из реалиев подсознания и истории найдено и мной в последние годы, открыто на уровне интуиции. В частности, что из зашифрованного видится у Шекспира: Гамлет — это перевернутое «Телемах» (сын царя Одиссея). А отец Гамлета — датский конунг — король («Бедный, бедный Йорик»), скорее всего, не был отравлен братом. В то же самое время летописцами зафиксировано появление на новгородской Руси Рюрика — вождя викингов, варяжского «гостя». Стало быть, в дальнейшем тот же Киевский князь Игорь (сын Святослава) является родственником, как бы сводным братом того же Рюрикова сына в шекспировской Дании — Гамлета. Невообразимые шифры, невероятные, космические глубины.

Вот хотя бы такая деталь. Мой музыкальный ключ к «Белой Скифии» — «белоскифский ромб». Верхний — острием, естественно смотрит вверх — на север, к Белому острову; нижний, естественно, направлен острием вниз —

на юг, в Элладу, родную для Одиссея Итаку. И вот в «Коде да Винчи» я нахожу, что сами по себе подобные острия вверх и вниз символизируют мужское и женское начала (янь и ин). Верхнее – острием на Север, аж до Северного полюса, а вначале пути сюда, в наши места, куда отправляется в свое новое путешествие Одиссей, чтобы встретить человека, который весло в его руках принял бы за лопату. Только тогда царь Итаки смоет кровь с себя за убийство молодых ахейян, что даст возможность достойно похоронить его, царя, в земле родимой Итаки. Так вот это острие ввысь и есть такое мужское начало, символизирующее Одиссея. «Осколок» сколотов и поныне находится где-то на севере Скандинавии, у Киркенеса. Все доказывают сколоты норвежским властям, что они нацменьшинство, за что им положены субсидии, и все не могут доказать этого. Да, что сколоты это – еще и откуда-то, корнем нездешние, все согласны, а что они – особые, мирные скифы – хлеборобы, жившие некогда в этих наших местах, севернее Причерноморья, что их оттеснили потом на Север туда степняки, – не согласны. Да дайте же, дайте им денег! Ведь это они, в составе земляков наших, предков, выращивая хлеба и торгуя с Элладой через греческие города – полисы на Понте Эвксинском, вскормили некогда того же Гомера, Аристотеля, Платона, Эсхила и других античных мудрецов, а через них и всю европейскую цивилизацию. Вот какова цена хлеба их, самим этим сколотам! Каковы истоки цивилизации!

В руки мне попала книга рассказов «Конец века» Ю. Мамлеева, тоже вроде бы ирреального, мистико-фантастического направления. А еще в телепередаче услышал я о другой книге того же автора «Россия вечная», где такое направление именуется уже как «метафизический» реализм. На мой взгляд, это несколько узковато, термин «космический» реализм вбирает в себя «метафизичность» как частность. К тому, очевидно, в погоне за

«остраннением», в рассказах Ю.Мамлеева что-то многовато, просто-таки изобилие мрака, гробов и смертей. Это отнюдь не работает на эстетику, как и на бессмертие, в том числе и самого произведения, которое декларирует автор. Заметим, Мамлеев избегает слова «арийскость», слово «арии» ни разу не употреблено, но оно так и витает, ему ведомо «движение» к солнцу и свету, любви и бессмертию. И все это, как мне кажется, во многом соотносится с «тибетскими» идеями из книг Э.Мулдашева о происхождении человека и человечества, а частью перекликается с известными ныне документальными телепрограммами Би-Би-Си. Об этом же упоминает и Дэн Браун в своем бестселлере.

И вот все четыре моих романа в стихах, входящие в эпопею, написаны и изданы хотя бы и небольшим тиражом. Однако они есть уже в библиотеках, призывают к себе: читайте! Эпопея входит в Большой Евразийский Круг (БЕАК). В нем сосредоточено сочетание древнейшего историко-фанастического начала, порой даже мистического, с современной реальной прозой жизни, психологией человека в реалиях нашего бытования, нуждающегося в постоянных катаклизмах — взлетах и падениях, в невероятной слепоте и очевидных прозрениях.

P.S. Кстати, в моей драматургической эпопее в стихах «Пламень Александрии», также включенной в БЕАК, мной обозначена неопределимая роль Александра Македонского в распространении знаний для человечества. Это же он, царь Македонии, создал пятое чудо света — знаменитую Александрийскую библиотеку, а при ней филиал ее — «Музисон», где выразил мысль, становящуюся аксиомой, об истинной роли музыки, которую Александр поставил впервые рядом с высоким, божественным словом. И, когда я подбираю свой музыкальный ключ к этому «Пламени Александрии», а порой и текст просто пою, мне, чую, легче дышать, выражая слово в музыкально-поэтическом спла-

ве, в этих «квантах» поэзии, когда слова из прозы переходят в музыку слова, музыку стиха, а стихи с музыкой образуют сюжет концерта, иллюзию драматургии. Все достижение за годы служения литературе, копясь, мучают и в то же время очищают душу, творя прекрасное негасимым светом любви, уводя в невыразимые, божественные кущи слова.

И вот еще два факта – совсем свежие, когда я дописывал повесть-притчу «Коренная пустынь, или На земле просиявшие», посвящая ее друзьям своим скульпторам Вячеславу Клыкову и Валентину Чухаркину, известным по памятнику полководцу Георгию Жукову в Москве и Сергею Радонежскому в Троице-Сергиевской лавре.

Во-первых, что касается музыки. По всероссийскому радио рассказали о том, что после книги «Кода да Винчи» Дэна Брауна где-то в Ирландии в одну из древних часовен, где расшифровывался этот «код» хлынули потоки любопытных. В том числе и ученые. Досужая мысль усмотрела тут музыку в камне, гимн церковный, в свое время запрещенный властями. Колонны разновысокие, геометрические сочетания различного рода камня, капель, падающая с разной высоты на разноширокие плиты давали разнотонные звуки. Прочли эти звуки перевели в мелодию, и вот поет под сводами церковный хор как бы с магнитофонно записанного камня эту мелодию. Священный гимн сохранен, стал достоянием современности.

И еще. Во-вторых, привезли из Греции в Орёл 2-4 мая 2007 года мощи Святого Спиридона – десницу его, то есть правую руку. Пришел чудотворец сюда к нам прямо как для меня специально. И с Корфу он – из Итаки, откуда и Одиссей, о чем у меня как продолжение «Одиссеи» Гомера написана «Белая Скифия». И десница моя, рука моя правая тоже – труженица, тысячи страниц ею написаны. «Кто же такой Спиридон, – думаю, – чудотворец этот из III века н.э.»? И фантазия разыгралась на почве мною иссле-

дованного и написанного: «Может, кабир?». А кабирсы — это филистимляне, как фригийцы с Ливана, особая вера — колдуны, что ли, из азийских глубин незапамятно когда на Корфу явились и сели. Это потом элладийцы на них наслоились, древние римляне. Помните, «Ночи Кабирии» — фильм Феллини? Кабирсы — люди особой веры, черной магии, что ль?.. И все это кануло в мою повесть-притчу, которую как раз и писал... Разве не «чудо» — святой Спиридон сам ко мне пришел из Итаки, ходит по людям, выполняя их нужды. Сколько тапочек уж сменили ему, пока он шел к нам сюда, в серединную Русь, в эту нашу хлебородную «Белую Скифию»?

Спасибо святому Спиридону, «Коду да Винчи», Александрийской библиотеке и ее «Музисьону», что они все-таки были! И в сознании нашем все-таки есть. Спасибо, Книга, тебе! Ты творишь во мне человечество, в самые трудные минуты жизни делаешь из меня человека — духовного, стремящегося объять необъятное, постичь непостижимое, идеальное реальной человеческой мыслью и сердцем.

От автора.

«МАСТЕР ЛЕОНАРДО ИЗ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКА»

Так называется статья В.Садовского о моем отце — писателе Леонарде Михайловиче Золотареве, опубликованная в сентябре 2006 года в газете «Орловская правда». В ней ярко, образно рассказывается о жизненном, творческом кредо художника, отмечается его особое, родовое качество — мастерство, доставшееся, очевидно, как по наследству, так и естественно приобретенное. Отец отца, мой дедушка, был строителем — возводил Дом Со-

ветов в Брянске, завод имени Коминтерна в Воронеже, из ворот которого выходили (буква «К» – «катюша») гвардейские минометы, а затем шагающие экскаваторы. Эти «катюши» хотя бы на полгода сократили войну, а значит, и не дали упасть на Москву тому, что упало затем на Хиросиму и Ногасаки. А ведь после 37-го отец отца, мой дедушка, пропал где-то на Соловках за такие «заслуги» со всеми для семьи вытекающими отсюда последствиями. Так что страницы третьего романа «Кремль. Соловки» вполне автобиографичны. Вот мать отца, моя бабушка, оказавшаяся, действительно, чуть ли не «декабристкой», и привезла моего двухлетнего отца из Воронежа, откуда они были изгнаны в 24 часа, сюда на Орловщину, в городок Малоархангельск, оказавшийся затем в самом пекле Орловско-Курской дуги. А после освобождения моя бабушка Мария Герасимовна была в городке лучшей портнихой, шила фуфайки и белье на войну фронтовикам. Представьте себе, в молодые годы она пела когда-то в первом, деревенском хоре Пятницкого. А дедушка отца, Герасим Макарович, был на все руки мастером – плотником, столяром; делал скрипку внуку всю свою жизнь. Скажут, что ж ты про отца-то своего пишешь, как бы восхваляешь? А что ж, сыну писателя-орловца Леонида Андреева можно было, а мне нельзя? Дожидаться, что ли, когда кого-то не станет? Спешите рассказывать про мирные, как и военные подвиги, делать людям добро, пока они живы! Тоже урок для нынешних и будущих поколений.

И вот в свет вышли все четыре романа о нашем современнике этой объемной, эпохальной эпопеи в стихах «Арсений Чигринев». Это свыше тысячи страниц, эквивалентно прозаическим – трем, четырем тысячам. Вспомним, в свое время Пушкин заметил, что роман в прозе и роман в стихах – «дьявольская разница». Попробуем что-то об этом сказать.

«ЛИШНИЙ» В СТОЛИЦЕ

Эпопея в стихах «Арсений Чигринев» в четырех частях – («Библейское имя Мария», «Кремль. Соловки», «Неопалимые», «Москва – третий Рим») – широкое эпическое полотно, показывающее нашу жизнь на переломе веков, даже тысячелетий, с начала 90-х годов. От танков на московской кольцевой дороге до хлебных нив, колоссящихся на средне-русских полях. Москва и провинция, губерния и деревня, русские люди в самом сердце России, столица и тихий, скромный районный городок – святой уголок срединной Руси, человек в период общественных, исторических потрясений, в сонме современных мыслей и чувств, в душе автора и каждого из нас. Это, по мнению писателя-поэта, возможно было отобразить только средствами емкой и плодотворной поэтической речи. Новые времена – новые нравы, новое мышление, эстетика XXI века, т.н. «квантовая» поэзия – все это в многоликом поэтическом сплаве, а в нем – главный герой Арсений Чигринев со своей тонкой натурой, с отзывчивостью на все катаклизмы мира своей страдающей русской души. Это книга автора про себя.

В первом романе выходец из провинции – Арсений Чигринев, хоть и достиг определенных высот (он ведущий артист одного из ведущих московских театров), однако чувствует себя «лишним» в столичной мешанине и театральной мишуре. Танки у Дома Правительства, а ранее СЛОН на Соловках – все его 278 ступеней сверху вниз когда-то с горы Секирной – во втором романе, а в третьем – Ходынка на похоронах вождя в пятьдесят третьем, Соловецкий камень в Москве на месте памятника Дзержинского – реалии не такого уж далекого прошлого, осмысленного исторически, в русле веков. Седые времена – русское поле в провинции, эти еще древнескифские, скототские хлеба. Широки мазки у художника – автора; многогранно, рельефно лирико-эпическое мышление, живописующее бытие.

Внимая поэтической строке, невозможно не трепетать, не сострадать, не петь всем сердцем музыку русских текстов и песен героя. Арсений Чигринев, став артистом и поселившись в столице, с первых же сцен так и рвется из столицы обратно к себе – в коренные веси Руси. Уже с первой поступи по эпопее в стихах Леонард Михайлович Золотарев проявляет себя как большой мастер поэтической речи, соединяя в себе качества поэта, прозаика и драматурга, когда высокое, духотворное внутри, в микрокосмосе человека, отождествляется с его тонкой, вдохновенной природой, с макрокосмосом мира, его естеством. «Чистые, божественные строки //Приходили в голову тогда //И сейчас по небесам широким //Все ведут, все падают сюда, //Все глаза – фиалки голубые// Все звезда, скользящая на них».

Каковы же эти природные, космические первоначала Арсения? Вода и Земля, Огонь и Воздух. То ли еще языческие, а то ли уже цивилизационные, христианские – природные стихии, которые состоят в соединении с духом и разделении на живое и мертвое, в количественном смещении духа и соответственном обожествлении вещественных первоэлементов природы, которые, эволюционируя, сами по себе остаются и неизменными, и очеловеченными. У Тютчева Вода – это влага, дающая жизнь всему живому. Это и океан, и море, и реки, и источники, родник и ручей, и фонтан, и капли дождя, капли слез и т.д. Наконец, вообще высшее, надмирное начало, по тому же Тютчеву, определяется как «животворный океан», где все реальное – инобытийное, таинственное сливается с влагой. Земля – олицетворение материального, в самом герое Арсении Чигриневе. В частности в нем постоянно звучит щемящая нота, призывающая его как артиста к роли Гамлета, Прометееву огню – источнику света, радости, к христианскому благодеянию. Хотя Огонь в то же время это и всепоглощая губительная стихия. По мнению

Тютчева, такая стихия сжигает, испепеляет душу, проводя ее сквозь испытания бытием. В моменты испытаний любимая женщина, эта его божественная Мария, возвращает Арсению Чигринуеву физические и духовные силы. «Вот так в России и живем// Надежды вяжутся с огнем <...> // И нашла его почти уж бездыханным. //Отцеловала. Села, обняла».

Порой герою кажется, что все другие жители такого огромного мегаполиса, как Москва, одного с ним «флера». Они кружатся, кипят себе в этом вареве, лицемерят, выживая — играют, порой продаются. Легко стелят, да жестко спят. А куда податься; зато у него, провинциала, за спиной есть еще и родная деревушка, малая родина — Бобры. «Все тот же путь — в Москву и из Москвы. //Мы, серединные, в столице чем-то странны. //Отсюда уезжаем, скажем, — львы, //А возвращаемся — зализываем раны.// Уж тут инфаркты — после, погода,// У тех, кто навышу не зацепился. //Земля родная! Он сражался, бился. //Прими, утешь и смерда, и вождя».

Остраненность сущего варьируется на протяжении всего романа, проявляясь на разных уровнях: то в социальном плане, то в психологии героя, то в его антропологичности, выделяя и противопоставляя вечным истинам независимость суждений, придавая характеру романтический колорит, а сюжету — полифоничность, поэтическим нюансам — многообразию и тонкость, а психологии — многослойность преломлений и переворотов. Так почему же все-таки это роман в стихах, а не как обычно — в прозе? Автор отвечает такими словами:

*«Где прозы надо два-три килограмма,
Тут я тремя словами совершу».*

Главное автору — выразить позицию, проявиться в действиях, показать саму жизнь, мотивированную, а порой не мотивированную, увязанную с космосом поэтически, в самых ее невероятных, небесно-божественных возможностях

и проявлениях, что, по мнению Пушкина, служит поэзии с древнейших времен, просветляя и обожествляя сознание.

«ДУРНАЯ» НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Во втором романе «Кремль. Соловки» автор охватывает внешним и внутренним оком героя Арсения Чигринова, все его три кремля – от маленького деревенского «кремелька» то ли где-то в середине Руси, то ли в Белоруссии тоже недалеко, до Кремля, что на Соловецком острове, а от Соловков рукой подать уже и до Москвы, до главного Кремля – красавца на холме у Москвы – реки. Интрига завязывается с первых страниц, когда герой узнает, что он носит якобы имя не родного отца, погибшего на войне, а отчима, фактически фамилию по названию соседнего села Чигринова. У семьи «энкавэдэшники» отобрали в центре города квартиру, сначала общество дало как ударнику труда, а затем отобрало, в конце концов, вместе с жизнью. Натуральный отец героя в 37-м был отправлен в печально известный СЛОН – Соловецкий Лагерь Особого Назначения. И Арсению многое становится ясно, в частности, почему после школы ему не дали медали, почему затем не пройдена была им «комиссия отца Дионисия» в Московский госуниверситет. И тому несть числа.

Все у Арсения перекликается с фактами жизни самого автора, проходя почти параллельно. И то, что родился герой в Воронеже, где отцу как ударнику труда в свое время предоставляли жилплощадь в центре города. И вот теперь у него деревенский кремелек – местечко, где генерируется народ, без него немыслима нация, подпитывающая отсюда, от земли, другие кремля – Московский и Соловецкий. «Тебя тут не съедят. А все же, все же, что тебе дороже?» И вот иногда происходит некое

остраннение событий; действие, как бы сгущаясь, переводится в иное состояние — фантастическое, ирреальное. Речь идет о формировании романно-чувственного мышления, когда реалистическое восприятие, романтизируясь, соотносится со «второй» реальностью, то есть с миром инобытийного, фантастико-ирреального. Особую значимость при этом приобретает «двоемирие», показ его через слово, «квантовую поэзию», когда все от лексики до синтаксиса осложняется сочетанием противоположного, реального, духовно-возвышенного, божественного и в то же время ирреального, инобытийного.

Тайное, загадки личностного истолковываются как сигналы Неведомого, побуждающие проникать в смысл всевидения, позволяющие раскрывать поведение, служащее основанием для мотивации с помощью психологизма. Код на «тайной вечере» жизни укрыт за чисто внешним, он влечет мучительную ассоциативно-аналитическую работу души, ума автора, вызывая ответную активизацию читательского интереса, когда за игрой, внешним порядком вещей, постигается суть текста, сам сплав стиха, исходящий из мощной внутренней посылки. Совпадение ролей деревенского кремелька, столичного Кремля и Кремля Солонков в том еще, сталинском времени, перенося на провинцию некий диктат больших городов и реалий, придают роману фантастический облик, даже несколько зловещее, мистериальное звучание, раскрываясь через судьбу человека в контексте судьбы народа, всей страны, даже цивилизации. Портрет отца возникает в воображении Арсения Чигринова, диктуя ему подвижные и подвижнические нормы поведения, особую обостренность, обновляемое восприятием окружения.

Посещение героем «архипелага» спровоцировано, очевидно, все той же «дурной» наследственностью, доставшейся ему от отца. Открытие, принадлежащее К.Г. Юнгу и названное им «коллективное бессознательное», как-то само

собой подводит к сравнению романа с «таинственной повестью» «Сон» Тургенева, где на героя воздействуют иррациональные силы, увлекая его в иные миры. Нечто подобное происходит и с героем романа «Кремль, Соловки», где в сложном духовном пространстве пребывает сын своего отца Арсений Чигринев, подверженный, это очевидно, влиянию неосознаваемого, бессознательного, а вместе с тем еще и возможного воздействия на него просветляющего божественного начала. Известно, что в восприятии человека имеются такие уровни информации, где она, откладываясь во глубине, образует «жесткий диск», откуда в поколениях она и скачивается в виде наследственной памяти. Такая долговременная память является основой интуиции, а интуиция прокладывает дорогу в иные миры.

В кризисной ситуации, в минуту смертельной опасности, даже при клинической смерти, мозг мечется, ищет выход, подыскивая схожую ситуацию, бывшую когда-то в жизни индивидуума; не находя ее, он обращается к информации рода, архипредков, глубоко закодированной в «архиве памяти». И память выдает эту информацию в целях сохранения и продолжения рода. Так, через «архив памяти» закрепляются и совершенствуются отдельные черты индивидуума на подсознательном уровне.

Так вот, и Арсений начинает осознавать, что болезнь, связанная с потерей памяти, т. н. амнезия, может исключить его из социума, привести к преждевременной гибели. Вспоминая увиденное и пережитое, герой приобретает способность к корректировке себя в новой для него ситуации, в чем и проявляются артистичность, гибкость характера, поведения как сиюминутной реакции на постоянные внешние раздражители.

С функцией генетической памяти обстоит гораздо сложнее. Наследственная память – родовая память, время от времени проявляемая в потомках. Это, скорее, последовательность картинок из прошлого, зафиксированная

в виде кода и передаваемая под воздействием иррациональных сил. Нечто подобное происходит с героем романа Арсением Чигриным, как и с героем повести Тургенева «Сон». «Коллективное бессознательное» в повести Тургенева базируется на принципе «двоемирия» — в мире реального и фантастического, предполагая несоответствие образа отца в воображении героя с реальным отцом, что и передается реалистической фантастикой. В романе «Кремль, Соловки» иррациональные силы показаны существующими реально как в самом герое, так и фантастически, то есть нереально, в виде гипотез, в поэтическом сплаве, воображении автора, находящемся под воздействием всеобщих вселенских законов.

Мотив «странности» героя и его «тайна» раскрываются в романе Л.М.Золотарева как при демонстрации едва уловимого, фантастически очерчиваемой наследственности, так и, на первый взгляд, «странных» совпадений, казалось бы, случайного воздействия всех трех Кремлей на судьбу героя, поколения, страны. Арсений явно набирается сил от родной деревушки Бобры, впрочем, как и от отца «кремелька» под эгидой его Величества московского Кремля, способного управлять необъятной Россией двуцветно — в черно-белом изображении: то самостоятельно, а то через Кремль Соловецкий, Соловецкий «архипелаг».

Каковы парадоксы, седа же история! Невообразима красота заветного Белого Острова, трагедийно недавнее прошлое в нем, как закрытая «зона». В индийских «Ведах» до сих пор поклоняются Северу, а там счастливому Белому Острову, откуда и ведется авестийский след в человеческой праистории. Тогда у людей еще было бессмертие, действовал тезис «возлюби другого, как самого себя», преобразованный затем в христианское — «возлюби ближнего». Знаменательны страницы о магнитном юге Урала, откуда родом сам Заратустра. И поныне тут у Карталы находят следы свыше тридцати тысяч шахт; когда-

то тут добывали руду, стали делать оружие, с чего и начался «железный» век, пошли войны, появилось понятие смерти, началась эра ненависти и насилия...

И вот этот СЛОН на таком красивом месте земли – Белом Острове, этот Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Герой вместе с автором, идя по стопам отца, чувствует себя тут противоречиво: то раскрытым, абсолютно свободным среди прекрасных ландшафтов, естественных природных красот. А то как в пятнистой шкуре леопарда: в судьбе своего отца, тех же пасынков жизни Солженицына, Бродского, Бахтина. «Вот тут и был тогда Счастливым Остров, // Еще до Атлантиды. // Любили люди, зависти не знали. // Полярный день был вечен, хоть куда. // Где до сих пор мир счастья».

В романе представлены многие формы фантастики – от явной до завуалированной. Из примеров явной фантастики – воздействие иррациональных сил, когда героя тянут вниз с горы Секирной все эти 278 ступенек, с которых вниз головой сбрасывали «счастливых». «Шел Чигринев. И очень круто // Взбирался, как на колокольню. // Скрипела каждая минута, // Пуская в жизнь другую. Больно // В нем отдавался каждый шаг. // Темно и сыро. Тишь и мрак. // Прилег в постельку, и невольно // Мысль набиралась непарелью. // Мельчало что-то, страх ли, бесы». Как видим, налицо явная мифологическая фантастика, мотивированная психологически. В то же время она подвергает героя воздействию скрытых агрессивных иррациональных сил.

Завуалированная фантастика скрыто выражает не только наследственность, но и реакцию организма на сущее, исходящую из самих догадок, предчувствий, поступков героя. «Отец его // Живой перед глазами. // Каким он был, // Каким вот тут стоял. // А он его по сути не видал».

Экспонирование дальнейших событий, внутренне, казалось бы, «странных», невероятных мотиваций, несет роко-

вой отпечаток всех трех кремлей на судьбе героя, на всем его тонком, нервно-психологическом, артистическом облике.

Таков Арсений Чигринев на «театре жизни», в главных, магистральных проявлениях бытия. Вот он на печально известном «архипелаге», на том самом «счастливом» Белом Острове, откуда вскоре отправится в столицу знаменитый знак памяти — Соловецкий Камень. Вот герой провожает Камень уже по Москве, идет вместе с народной массой до Лубянской площади. Вот на этой площади сбрасывают изваяние, чтобы поставить этот камень-память о двадцати трех миллионах...

А судьба героя, его близких, семьи невернувшегося отца в романе — памяти идет своим чередом. Вот как заканчивает автор — вторую эту часть эпопеи в стихах надеждой на продолжение:

*«Роман и второй уж, как песенка спета,
Добить бы и третий скорей!*

*«Цари никогда не любили поэтов,
Поэты всегда не любили царей»...
Уходят колонны. Приходят другие,
Я выстрел Дантеса беру на себя.*

*Мои дорогие артисты благие,
Опять в архетип заключили тебя».*

Отцы и дети, память во всех ее проявлениях и извращениях. Когда отцы попадают на Соловки, подумайте только: что потом достается их детям?

ТЯГА ЗЕМНАЯ

В третьем романе «Неопалимые» Арсений Чигринев побеждает неожиданно для себя на выборах в местные органы власти и оказывается в чиновничьей среде. Это происходит на его малой родине — в Адамове, небольшом районном городке срединной Руси, что неподалеку от Чигриневки, их столыпинского отруба — поселка Бобры.

Чигринев становится главой районной администрации. Круто меняются жизненные ориентиры героя – бывшего артиста одного из ведущих московских театров. Он сам становится властью, колесиком и винтиком одного-единственного, укорененного в России огромного социально-бюрократического механизма. А все тяга земная, сила родимой земли, для которой Арсению самолично в самую тяжкую пору хочется сделать что-то хорошее. Самому вытянуть хочется, как говорится, Россию из прорвы.

В фантастических, порой даже мистических пределах обетования показана историческая подоплека древнейшей девонской глины в недрах Адамова, которая не дает пропасть городку, создавая адамовцам рабочие места, давая средства для существования. И как тут не вспомнить былинку о русском богатыре Святогоре, который, сидя на коне перед Микулой Селяниновичем, как взял в руки сумочку, так в земле и «угрыз». Ибо в сумочке оказалась «тяга земная», сила родимой земли. Именно она, Белая Глина эта, мистика недр, влияет на все тут живое, придавая местности силу, энергию, чистоту. А главное – дает ощущение победы, таланта, выраженного в слове, в первородных речениях, на базе чего и возник тут, в этих местах, наш «великий и могучий» русский язык, а уж на основе его, всенародного, и формировался костяк нации, нашей литературы. Вот куда возвращается Арсений Чигринев, побродив по белому свету, к каким припадает пределам. Так хочется ему поддержать свой народ в тяжкую пору его существования.

Тема малой родины известна с незапамятных, еще скифских времен, когда древние предки адамовцев – здешние хлебоборы – сколоты торговали хлебом с античной Грецией, вскормливая Элладу, ее ученых мужей. «Вот какова цена нашему хлебу! – вспоминает герой об Аспазии из диалогов Платона, возвеличившей роль малой родины в те еще незапамятные времена. – Выстояли тут и в сорок третьем, в битве на Орловско-Курской дуге, выстоим и сейчас.»

Но тогда было ясно: что у тебя перед окопами, а что ныне у нас за спиной?

Сколько в наши дни пустых домов по улицам Адамова, сколько крапивных мест в бывших поселениях, а сколько свадеб? Сколько рождается, а сколько уходит, фиксируясь в «записях актов гражданского состояния»? Как летописец, автор фиксирует время на большом полотно, проводя трагедию народа через свое видение, сквозь авторские ощущения. Тут же истоки народа, коренная Русь. Живая вода журчит под ногами, сливаясь в ручьи, речки направляются с этих холмов то в Оку — Волгу — седой Каспий, то в Сосну — Дон — Азовское, Черное моря. И вот по этим адамовским животворным улицам и переулкам бродят пока что живые призраки — «луноходы», бомжи с местом жительства, но без надежды на заработок. Между тем, кирпичный завод демонтирован, строительные вагончики увезены, какие уж тут перспективы! И в таком вот суровом мире существуют безбедно чиновники. И сколько их по России, и все растет и растет их число, разлагая и разлагаясь. «Или тебя в объятиях удавят. //А попадись, какой-то идиот, //Так и в руках тебя сомнет. //Не брать все в разум надо. //Еще Екатерина //Сказала баснописцу как воеводе своему, //Мол, критикуй пороки, //Не суй фамилии — то в строки».

Надмирное свойство девонской глины выявляет масштабность авторского замысла, глубину его дыхания в изображении временного и вечного в судьбе героя, края, страны. Белая Глина неопалима, опалимы ли люди?

«Пробы взяли они с собой, //В Москву увезли Белую Глину. //А на днях, установив картину, //Посылку прислали, перечень длинный. //В общем, царская глина мифическая, эта девонская. // На царской дороге». По этому тракту проезжали когда-то Екатерина Вторая, сам Пушкин. Здесь поэт принят был якобы за ревизора. Сюжет Пушкин передал Гого-

лю, а тот создал свою бессмертную комедию. Такова легенда, а от того, как обрастает мифами, сказами, речениями местными край, во многом зависит его красота, духовность.

И вот как пример свободного, исторически широкого, романного мазка – этакой внушительной эпической панорамой – выглядит вставная повесть «Ходынка. Аппиева дорога», сравнимая разве что со вставной же повестью в прозе «Хлеб» из эпопеи А.Н.Толстого «Хождение по мукам». Тот же монтаж, сопоставление инородного с первородным, когда возникает особый эффект, проявляются новые, невероятные, порой фантастические возможности, выходящие за грань обычного. «Аппиева дорога» – это повесть о Сулле, про легендарного Спартака. А «Ходынка» – это уже о хождении людей на похороны вождя в нашем не таком уже давнем прошлом, что дает возможность сопоставить, ярче проявить времена, высветить потаенные уголки сознания, надежды каждого, психологию толпы, оригинальное и типическое в призраках всяких режимов. «Не сотвори себе кумира» – как бы висит над поколениями, бредущими по Аппиевым дорогам всех времен и народов.

Не стало Сталина, и что будет с народом? Пол-России сбилось в Москве в серую жуткую массу. Трагическая атмосфера похорон питает восприятие Шурика Родькина, его техникумовских друзей, всех этих «двенадцати апостолов», сплотившихся в монолит.

Кто и на чем, просто пешком,

Грузовыми – обочиной

Двинулись люди, идут молчком,

Сосредоточенно.

По направлению к Северу.

Размеренны, каменны лица.

Заметим, образ главного героя Арсения Чигринова показан все время в «бурном потоке», уводя нас в незапамятные, можно сказать, в еще авестийские времена. Это придает реалиям достоверность, подвижность. Глав-

ный персонаж Арсений Чигринев взвинчивает себя, свои возможности как якобы независимого, свободного человека, в то же время он «колесик и винтик» механизма аппарата, в недра которого его занесла судьба. Будучи главой района, Чигринев начинает постигать этот «рай» изнутри: внешние амбиции и внутреннее, постоянные страхи присущи чиновничеству; реальна возможность быть в любое время низложенным, смятым ощущается постоянно; в особом таком «слоеном пироге» герой чувствует себя постоянно зажатым сверху и снизу. Это и определяет силу героя, его понимание окружающих. Арсений осознает, что не все еще убито в нем, не все потеряно. Мистика Белой Глины, олицетворяющей малую родину, близких людей, таких, как друг его Шурик Родькин, не дают Арсению пасть. Находясь под постоянным воздействием бытования, перед натиском инобытийного на главном стратегическом направлении жизни, а именно, там, где народ, Арсений, находясь вместе со всеми как бы в этом «слоеном» пироге, то есть между молотом и наковальней, между светлым божественно-нравственным началом, лучше чувствует в себе недра души, черный «пиар» ирреального, инобытийного.

Что же держит его, каждый раз давая возможность устоять на самом краю, когда, кажется, пол вот-вот шатнется, падучая вот-вот скрутит его, бросит на пол, вниз? Предприятие по переработке глины «ВИЛОР» — это его последняя надежда на возрождение края, городка Адамова и адамовцев.

«Девонские недра тянутся к нам сюда. // Рыжая иль темная, // Лежит глина скромно. // Лечит пламенем белых идей. // Целые — океаны, // Волны внутри тебя // Перевернулись, странны. // Всей глубиной кипя, // В мистике превращений // Стержень твой неизменен».

Девонская глина, пробуждаясь, преобразует облик героя. Перед Арсением витают призраки в облике ушед-

ших за века предков в виде эти голубых столбов, колышутся светотени по погостам, всюду «кресты да колея по степи». И эта подлинность прошлого, мистика адамовской Белой Глины подпитывают артистическую натуру Арсения, ведут всего его, сновидческого, фантастического, мысленно к «броску на Север». Отсюда, как ему кажется, от Орла до Москвы, он может все же что-то сделать для родного края, близких ему людей. Прощаясь, Арсений отправляется перед отъездом к карьеру, к этой Белой Глине Адамова. Да вот же она, вот — девонская, пробуждаемая сегодня, его неопалимая купина. И он клонится лицом туда — к ключу, к живым родникам.

Когда наклонишься к ним чуть —

Испить за зеркальцем свое,

Глазами может отблеснуть

И отражение твое.

Слетит листок туда, на Русь,

И, золотой, не тонет, узкий.

К нему губами прикоснусь

Да и скажу:

— Я тоже русский!

МИСТИЧЕСКИЙ КРУГ

В самом имени главного героя романа — эпопеи в стихах Арсения Чигринова заключена некая «арийскость», эта мысль о вечном «движении». Если в первом романе «Библейское имя Мария» такая «арийскость» имеет в виду бросок героя на возделанный Север — из провинции, своего поселка Бобры в Москву, где герой становится одним из ведущих актеров одного из ведущих театров столицы, то дальнейшие возможности мятущейся природы Чигринова выражаются в постоянстве его движения по оси «Москва — провинция», из столицы в родные пенаты — туда и

обратно. Во втором романе-эпопеи «Кремль. Соловки» такая подвижность героя проявляется уже в самом попадании в точку. А именно, Арсений Чигринев, в конце концов, побывал на этом «счастливом» Белом Острове — на Соловках, где его отец провел некогда свои нелучшие годы и откуда, по всей видимости, в древнейшие, еще авестийские времена спустились в Евразию по Уральскому хребту — наши архипредки.

В третьем романе «Неопалимые» подобная подвижность героя выражена уже в его конкретном возвращении из столицы в провинцию, в родные места, где в своем рай-городке Адамове Чигринев становится выборным руководителем районного звена. Отсюда же начинается его новый путь обратно «наверх», на уже в новом качестве. То Арсений был народный артист, теперь он всенародно выдвинутый в областной центр как депутат. И вот в конце четвертого романа «Москва — третий Рим» Арсений Чигринев, уже в качестве депутата Госдумы, возвращается в Москву — столицу, замыкая мистический круг, который прозреваем за фактами биографии героя, за его поступками, мыслями, чувствами на протяжении всех четырех романов, всей эпопеи его гомерической жизни. Мистический круг, авестийский след, бессознательная идея...

А пока попав, после главы района, в областную думу в качестве депутата на штатную, оплачиваемую должность, Чигринев, как с птичьего полета, видит уже всю область, а не только своей малый Адамов. Проблемы провинции становятся ему ближе, как бы своими, очеловеченными. Бывая по долгу службы в Москве, герой пытается смотреть на нее теперь народными глазами — человека от земли, простых людей, и что же он видит? Москва подгребает нещадно под себя капиталы. В метро он слышит объявление: «Требуется машинист электропоезда с зарплатой 38 тысячи 700 рублей». А тут в области лучшие люди получают пенсию менее трех тысяч рублей. Есть

пенсии и в две тысячи рублей, в то время как у тех же французов те же учителя получают по две тысячи евро. Арсений выходит из метро в центре столицы и видит, как, сломав гостиницу «Москва», строят на ее месте почти такую же; чуть подалее ломают другую гостиницу «Россия», чтобы снова строить... И тогда ему слышнее становится ропот провинции...

«В Америке – думает он, – когда-то столицу из Филадельфии перенесли в Вашингтон, в Бразилии из Рио-де-Жанейро – в город Бразилия, в Австралии вместо Мельбурна и Сиднея столица между ними теперь в Канберре, в Японии вместо Киото – Токио... Однако... «широка страна моя родная»... «только самолетом можно долететь»... «паровоз от Москвы до Владивостока шел на дровах месяц... недаром ДВР в гражданскую едва не отпочковалась»...

И перед глазами Арсения Чигринова, возникают, бегут строчки из первого романа:

Москва, Москва! И символ твой Арбат!

Не поколеблен облик твой, при силе.

А сколько уж царей, цариц, царят

Столицу от тебя переносили!

Вот и сейчас в провинции орем:

«Все деньги здесь!» – Зато и храмы тоже.

А если так, то да поможет Боже! –

Уж как-нибудь сие переживем.

Москва – третий Рим. А Древний Рим, как известно, погряз в роскоши и разврате. Однако какой другой русский город способен держать всю эту махину? Особая Мессия лежит на плечах Москвы после падения Византии – Рима второго. «Москва – третий Рим! Четвертому не бывать»...

И главный герой эпопеи Арсений Чигринев принимает, непростое для себя решение: выставить свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Снова в Москву? Где-то в степях построен алюминиевый комбинат, в Воронеже увеличен выпуск модернизированных самолё-

тов. Арсений Чигринев тоже пока еще не последняя спица в колеснице...

И герой прозревает до осознания масштабов целого мира, уравнивающего Россию. Тем бы и замкнулся мистический круг Арсения Чигринова на четвертом романе этой современной эпопеи в стихах, очертив ипостаси его души на Москве — этом третьем Риме, от звезд которого начинались все точки отсчета. Но Арсения влекут какие-то невероятные силы свыше, скорее всего, божественные. И вот совершенно случайно, как это бывает, Арсений попадает в Коренную пустынь где-то под Курском — монастырь, обитель души, святая, намоленая земля. Красота, божественность высокого места поражают Арсения. Глазами всех святых просиявших, самого Серафима Саровского — уроженца сих мест, он взглянул на себя, на свои метания из провинции в Москву, из Москвы обратно в провинцию. И что понял в кипении дней? Вот она — тишина, вот оно — слово свыше, корневые люди, гармония мира, урезонившая войну. Вот она — истина его, радость и обретаемое, возможно, на склоне лет счастье. И это подчеркивает внутреннюю, глубоко затаенную психологическую мотивацию героя в движении по жизни и социуму, так сказать, «арийскость» его живого портрета в истории, в недрах космических тайн, символических истин. Автор не снимает загадочности героя, его авестийского следа в характере мистериальных проблем, что усиливает значимость всего эпического полотна о герое нашего времени, поэтического сказания о незаурядности натуры, мятущейся человеческой души.

* * *

В руках у меня современный бестселлер «Код да Винчи» Дэна Брауна. Вот строки оттуда о художественном, техническом талантах Великого Мастера Леонардо да Вин-

чи. Боже, столько изобретений, реализованных и нереализованных проектов, опережающих время! В частности, первой подводной лодки, первого летательного аппарата. Какова мистика имени! Раскрытию философии имени и посвятил свои исследования академик Алексей Федорович Лосев. Вот и мой отец, создавший эту эпическую панораму в стихах, носит имя великого человека – Леонард. И что я вижу у него, в его течении жизни? Конечно, он – природный, урожденный поэт, убежденный писатель-художник. Им написано три эпопеи (в стихах, прозе, драматургии). Он поэт как бы в трех ипостасях: он и лирик, и поэт, написавший романы в стихах, и поэт – драматург. Скорее всего, работа в газете сделала его прозаиком, он стал рассказчиком, затем автором крупной формы – повестей и романов. Детский писатель, переводчик поэзии, прозы (с древнерусского и французского), публицист, философ, историк, просветитель, ученый-литературовед. Не много ли для одного человека? К тому же он еще и автор песен, пишет слова, музыку на них, сам же их и поет.

Об этом знают не только дома, в семье, но и библиотеки, творческие союзы, а в молодости его – хоры, концертные залы, где, бывало, он выступал иногда как солист. В то же время отец весьма скромный, даже застенчивый человек. Вон сколько у него еще и человеческих достоинств. Он проявляется то как психолог, педагог (в школе), в семье (отец), а то как талантливый, умный труженик (на земле, в жизни среди крестьян), как строитель-организатор (из праха им подняты Дом писателей в Орле, его дачи – хата как творческая лаборатория в поселке Синяевском, материнский дом в Малоархангельске)... Я насчитал у него около двух десятков всевозможных талантов. Как это в Библии сказано: «И одному он (Бог) дал пять талантов, иному – один, каждому – по его силе». Об этом я говорю специально для одного из писателей, который сказал однажды в кураже отцу:

— Да кто ж ты такой!

Имея, очевидно, в виду — кто же он, прозаик, поэт или драматург? Кем хоть считать-то его, по какому ведомству? Леонард Михайлович махнул на это рукой и написал песню.

Вот она, вошла в число его авторских песен об Орле.

Монастырка

*Живу в Монастырке, в старинном Орле,
Пишу свои книжки и песни.
Давно пребываю на грешной земле,
Пою свои песни, хоть тресни.*

*А кто ж ты такой, да кто ж ты такой?
Прозаик, певец, композитор?
Да вот мой двойник, Леонардо с клюкой,
Орёл ошастливил визитом.*

*Подводную лодку опять изобрел.
Садится в свою «субмарину»
И водным путем посещает Орёл,
Плывет, просвещает «малину».*

*То рифмой рисует, то ноту берет.
Кричит, беспокоя соседей.
Вот так мы и ходим в Орле тут в народ,
Как вышли из энциклопедий.*

*В своей Монастырке, как пес на углу,
С прохожими стой и не лайся!
А ты, Леонардо, не нужный Орлу,
В «да Винчи» к себе убирайся!
Да кто ж ты такой, да кто ж ты такой?*

*Артист, драматург, композитор?
Катись, Леонард, со своею клюкой
Ко всем остальным недобитым!*

Так вот мы с отцом и живем. Когда-то, в сорок третьем, — еще мальчишкой, отец носил за своим дедушкой по разбитым войной домам Малоархангельска сумку с инструментом — вставляли выбитые стекла. Теперь я ношу отцовы творения в сердце своем, показывая не только узкому кругу лиц, но, надеюсь, и всему белому свету, всему Большому нашему Евразийскому Кругу.

Вот что порой значит имя! На какие подвиги призывает! Таковую «чесночную кухню» писательскую (почти по Верлену) неплохо знать, когда, анализируя произведения,ходишь, как говорится, изнутри «без стука» в лабораторию Творца.

P.S. На днях в одной из передаче телеведущего Владимира Соловьева, слышу его мысли о современных проблемах, в частности, по вопросам литературы, которые показались мне небезынтересны. Пусть это не наука, не мнение критиков-литературоведов, которые катят от века по накатаным рельсам, однако мысль живая, оригинальная. Хотя бы о Тургеневе, в частности, о его романе «Отцы и дети». Мы привыкли считать его «сагой» о поколениях, зачарованные названием. А ведь это роман — о любви, одиночестве человека, его личности. Базаров спасаясь от одиночества, по-настоящему влюбился в Одинцову. Это грозило ему крушением взглядов, устоев, надежд, и герой погибает именно от этого, болезнь — чисто внешний фактор. Как и все «лишние» люди, начинающие у нас хоть что-то делать, Базаров, отторгается окружением. Зато герои Гоголя, хоть в «Ревизоре» — Хлестаков, хоть в «Мертвых душах» — Чичиков, невероятны, как-то несуразно активны. Герой Л.М. Золотарева Арсений Чигринев, оказывается, представляет нечто подобное — активный такой русский тип на новом витке повторения. Любовь и одиночество, «мытарь, бродя-

щий по всеям столичным и провинциальным и, наконец, находящий упокоение в Коренной пустыни — на этом святом, намоленном месте срединной Руси. Традиционен сюжет, любовный треугольник «Груша — Арсений — Мария», нетрадиционно стремление героя вырваться за пределы типично русского созерцания в новую среду — попытка что-то делать, созидать, преобразовывать. Чтобы все нам не было бы так за себя мучительно больно, а «за державу обидно». У тех же французов Президенты вступают в должность со словами «Свобода, Равенство и Братство», а у нас, уходя, до сих пор просят у народа прощения...

Однако то ли «опыта не хватает», специфических знаний, то ли герой реализует себя не в том, к чему был рожден и готов в силу своей наследственности, приобретенных знаний и навыков, а не потенциала, бросающего героя в раскат и вразброс, но что происходит у нас с героем? После всех попыток преобразовать мир вокруг себя, всех этих десятков лет безумно активной жизни Арсений Чигринев оказывается, в конце концов, там, где сам меньше всего ожидал: в Коренной пустыни, у стен монастыря...

Вот вам русский тип, этот наш генотип, наша традиционная созерцательность, недостаточный профессионализм. Отсюда и бедность наша материальная при духовном богатстве, при широких просторах, щедрых недрах, наших поистине невероятных возможностях. По словам В. Садовского, в народных песнях тех же Североамериканских штатов нет, оказывается, «минора», — один лишь «мажор». А у нас, в русских песнях, все это представлено так глубинно и так широко. А как живем до сих пор при своих-то талантах? Действительно, за державу, как говорится, обидно! Хотя разгон нации, конечно, великолепен: за тысячу двести лет пройти от Дуная (где Сербия) через Карпаты к Днепру, Киеву (850-й — год основания Киевской Руси). А затем от Киева до Москвы, от Москвы до Урала через всю Сибирь, Дальний Восток,

Тихий Океан до Аляски и Калифорнии. Это многого стоит. «Арийскость» – это движение без особого закрепления плацдарма. И вот только сейчас – в кои веки – может, по-настоящему мы как народ и закрепляемся на больших своих евразийских просторах. С космоса, обоже-ствлено. И импульс, как всегда, исходит из языка, гено-типа, он идет отсюда, из недр, где, по словам того же Тургенева, генерируется постоянно «наш великий, могучий русский язык», художественным выражением кото-рого и является это поэтическое полотно – широкая воз-можность показа жизни, стихотворная эпопея об «Арсении Чигриневе» как герое именно нашего общества, нашего времени.

И. Золотарев.
Кандидат филологических наук,
доцент Орловского государственного университета.





Четвертый роман в стихах
из эпопеи «Арсений Чигринев» –
Осмоловскому Олегу Николаевичу

МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ

*Это вороны налетают стаями,
А орлы парят в одиночку.
Из поэзии бардов.*

* * *

*Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест есть, но этот ковшик белый...
Смиренные, родимые черты.*

Иван Бунин.

* * *

*Пиалу осушаю, целую подругу –
Не суди меня строго за это, прости.
Все по воле твоей – и любовь, и застолье.
Я по совести, право, безумен почти.*

Хафиз.

ВМЕСТО ПРОЛОГА

*Вот и достраивается собор,
Вот уже и достроен.
Уходит в среднерусский простор,
Который того достоин.*

*Слово знаковое тут одно:
«Родина».
От него, от «великого и могучего»
Все оно:
Родина, Родина, Родина.*

«И океан над нею вспенится,
И звезды рухнут в тишине,
Но никуда она не денется,
А потому что вся во мне».

И герой главный один:
Чигринев Арсений –
Русский мытарь,
Сам себе господин;
Амчанина тебе в сени,
Во двор, в его нервы –
От девятнадцатого
По двадцать первый.

Как солнце отсюда –
Лучи во все стороны,
Русские люди,
Так все чернозем, целина, бороны –
Были всегда тут и будем!

* * *

От березок светло
В православной Руси.
И река, как стекло,
И сине в небеси.
От туманов глаза твои сини –
Мне тепло от берез
В самый дикий мороз -
По России моей, по России.
Я иду по лесам.
Дух ведет к небесам,
Берега синеваты, красивы.
Ты, березка, склонись,
Соком – ключ, поделись
Всей Россией моей, всей Россией.

Льют грибные дожди,
Все грибы впереди,
И, от глаз твоих облачность синя,
Поделись тишиной
Со великой страной,
Берегиня моя, Берегиня.
От березок светло
По святой по Руси.
Что с дождями стекло,
С синевы, в небеси,
То сосут из берез
Сквозь журчание слез
Звезды матери нашей России.
Дом стоит на снегу,
На крутом берегу.
Жизнь, как миг,
Пролетает над нами.
В этом доме вдвоем,
С берегиней живем,
Вспоминая тайфун и цунами.
Столько пчел на лугу,
Сколь снежинок в пруду.
Столько звезд, облик яблонь рисуя,
Столько было у нас
Нежной россыпи глаз,
Бездыханья твоих поцелуев.
Сколько на небе звезд.
Столько белых берез,
Сколько всяких планет возле Солнца,
Столько нам бы детей
В счет провинции всей
Да размыты черты на оконце.
Ну, поставь локоток.
Сдвинь на брови платок!
Берега, очертанья раздвою.

Береги синь – края, берегуша моя, –
Все, что было и будет со мною.

* * *

Мы когда-то вдвоем
Мир клялись обойдем.
Мы друг друга любили, так было.
Но прошли времена,
Разлюбила она,
Разлюбила меня, разлюбила.
Жизнь цвела и цвела,
В океаны плыла
Все казалось бездонным, так было.
Но прошли времена,
Разлюбила она,
Разлюбила меня, разлюбила.
Все померкло вокруг,
Малым сделалось вдруг,
Океаны разбились о берег, так было.
Но пришли времена,
Вновь влюбилась она,
Полюбила меня, полюбила.
Коли быть, так уж быть.
А любить, так любить,
Жизнь любить, как и жить, непрерывно.
Ничего не забыть,
В Океанию плыть,
В голубые свои – океаны.





ГЛАВА ПЕРВАЯ ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ

I.

Перебежал дорогу черный пес, –
Арсений встал, как вкопанный, стоит.
А по щекам – березовый ухлест,
Дрожанье губ и дерганье ланит.
«Как понимать? Хоть я не черный кот,
А все-таки мистическое что-то.
Везло до сих, а тут наоборот –
Дохнула смерть, бесовская работа».
Сказать по правде, Чигринев Арсений
Еще с далеких, дошколярских лет,
Хоть и не верил в карты, в зелье, в тени,
А все же сомневался на момент.
Когда дорогу перейдет, бывало,
Какой-нибудь шайтанчик, черный кот
Иль, как баба с ведрами пустыми,
Ах, что-то забирало то «забрало»!
Разило душу в самый лёт!
Пусть било даже холостыми...
«Так как же понимать?
Пути не будет, да?
Мероприятие погубит? Не беда,
Менять нам надо планы.
Хотя совсем не стратегически
Несут нас не аэропланы,
А так – шажок вперед, чуть-чуть, тактически –
И с главной площади Орла,
Куда Арсений всячески стремился,
Вот Белый Дом ему-то и открылся.
Там где-то, там
Ему сподобили местечко.

Он вдруг свернул правой – туда, где Бунин, речка,
Где власти заседали уж другие –
Муниципальные, по-русски – городские,
И успокоился
Герой наш, знака удостоился.
В последнюю эпоху, времена
Все оценила, видела страна,
Вся нация,
Что цвета города иного,
Чуть менее цветного,
Другой, что ль, политес, ориентация?
Куда его несло
По речке по Оке
Короткое прямое, как весло,
Его второе ремесло?
Один ему на улице кивнул,
Другой кивнул, и был таков.
Арсений оглянулся, бровь согнул:
«Опять адамовский? Ну, сонмы земляков!»
Совсем забыл, что был Артистом,
Что обладал художественным свистом
И был портретами размножен.
Хотя пока еще в натуре не разложен,
Как некоторые,
Кому без живописи уж не обойтись.
Другая жизнь,
С иными векторами,
Все как на сцене под прожекторами.
Так вот, каким-то образом
Через четверть часа
Арсений оказался не в Белом Доме,
Где его ждали, беса,
Уж в «накопителе» подобные блуждали,
А тут, где предки,
Еще когда сосали всякие «конфетки»,

Сгребая «сладости» с народа —
Еще с осьмнадцатого года.
Дворянское гнездо!
Хотя и не совсем ведь то,
Какое имел в виду писатель наш Тургенев,
А новое — тут рядом,
Близко от обелиска.
Расти, расти, моя редиска,
По обе стороны реки!
А не по ту одну — где чудаки,
Попутали все-то букву — одну с другой,
Уроды!
Унизили народы!
Воздвигли за излучиной дворцы —
Инициаторы, творцы!
Один дворец продал за миллион,
На Юг потом смотался,
Был в генеральском чине он,
Другой — подзадержался.
Тут малость посражался
За капитал.
Василь он был...
Таковский и сяковский...
На юбилее одного из ПТУ
Чего имел в виду,
Когда «цивилизованно» просил с ним обходиться?
В «цивилизации» просил его оставить.
Вот мне и захотелось ему перо-то вставить
И там, за рекой, напротив Вешних Вод,
Его им и оставить, —
Где Зеленстрой,
Боярские дома.
Вот, вот.
Пониже — мостик новый,
Такой заезженный, бедовый!

Чуть ниже тишина,
Мост – долгострой.
Где все корова бродит берегом одна.
У города все не хватает, Сатана,
Того, что по карманам тает.

* * *

Задумался Арсений, стоя перед домом.
Где близко к Фету с профилем знакомым
Пятью колоннами ротонда
Указывала Березовскому на Лондон.
Вот тут глядело на закат
Восьмое «чудо света». Дом многоэтажный,
Так названный профессором Светельским –
Воронежцем, в застолье бражном,
На конференции почти международной,
От критики свободной,
Почтил он тут одну квартиру –
Коллеги, «профи» из Орла,
Какому и разбавили вина,
Блин, своего орловского розливу –
А-а, все равно хана,
Как будто вставили снаряд в мортиру, –
Дела-а!... Попробуй тут отмойся добела...

* * *

Так вот где Чигриневу предстояло жить,
Как обещали где-то в высших сферах.
Уж ключик на цепочечке дрожит(ь)
В костюме новом кавалера.
А в старых эрах что?
Каков Орёл был? Давние картинки.
В сорок седьмом... он с матерью... а то....
Впервые в область
От родимой «глинки».

На станции знакомая кассирша
В бараке поместила у себя.
Всю ночь сто двадцать три клопа, как вирша,
Лобзали, не любя.
Тащился после Сеня полусонный
По городу за матерью своей,
Вцепясь, репей, как бы за пароконной.
И помнит он ряды, театр старинный,
Порожки. Сон какой-то длинный.
Напротив — стройку, дом многоэтажный,
Повсюду запах бражный.
А там, ну надо же где — немцы! -
На третьем этаже уж; строят дом.
Вот чудеса! Бог выкинул коленце.
То оккупанты, видел их и днем,
И даже ночью у себя в Адамове,
А то возводят дом
На площади тут Театральной...
Остановилась тетка. В пиджачке чудном.
Из деревенских, со сторонки дальней.
Перекрестилась, кого-то позвала из пленных,
Сбежал тот к ней по лестнице.
Лепешки сунула ему вторую половину —
Из тех своих запасцев бранных,
А то оставила себе.
Небось, за пазухой вместился
Пирог из гречки, греческий.
Вздохнув, глядела долго вслед
Поверх войны и всяческих побед,
А как-то по-людски, по-человечески...
Вот что пронзило Сеню в тот поход —
В Орёл, в народ.
С маманею своей
Среди наивных грез,
Тех детских лет военных слез.

А не один березовый ухлест
Всегда над ним был и над ней.
Сейчас, везде,
А не вчерашний, вздох на новом,
На том Дворянском — птицы на гнезде.
Вздох всей страны по нашим русским вдовам.

* * *

А вот и еще одна встреча с Орлом,
Кажись, уж в шестидесятом.
Приехал он из Чигриневки в одном
Пиджаке и свитере латаном.
И, чтобы город получше узнать,
Поближе, что ль, познакомиться,
Рубаху белую стал надевать,
Прежде чем сунуться за околицу.
Идет по городу, а пыль-то столбом,
Аж хруст на зубах песчаный.
Рубаху скинешь да в стенку лбом —
Дух, как от каши, рьяный.
Что значит, еще молодой, свежий,
Этот запах бежевый.
А воротник к вечеру — почти черный
За каких-нибудь восемь часов.
Вот в каком жили городе.
Дверь не запирали еще на засов,
Не было в моде.

* * *

Простоял, постоял Арсений
На Дворянском гнезде, на откосе,
Где предстояло жить и ему
С этой поры осенней
Неизвестно покуда.
Пока ногами вперед не вынесут

Или с должности не попросят.
Зато хоть квартиру оставят, вылижут
Прежде всего тебя
За эту жилплощадь.
Вот и побрел Чигринев Арсений —
Вчерашний адамовец, администратор,
А позавчерашний в Москве народный артист —
Обратно туда,
На главную площадь,
К Белому Дому.
А куда денешься, бытом согнутый?
Взялся за гуж,
Ходи на работу не в чем мать родила,
А на все пуговицы застегнутый.
Так с грудью нараспашку
И пришел он к четвертому тому,
К этому Белому Дому.
Попал в ихнюю братию,
В чиновничьи алгоритмы, в когорту.
Теперь того и гляди на пташку,
Кабы наркотики не сунули в шорты,
Взятку не вставили в лыко —
Как брату отца Доменика.
Бывало, дадут украсть председателю,
Подкинут еще, если мало,
А потом тому правоискателю,
Дескать, припомним сало,
Весь его вес и объем,
Гори все оно синим огнем
В мартене и домне!

II.

Пришел Арсений в Совет свой, пора,
На должность оплачиваемую.
— «А почему, говорят, — не с утра?» —

Спрашивают, а как же иначе?
В «накопителе» вместе со всеми не был —
У губернатора или председателя,
Где собираются клерки для указаний.
Что-то сказал им, отбрехался,
Мягко, как фуфайка на вате.
А как же, когда попался.
Кстати или некстати,
Чтобы больше не попадался
На «супе», привезенном не из Парижа,
Как у Хлестакова, а из Казани.
А тут не «суп» ординарный,
А тоже ведь жидкость —
Розовое шампанское,
Продукт натуральный,
Из самого Реймса, Франция.
Презент еще из Москвы
Театральной,
От кого-то из любителей Гамлетов,
Вроде зама Лужкова — Шансова,
Которого потом в Нижний сплывили,
Своего поставили вместо Немцова,
Подальше от столичных саммитов,
Сами, мол, тут справимся.
Будем править,
Как и правили,
Власть прежнюю,
Перелицовывать.
Итак, что мы имеем?
На Капитолийском холме?
Мадам Клико — розовое, искросыпучее.
Налил коллегам Арсений в рюмашки —
Для смазки — этакой брашки,
Чтобы потом с ними тут работалось лучше.
«Дай, — думает, — еще и спую под тост.

Правда, петь не солидно как-то —
В Совете таком, в Белом Доме.
А потом думает: «— А, да ладно
При наличии факта
Скажут, мол, Чигринев не так уж и прост.
Как на сцене, что с него взять?
Как кремлевский зять —
Народный артист, балладный».
Налил Арсений еще по капельке всем,
Не чтобы каждый сразу тут окосел,
А так, для приличия.
И песню такую запел,
От них, в отличие.
Ибо каждый тут держится на простом:
Тут ни-ни,
Трахнем там и потом,
Где-нибудь под кустом.
Трахнут, и давай «шумел камыш»
Или «Вот кто-то с горочки спустился».
А если в кампании женщины —
Зыкины или Кадышевы,
Или, более того, Шаврина Екатерина,
Так у нас тут дело такое — тонкое, вещее:
Вино французское, радостное,
А роман русский, не очень длинный.
В общем, песня лирическая,
В пушкинские времена называлась
Вакхическая.
Итак, песня Арсения,
В Белом Доме им спета,
В Доме Советов,
Как ни странно,
Как это прозой выражаются,
В основном под березой,
Когда разряжаются,

Когда на «троих» соображается —
А тут забыли, что когда кому чего хочется.
Все бы друг друга звали по имени-отчеству, —
Коллективное бессознательное,
Народное творчество.

ХРУСТАЛЬНОЕ ВИНО (вакхическая песня)

«Хрустальное вино,
Хрустальное вино.
Как ветер из кино,
Как солнца луч,
В мое открытое окно,
К столетию ключ.
Хрустальное вино —
Одно из удовольствий
Жизнью нам дано,
Как солнца луч,
К столетию ключ
В мое открытое окно.
Хрустальное вино.
Как ветер из кино,
Как призрак между туч,
Возможный счастья луч,
Что с нами заодно.
Хрустальное вино.
Как образ из кино.
В бокал упавший луч.
Откуда брошен ключ
В мое открытое вино?»

* * *

Проехала к нему сюда, в Орёл,
Из первопрестольной Груша —
Жена его Агриппа, Агриппина.

Сюда к нему на стол, хоть на недельку,
Обоих сыновей с собою привезла,
Увидимся хоть мельком.
Свительский прав был.
Два «чуда» сразу вместе:
Элитная квартира и элитный парк
На льдине — льдина.
Как дача, лодка в два весла
На этих вешних водах.
Послушай,
Как шумит Дворянское гнездо!
И Орлик на виду всего народа!
О чем? Что слуги у него,
Как либидо: эротика, свобода.
А тут, наоборот, народ — слуга,
С рекой напару моет берега.
Арсений все это, конечно,
Хоть краем уха слышал.
Да тише вы, да тише!
Пока чиновник был успешный,
Внимания на то не обращал.
Водил жену по тьме кромешной,
Дворянок, в общем, посещал.
Ходили по откосу с Грушей,
По знаменитым берегам.
Хоть мелки воды, зато ведь берег крут.
Тут Бергамот жил, носом к носу
С известняком, в пещере тут.
А вот домочек деревянный —
Тут Лизанька Калитина жила.
На скрипке под луною странной
Раскачивал Лемм крылья у Орла.
Конечно, Груша, хоть и артистка тоже,
Но — оперетты. И не Шмыга ведь.
А все же во дворе соседки помоложе

И на нее глядели, как на плеть
На огурешную с огурчиками
В пупрышках,
Какие со сметанкою да с лучиком,
Хрустящие, возможно будет съесть
Уже сейчас, а не где-то впредь,
На новый год в компании хорошей,
Когда присесть
Под елочку с порошей.

* * *

В Москву с сынами укатила Груша.
Орёл салют свой
Отсалютовал.
Не то, чтоб главный Чигринева «кушал»,
Не то, чтоб с ним, вобще-то, лютовал,
Однако что-то в этом смысле было.
Артист ведь Чигринев, амбал,
А с артиста
Чего возьмешь?
То в «накопитель» за пять минут до свиста
Опять вчера подзапоздал.
То положил бумажку себе на ляжку,
А надо было подождать,
Чтоб отлежалась, твою мать,
Чтобы кристалл в глазу всегда блистал.
А то опять приехала Мария,
Примчалась из Адамова сюда.
Пришла ведь не куда-нибудь,
А прямо в кабинет, -
Ты понял или нет? -
Мечта такая, мрия.
А тут не дураки, народец хоть куда —
Любой трон раскачают.
Секут все с полуслова, господа,

А с полумига в слухи превращают.
Следят же друг за дружкой;
Кто с кем, к кому, куда, с какой подружкой
Сидел вчера за кружкой?
А че еще творить?
Газ выключай, а то млеко на плитку
Сбежит (ь).
Сожжет ту, понимаешь, нитку, нить.
Которая сжимается в улитку,
Когда по плитке молоко бежит(ь).
Втроем живут — артисты из народа.
Да ведь втроем — так не было тогда,
Как и сейчас, нет правил.
Уж лучше бы совсем ее оставил,
Чем груши околачивать. Ну да!
Когда все знают то, что неизвестно
Тебе не будет никогда.
«Прелестно!» —
Сказал себе в момент такой Арсений.
Да и решил, как бы любя,
Побольше загрузить себя.
Вдруг вспомнил, что, когда играл в театре,
Вел при театре школу мастерства
В училище старейшем.
Видно, уж был доцентом, что ль,
Когда на «Татре»
К нему дружок Григорий приезжал.
Тот был уже профессором, с дипломом.
Обидно!
Вот тут мы и устроим «карамболь»,
Догоним Гришу.
И тут есть институт культуры,
Есть кафедра драматургии, ниша.
Есть спрос на кадры,
На таких, как он: фактуры,

Дон Педро, Шмыга, Шмага,
Абракадабры.
Так Грише и сказал ему по телефону,
Мол, приезжай, подразгребем вдвоем,
Чем засорился окоем,
Который тащат по уклону.
Оценим все, до шпента просчитаем,
Куда идем мы и над чем витаем.
И стал Арсений ждать друга.
Не дождавшись, оформился
Доцентом в институт.
Теперь работал там и тут.
Там — по субботам,
Тут — в остальное время.
Так и ходил по этим двум работам —
Седое племя.
Вот и зарплата. Получил копейки,
А с докторской бы больше вдвое.
Тогда и понял, почему Матейки
Рисуют во всю стену все живое.
А Жириновский, на всякий случай,
Снял со сковородки блин могучий,
Другим свело аж скуля:
Утром — деньги, вечером — стулья.
Как здоровье,
Господин доктор?
А ничего, как молоко коровье:
Тает и питает,
А голова — дурья.

III.

Черный человек опять приснился.
После песни той о хрустальном вине.
Белый, белый, —
Мир словно надвое разломился:

Этот — спокойный, реальный,
А тот — нависающий,
Оголтелый.
Арсений снова носится, мечется,
Не знает, куда ему деться.
Прямо-таки ломится сердце —
От черного человека, от его лестницы,
Ведущей куда-то на дно,
Где почему-то то Карузо, а то Шварцнегер, а заодно
То Марио Ланца, а то губернатор Шансов.
Слушал их Чигринев когда-то и учился петь,
Пил золотое вино, уплывающее из шлюза
По записям с радио, по пластинкам.
Только бы дожить сумеет
До весны, до цветенья сакуры где-то в Японии.
А что же вишни своей, что ли, нам не хватает?
Японская непременно нужна, хоть что-то от самурая.
Своя-то ладно — в Бобрах, как всегда,
Цветет, зацветает,
В цветении тает.
Как слива ренклюд.
А вот с японской сакурой получается какая-то ерунда,
С нашей вишней перепутывается эта сакура
Отсюда и до Амура,
Да-да, да!
Как только весна там у них,
Выходят, бывало, японские трудящиеся
Требовать что-то. Так в миг
Правительство японское выставляет нам споры
длящиеся,
Свои требования островов.
Вот и будь здоров
Из-за этих Курил!
Как будто и ты там жил,
Мед, пиво пил,

По усам текло,
Когда солнце уже припекло,
Сакура уже отцвела и поспела,
Отзвенела пчела тарантеллу,
А в рот соку с вишни
Мне не попало,
А если попало,
То мало.
Вот как с Арсением мы приучены:
Как только поедет туда к ним, на Дальний Восток,
Или хотя бы в Японию — джан,
Президент наш российский — рок
Для диалога стран,
Так все внутри и натягивается.
Аж шкура на спине
Звенит, как барабан,
От напряжения:
Кабы Курилы там им не отдал;
Дело рыбное, хлебное,
Кабы не подписал —
Непотребное.
А то как Аляску или Калифорнию,
Остров Баранова Русско-Американской
Торговой компании —
Как корова языком слизала,
Форменные ремейки -
Оформлено за копейки.
Только их страна и видала -
Трещина, как после землетрясения.
Что-то луч от кремлевских звезд,
Из Москвы — этого Рима третьего,
Слабо туда к ним дотягивается.
Спасибо этот малый в кино —
Начальник Чукотки заладил свое
И в этом был прост:

Одно и одно, взял да и не пустил через пролив —
В бухту Провидения —
В целях присоединения
Чукчей наших — лоураветланов
К эскимосам этим оттудова,
Тоже когда-то нашим...
Всюду следы «буранов»,
Тундру «буранами» пашем...

* * *

Вот такая в голове чепуха у Арсения
На базе красной рыбы курильской
И снега чукотского —
Белого, с закоптелых яранг —
В тот день весенний,
Боже спаси,
Нас в серединной Руси.
Как голова набита всячески всяким,
Своим доморощенным и заграничным, инаким,
Как у древних римлян когда-то.
И спросил, я где легче жить, ребята,
В стране малой или великой державе —
Шириной в половину земного шара?
А что сказал давеча, даве...
В магазине один парень —
На босу ногу сапог,
А два сапога пара...
Вон сколько дела-то в области.
Аж Арсений продрог,
Какая бедность в середине Руси, коррупция!
А тут время мимо летит,
Бухает как по шкуре — медвежьей полости,
А тебе в голове сакура эта японская
Все делает вид
Под вальс «На сопках Маньчжурии»

Ильи Алексеевича Шатрова,
Капельмейстера Моркшанского полка.
Маньчжурские-то глядели издалека,
Да Шатров близко,
Тут у нас, из Тамбова,
Все в душе твоей с вальсом дежурит.
И такая в сознании твоём возникает «Брамапутра»,
А с нею где-то Камчатка, Калифорния,
Вся срединная Русь,
Что вот уж давно, как в кино,
Утро туманное,
Седое утро,
Очень пространное,
Там оно начинается,
И как хоть в груди все это помещается?
И черный человек у Арсения
В подсознании мелькает, смущается,
Из сознания обратно сюда возвращается
Всеми этими хлынувшими потоками —
Из Софокла, Гете и Шелли.
Вот и Пруст, что ли, с Пруссом сталкивается,
И черное потихонечку в белое превращается,
В «Белое безмолвие» Джека Лондона,
В «Освобожденного Прометея» Эсхила —
В поисках утраченного времени у дебилла,
А время не ждет.

* * *

Пушкин — Лев Толстой — Есенин — Шолохов,
Нам бы подальше от молохов,
Всюду надо успеть, скажи на милость, —
Пока жив наш народ,
По-русски пока говорить мы не разучились.
А то Зурабов со Слизкой
Еще посидят,

На сколько нас сократят?..
Есть классика, говорят,
Но нет современности.
Вот и делают с классиками
Все подряд -
То ли из лениности,
А то ли утрачивая фактор преемственности,
Развивая в нас чувство брэнности,
Разрыв делая между тем и этим.
«Все! — сказал Арсений самому себе твердо. —
Все равно, несмотря ни на что,
Человек звучит гордо!
Напишу-ка об этом драму,
Трагедию существования!»
Так к теории малых дел
Свою львиную душу под родные сени
И настраивал, как умел,
Чигринев Сеня,
Забери нас родимец
Под цветенье сакуры.
Этот друг в Адамове Родькина Шуры —
Мой герой, мой любимец.

* * *

В жизни всегда есть место подвигу,
И, между прочим, выбору.
Кто это сказал — Саша Логвинов?
То и это. Только Бог
Судьбой нам единожды уготован;
Либо ты — либо другой кто-либо.
А Бог постоянен в отношении
Даже этих вот строк,
Не говоря уж обо всей эпопее,
От которой люди не станут, возможно, умнее,
Но и не тупее

Того же халдея из своей высокой «Вандеи»,
Какой, эпопею проглотит от корки до корки.
Мигом прочтет.
Надо же иметь терпение в борьбе за идеи,
Санки, опоры, как у моторки,
Которые катятся с горки
Во время сидения
До посинения.
В те морозы, когда у всех вышибает грезу,
От моторки останутся одни опорки
Да руководящие указания.
Вот почему нужны иносказания,
Кое-какая вольность,
Не разгильдяйство, конечно,
А свобода некая, раскрепощенность,
К успеху ведущая.
А то гайку ключом закрутят,
Пальцами не отвинтить,
Глядишь и мозги, как отшибло, заклинило,
Сфера жизни вскоре уже отстающая!
Глядишь, в другие регионах
Такие же вроде бы помоложе,
Поменьше у начальства опыта,
А люди не опускаются до ропота,
На митингах не кроют по чем зря,
Аж мороз по коже,
Не водят руками водителей,
А те не грозятся подать на них в суд,
Когда Пенелопа ткет полотно свое...
В общем, думал, думал Арсений:
«Какой район ему выбрать для командировки?
То ли казачий, дальний, без потрясений,
Еще Петром Алексеичем с Дона присланных».
Самых ловких
Царь выделил для охраны юга Московии,

Чтоб в Петербурге, как и в Кремле,
Не понесли бы бревно,
Когда степь дикая прохлынет тут по земле.
Так на тех местах орда и застряла
В сорок третьем —
С Запада уж, от самой границы,
Когда мы на себя тут надели забрало.
А то ли другой район Арсению выбрать —
Ливни где, дожди по дождям,
Выпадают тихо.
Зато в кадастре земном те ливни первые,
Невесты царские, кролики на борозде,
А остальное — по сусекам расписано.
Когда в восемнадцатом хлеб
Попробовали взять.
Даже Троцкому показали
Кузькину мать,
Ленин после приказы подписывал.
Вот туда и течет Сосна из-под Адамова,
По Сосне и лупят ливни,
Как капли анисовые,
Ажник гольцы из воды выскакивают
И показывают свои бивни.
Как моржи какие-нибудь на Чукотке.
Вот так тут, словом русским играючи,
И руководят ситуацией.
Всегда все выигрывают —
На пользу себе и нации.
Видеть стал в целом всю область Арсений,
Посидел в Белом Доме
Пока за жизнь свою без опасений,
Хотя и на стреме.
Выбрал ливни, не бивни,
В богоявлениях этих длинных, старинных.

IV.

Живет Чигринев в городе на Сосне
День, другой в гостиничке тут одной.
Как в раю по весне -
Ресторанчик рядом, чистенький.
Церковь близко
Делает дела свои,
Запланированные в Москве Грызловым да Слизкой.
На вторую ночь в комнате
Постоялец возник,
Этак бойко.
Ну, и прелестно!
Претендент на второе койко...
Это самое... койко-место.
Лежит, сука, смолит сигарету за сигаретой.
А потом и говорит про мышей,
Которые съели уж пол – урожая,
И шито-крыто, песенка спета.
Хоть еще половину им сей
Для аппетита, народный контроль,
Из областного комитета.
– Работа, – вздохнул мужик, – скажу тебе,
не конфета.
– Да, от Фета до буфета, – вставляет ему Чигринев.
А чего боле?
И давай ему про химизацию,
Дезактивизацию и деградацию.
– А ты что – агроном, да? – швырнул «нарконтроль»
на стол
Пустой коробок. – Послушай,
Где-то я видел тебя, карамболь?
Слышали уши.
Ну где? Говори прямо.
– Может, играл в футбол –
За «Динамо»?

— Не-ет, в футбол ты уже староват.
— Может, ездил на тракторе?
На заграничном. Кажется, из Германии, брат.
Как Терминатор намедни в Адамове -
Вдоль самого кратера, показывали по телевизору.
— Не на ту лошадку ставили, —
Вздыхнул комитетчик из области. —
На своих лошадиных надо ездить по области,
эксплуатировать
— Верно, верно, — поддакивал Чигринев. —
Ну как, понимаешь, не деградировать?
— А ты все же кто — агроном или как?
И какое отношение у тебя к «шалашу»?
— К какому — в Разливе, что ль?
Я, дорогой товарищ, драму пишу,
Трагедию и показываю.
— Из Аграрной партии, значит, —
Мужик успокоился. — Агроном.
— Ну, а как иначе? —
Стоял Чигринев на своем. —
На земле, брат, не обойдешься фразами.
— Рифму далеко поставил, —
Заметил мужик — «нарконтроль». — Не враз-то
Соединишь в одно, обнаружишь ее, эту самую.
— А я, как апостол Павел, —
Улыбнулся Арсений. — Говорю прозой, драмою
Даже там, где надо поэзией.
Не девятнадцатый век, под мимозой,
Когда барышни романами грезили,
А начало уже двадцать первого все же,
О боже!
С рассветом мужик куда-то исчез,
А ему оставил записку:
«Не в свои сани влез!
Волк всегда глядит в лес.

Как по-русски: скользко иль склизко?
Спроси, что скажет Слизка?»
Усмехнулся Арсений.
Но записочку положил в нагрудный карман.
Братцы! Вот атаман!
С Гришей как-нибудь посмеемся

* * *

И совсем уж Арсений собрался
Обратно в область из своей командировки,
А тут — кто бы мог подумать?
— Ага, попался?
В чем дело, Сеня?
Ты как на охоте,
Тебе что — плохо на твоей работе?
— Какая шуба, люба, там на бегемоте,
Какую бочку закатили в сени,
И — точка!
Шмыгнули мимочки консьержки.
Шли улицей они во тьме предрезкой.
Куда брели?
А к речке. А к Сосне. На берегу,
Где все сидят одни в своем кругу —
Подобные, зачем?
Жениться прежде чем.

* * *

Она нашла подход к консьержке —
Финансовый — вполтыщи. Херувим.
Дала как аргумент, возможно, веский,
А та ей факт да в комнатушку с ним.
Три дня, три ночи — целых трое суток
Промчались незаметно, словномышь.
Он осознал, что поступил с ней круто,
Покинув свой Адамов, должность, тишь.

Ее — Марию, машину, могилка на могилку,
Родню в Бобрах, Бобрам идет конец...
С посуды одноразовой он вилку
Втыкал, а не втыкалось в огурец.
Глядел он на Марию понемногу
Хоть между ними нимб сиял, венец.
Потецкий бил копытом о дорогу —
Мальбрук! Подлец! Стоялый жеребец!
— Зачем ты, женщина, сюда —
В чужие-то города? —
А это Мария его из Адамова!
Ничего себе, ловко!
Вот она, Чигриневка!
И откуда узнала хоть, что я буду тут?
Штаты расставила, сети?
— Узнала за пару минут,
— На то телефон в кабинете...
Сменился ритм. Аж солнце заплясало.
Пол заходил под ними ходуном.
Пространства между как и не бывало,
Все закрутилось заодно, в одно.
Взяла его за плечи, притянула,
Две волосинки сдернула с виска.
— Мой император, наш Калигула! —
Она была по-прежнему близка.
А он забыл, любую степень риска
Что где-то тут невесты за царей,
Шли замуж до вчерашних дней,
Да и сейчас, как тень от обелиска.
Сама явилась, как вlepилась.
Из пышных, удивительных дрожжей.
Кулич, просвира к Пасхе,
Которых нет ни слаще, ни свежей.
— Моя императрица, Ева в маске
Из глины тех, адамовских кровей!

Где будем чай пить — тут иль в ресторане?

Заказывай, закатим, Маша, пир!

— Колдун бухарский! Поднялась на рани,

А ты на небе, где Луна

Еще видна.

И шепчешь мне оттуда, от Луны.

Вся слышится тебе со стороны,

Все конопелки по лицу видны,

Все до единой на лице твоём.

— Чего ж, я — рыжий?

Чубайс я, что ли?

А сам к ней придвигался ближе, ближе.

— Питецкий не женился на тебе?

— Еще чего! — вся вспыхнула Мария,

Шептала что-то так, сама себе.

— Не пойме, мадам, твоей игры я.

Как Расторгуев своего «Любе...»

Сидели и чаевничали в номере

Ни более, ни менее — на двух.

Рассказывала, какие там Адамы-Евы померли...

И он остановил ее:

— Генух!

И положил на панцирную койку,

Она ушла, как пол, куда-то вниз.

А ну, попробуй любу успокой-ка,

Когда любить у любушки — девиз.

Бадья то слишком долго опускалась

В святой колодец,

То взлетала ввысь.

Ну, хорошо! Ну, поиграли малость!

Опять поднялись и за чай взялись.

— Зачем уехал? — Маша заикалась. —

Все ж край родной, мать где-то предана земле.

— А ты зачем в Якутию подалась? —

Арсений был чуть-чуть навеселе.



— Пойди, возьми себе такой же номер, —
Сказал Арсений, поглядев в окно.
— Уж, спрашивала, нету в этом доме
Ни номера, ни об... Мне все равно...
— Не все равно! — настаивал Арсений. —
Теперча уж другие времена,
Полицию особую ввели...
— Что ль, нравственности есть теперь полиция?
— Ну да. Она —
Работает от факта потрясений...
— Мы школяры, что ль?
— Хуже, Маша, хуже.
Тогда узнаем, когда факт наступи...
В двенадцать ровно, верно, постучали.
Спросили соли ль, паспорт — все одно.
Они, сидели и не открывали,
Как мышки, как в каком-нибудь кино.
Так и сидели с полчаса, ну час.
Арсений вдруг решительно поднялся:
— С вершины слазь, коняга мой Пегас!
И ты в момент со мной, сейчас.
Пес черный, ишь, куда пробрался.
Приснился как-то пес тот. С той поры
Стоит перед глазами.
Все точит свои зубы — топоры.
Похоже, напоминает мне и даме
О возможной драме...
— Ну, хорошо, — плечом вела Мария. —
Но все же я тебя не узнаю.
Ты был другим в Адамовском краю,
А тут, после Орла, глаза сырые.

ГЛАВА ВТОРАЯ

V.

Ходил в своей институт он по субботам,
И что сегодня понял из того?
Во всей стране как не хватает квоты,
Так и Орлу – культуры, эхолота
Для измеренья глубины всего.
Нам оперы хорошей не хватает.
Сказал тут одному – расхотался:
На кой театр такой нам сдался!
Мороженого! Что во рту не тает,
А зубы ломит, за сердце хватает,
Оском один в иллюзии закрался.
Ну гений! Ну кретин! Тот господин.
А еще тоже где-то в высших сферах.
Когда, ориентируя Орёл,
К нам приезжал зампреда Кочемасов,
Наш город профиль этот приобрел –
Нести культуру, крест культуры в массы.
Россия, Русь! Срединная моя.
Язык наш русский – каравай могучий.
Какая тягость на плече твоя!
Как навалилось этой самой тучей!
А все вставала, все перемогла –
Срединная, боянная, родная.
А потому как два у нас крыла,
Две головы, и дорога любая.
Дворянская – Дворянское гнездо,
Крестьянская – народная стихия.
Соединили степь и лес в одно,
Магнит земли, талантищи какие!
Какою силой тянет из девонов,
Из недр «бермудских» – солнцем налитой
Наш треугольник млечный, золотой.



Холмы земли, как корабли,
 На океан настроены со склонов.
 Ходил Арсений по субботам
 В тот институт, носил свой мадригал.
 И получилось че. А ну чего там
 Ему под нос свой ангел нашептал?

**«Адамант»
 (Золотой треугольник)**

Л.М.З. — алмаз, а по-старинному,
 с греческого — адамант.

«Спасское-Лутовиново и Никольское — Вяземское -
 Издавно всем известный «комплот»,
 Где Лев Толстой и Тургенев не княжески —
 Так, по-простому, ходили в народ.
 Есть и еще тут местечечко скромное,
 Где Абрикосов и сам Лев Толстой,
 Сидя под дубом, вкушали скоромное,
 Пили из кружки душистый настой.
 Этот поселок не с пенышка толика —
 Недра язычества, чувство вины.
 Нет у страны без него треугольника,
 Как без народа нет и страны.
 Мистика берега, тайные магнитные
 Слово сюда притянули, талант.
 Вот почему в языке мы элитные,
 Речь первородна, любой — адамант!
 Может, поболее города — стольника
 Перлы могуче отсюда видны.
 Нет, адамант, без тебя треугольника!
 Без первородного нет и страны!»

* * *

Вот на какой мы основе
 Стали великими в слове,

А со словом – и в литературе,
Ограниченной, в дворянской культуре.
Так, чего там, песни русские – хорошо,
Вот каковы мы в застолье!
А на лугу, а в полях еще –
Грусть, тоска и раздолье.
И на этой стихии культура –
Общечеловеческая, от усилия греческого.
Александр Македонский еще когда
Там же был, где была литература –
В анналах божественных слова отеческого.
При Александрийской библиотеке
«Музисьон» учредил. А уж города,
Особо римские,
Оперу после взлелеяли...
– Ну, и что? – говорит господин Аля
(Назовем его так для виду, для конспирации). –
А мы как хлеб веяли, сеяли,
Так и будем сеять. Главное нам – земля.
– А знаете, – говорю, – господин Аля,
Что означает ваша земля?
Тут же пращурь – арии
(В оном веке все на себя
Взяли пери),
Только скифские, сколотские –
Пели арии, не только
Хлеба тут растили,
Раскрывая кавычки,
А уж тем хлебом через Геллеспонт,
Через города – полисы греческие
Вскормили Элладу, товарищ Виконт,
Господин Аля! А через Элладу,
Мон шер, дым отеческий,
И весь Древний Рим, всю европейскую цивилизацию,
В том числе и оперу, поставили на ноги,

Соединили античное с современностью...

Баяли, граяли

Да так и растаяли...

– Ну, и что! – не успокаивается этот Аля. –

– Чё нам опера – не земля!

Ал-ля-ля, тру-ля-ля...

– Так, – говорит ему Чигринев Арсений.

Проснулся, слышит, ощущается стук –

Сердце стучит,

Он же народный артист

Драматической сцены.

Как режиссер Роман Виктюк,

Особо любящий оперу Вены.

– Вот что, – подбирает ему Арсений

Факты и аргументы. –

Берем историю, а не частность, моменты.

Где это вы, товарищ администратор,

Совесьть нашли в политике?

– А где это вы, товарищ советник, в облсовете, –

Упорствует Виконт

Этот в обл администрации выше среднего, атомы эти, –

Нашли пользу от оперы –

Современную, а не моховую какую-то, скифскую?

– Вы, – отвечает ему Чигринев, – в прошлом лете, –

Были, помню, в Воронеже?

– Ну, был.

– Там, допустим, расщепляют атом,

А не ждут, понимаешь, просто НАТО.

И Чернобыли никого еще там не слопали,

И не крутят там по окружной интуристов,

Искажая картину круифскую.

А по-настоящему что-то делают, глубоко пашут.

* * *

Существуют три фактора

Для культурного города:

Университет приличный,
Издательство книжное с журналом «Подъем»,
Опера – музыкальный театр.
Вот при такой инфраструктуре самолеты и делают,
Ибо какого уровня масса,
Такого город и класса!
А в нашем?
– Что в нашем? – стоит на своем Виконт,
И душа его так тому рада.
Как будто он лично сам держит фронт
В районе Адамова или Сталинграда.
– Да в нашем Орле! – загорается Чигринев. –
Все уж есть. И университет – ничего себе,
Правда, пока анемичный,
И кое-какое издательство с журналом
«Орёл чечевичный»,
А оперы нет.
А ведь слагаемые налицо.
Только сложить в кучу все это,
Выразить единоличность,
Произвести рокировку,
Создать «Майскую ночь» – чернобровку.
И оркестр симфонический – есть.
И институт культуры, балетные классы.
Хоры всякие, ансамбли – массы,
И помещенье то же. Да, но какая же спесь –
Старый театр драматический!
А ведь была не так давно в нем
Даже оркестровая яма.
«Свободное пространство» – театр называется,
Вот и наполните его содержанием.
– Ты б, Чигринев, за прозу лучше держался! –
Замечает товарищ Виконт. –
А то, мастодонт,
Все пишешь свои романы в стихах.

— Это я так волнуюсь, — говорит Арсений, —
Особо, когда стенки непробиваемые.
Ну, назовите оперу «губернаторской», что ль,
Театр «муниципальный», так называемый,
Знакомо до боли,
Все из ответственных мест!
А чтобы дело пошло!
У нас в Орле так это делают.
Думают, пусть лучше ходят вброд,
Пока мост капитально ремонтируют -
Александровский, через Орлик, вот долгострой!
— Ишь, какой!
Из тебя, как из бочки!
— А если бы переименовали мост в «губернаторский»,
Думаю, сдвинулось бы с мертвой точки.
— Городской мост, — отворачивается в сторону речки
Товарищ Виконт. —
Пупрышек.
Пусть город свое говорит,
А мы областные, у нас — русское поле.
— Ага, — говорит Чигринев. —
Как «Ревизор», «Мертвые души»! —
Так ...и... и... и... у кого что болит.
— Что «и»?
— «Иоланта» Чайковского — вот что! —
Говорит Арсений уверенно.
Опять наладился ритм, рифма оделась в манто.
А то! А то!..
— Вон посмотрите, — говорит Арсений
Громко намеренно,
Чтобы привлечь общественное прозрение.
Чтобы птичка влетела в сени — опера эта,
Далась ему эта «Иоланта».
В Калининграде всего один театр —
А все есть в нем, разбито по секторам:

Драма, опера, варьете даже
В «Царской невесте» бельканто,
Римского с Корсаковым интерпретируя,
Сам слушал оперу там,
Гарантирую...
А у нас три театра – ложа, лажа,
И все драматическая поклажа.
Перелицовывают заграничное,
Размуровывают кого поближе – Тургенева.
Режиссер говорит: «Я так вижу,
Сижу и вижу, мое дело личное».
И еще у нас магазины,
Так товар тоже из-за границы,
От тети Зины...
Здание бы кирпичное...

* * *

После такого разговора
Долго Арсений стоит, как вкопанный.
Вроде уже кем-то слопанный,
Наподобие «Ревизора» или даже Андропова.

VI.

Как и следовало ожидать,
Потащил его к себе сам председатель правления.
– Что это ты, – говорит, – Артист, твою мать,
Проявляешь поползновения?
– Какие поползновения? Гения? -
Удивляется Чигринев от имени млекопитающих.
Вот наив, по-сибирски – вроде не понимает.
– Что же ты, – говорит тот ему, – выше Тургенева?
Или другого кого назови, брат.
– «От ликующих, праздно болтающих, –
– Это ему Арсений так, между прочим, –
Обагряющих руки в крови,

Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».
— Что это ты, дело к ночи,
Что опять-таки, между прочим?
— А я ведь Артист, — Чигринев ему так. —
Хоть дело и в самом деле к ночи,
Мы в театре, и у нас, между прочим, спектакль,
А в нем стихи, между прочим.
— Ты бы еще тут запел, —
Председатель глазами хлопает...
Оперу свою подает, в опере дырку штопает.
— «Орлеанскую деву»? Про Леля?
Ах, Лель мой, Лел...
Да боюсь Терминатор ногами затопает.
— Кого ты имеешь в виду,
Может меня — Председателя?
Или Виконта из облфонда?
Так он уже в этом году —
Молится на Создателя...
Из-за твоего экспромта...

* * *

Знает Арсений чиновников,
Ихний язык-то птичий,
Слышал от «серых» полковников
Про огурешные плети — такой обычай:
Тут семена «включнут» и ждут,
Неизвестно, где «выключнет», плети где-то окажутся.
Зафиксируют, на мушку возьмут,
А потом и куражатся.
Вот сейчас мост Александровский на прицеле.
Через Орлик, не так уж великий,
Но важный,
Под которым и проплывают лики,
Каждый кораблик бумажный.

В «Мертвых душах» к голове сахара
Все чиновники липли.
А тут этот мост, как олимпиада в Саппоро –
Или у нас в Сочи, если будет, –
Белая, зимняя, как павильон в Голливуде
Или как огромные гризли,
Кабы кого не сгрызли.
А вы-то как думаете?
Из чего пятьдесят миллиардов в год получается?
Движение двустороннее, совесть не различается!
С одной стороны – миллиарды дебита,
С другой – около миллиона отхода,
Суммы эти!..
Так вот, мост как головка лебедя,
В миллиончиков двадцать, наверно.
– Делайте, – говорят областные городу, –
Мы вас поможем.
Добавим еще, если понадобится.
То да се. Бес в ребро, инфляция в бороду.
Встал еще тот мэр, как царь Александр,
И оглядывается на всю область –
На воблу эту,
Чуя плохую примету.
А те говорят:
– Ну, землю, тогда продайте.
Под застройку выделите побольше.
Земля же у вас дорогая...
Ну выделили, ну продали,
Себе отщипнули маленько.
Как не отщипнуть – искушение,
Каждому надобно повышение,
Следующая ступенька, летка-енька, –
Вот одного и посадили.
А другой мэр – уже бес в бороду
А под ребром – инфляция,

Отливает ныне другие пули,
Другая конфигурация.
Тили-тили, жили-были.
Посадили – вытащили, вытащили – посадили.
А Александр Македонский ходит на митинги возле
моста,

Сгоняет галок с креста
Собора Михаила-Архангела
И честит ирокезов всех подряд,
В том числе и вождя тутошного – Терминатора.
А если бы мост был не Александровский,
А Терминаторский, то, наверно,
Тот мост бы давно уж доделали.
Ты-то как оно, Брут?
Одну руку о другую трут,
Чтобы обе были белыми,
Силами правыми, а не левыми,
Есть «свои», есть «чужие» -
Как при том, так и при этом режиме.
Вот мэр новый и говорит:
– На Мавзолею постоял,
Век будет помнить.
Пусть на мосту теперь постоит,
Подсчитает, сколько вод утекло.
Может, проникнется.
Тили-тили, жили-были,
Посадили – вытащили, вытащили – посадили.
Не в Орле история,
А где-нибудь в Карфагене...
Вот ходил, ходил Чигринев
Через этот мост в институт свой
И задумался его гений:
«Как бы это переименовать мост в Терминаторский?
У него же исторические корни».
И опять же в порядке гармонии,

А также с рифмой воссоединения
И написалась у Чигринова Арсения
Такая вот песня и сыгралась им тут же
На фисгармонии.

Александровский мост
(еще одна песня Арсения)

«Город-птица, а мост неподвижен.
Две реки, два моста, два крыла.
Тут взлетел, очутился в Париже
Александровский мост из Орла.
Александровский мост, Александровский мост.
Под мостами то Орлик, то Сена.
Перепутана жизнь – то французы, то росс,
Александровский мост неизменно.
Назначаю свиданье тебе у моста:
Александровский мост, Александра.
Позабыл, в каком городе эти места,
Где вы ждете, ма шер, меня, гранда.
Александровский мост, Александровский мост,
Звездный рокот в беззвучном полете.
Я в Париже ищу злато ваших волос,
А вы тут, у моста, меня ждете.
Александровский мост, Александровский мост,
Александра со мной неизменно.
Под мостами течет солнце ваших волос, –
Славен Орлик, божественна Сена».
– Кто «ма шер» – «моя дорогая»? –
Это спросил Чигринова Виконт,
Когда песню скончал тот и, играя,
Спрашивал, перевозмогая апломб.
– Саша, девочка Златы –
Бывшей студентки нашей,
Ныне во Франции, наши ребята.
Мценск и Лион, Орёл и Париж –

Вот такие маршруты. Нет краше
Моста Александровского в Париже.
Саша, Златина дочка, ты спишь?
Тут уже ночь, у вас еще день,
Который становится ближе.
Все ближе, когда своим именем
Ты называешь тот мост на Сене,
Самый красивый в Париже,
Который построил для поколений
Наш Александр — император рыжий.
А чтобы ближе быть, ближе
К Дому инвалидов, где лежит Наполеон.
А тут собор Михаила Архангела,
Где, когда через Орёл провозили из Таганрога
И было народу много,
Господи, и покоилось тело государя,
Которого ни свет ни заря.
Увезли в Петербург,
А тут поставили мост
И нарекли его именем,
Как и в Париже
В честь одного и того же рыжего.

* * *

Девочка Златина — Саша ее,
Александрина,
Соединяет теперь берега — льдина,
И ее и мое — Свобода, Равенство, Братство —
Нации и государства.

* * *

Это Виконт интригу затеял
Какую-то грандиозную.
Как ни столкнется Сеня с ним
В Белом Доме — нос потеет,

Шуточку отпустит ему одиозную.
Вслед посмотрит многозначительно,
Привет передаст через постового.
В общем, сделает исключительное.
Качает психику у домового –
Хозяина Белого Дома,
К какому все тут причислены.
Самих пропускают тут, как святых,
Из четвертого тома,
И – никого лишнего.
А лишние – все остальные,
С центрального входа и бокового.
Дальние террористы эти потенциальные,
К ним и приставили домового.
Челядь у него магическая.
При погонах, в летоисчислении,
А все остальное не свое в списках.
Необращения. Бледная, без кровообращения -
Припрется бабка какая-нибудь из района,
На низовое «пожалиться»,
Как бывало, одно и то же лицо!
«Капут», «Гитлер капут».
Да откуда ей знать – все заподлицо.
Позабыла всех, а чего уж печалиться,
Гитлеры не возвращаются.
Денежки последние раскиссирует,
В надеждах сама и светопредставленьях
О поколеньях,
А ее, бабу, сыночки
Под локоточки
Да с порошков
Тихо-тихо
Куда-нибудь...
Под Александровский мост,
А то и куда подальше.

Как какой-нибудь Виконт такой —
Де Бражелон
Со своим политесом о совести
В своей нескончаемой повести.
Вот и ваш покорный слуга пришел,
Возвратился через сто лет по делу —
В комитет по реабилитации,
Так и тому улыбнулись
Очень хорошо!
Написали бы на спине номер мелом,
А еще лучше, когда на стене
Красным и белым:
«Все ушли на фронт!»
В том числе и Виконт!
И даже депутата Госдумы
С первого этажа
Вставили в кабинет, как сонет,
Куда повыше, под ключ, —
На третий, где в основном и делятся суммы,
Под бок Комитету по реабилитации.
Вот как происходит сплочение нации.
О, великий, ну ты и могуч, —
Все ты должен знать,
Русский язык!..
А слов не хватает,
— История, в общая, простая.
Потеряли ей счет.
Вновь и вновь
«Под мостом Мирабо
Тихо Сена течет
И уносит нашу любовь».

VII.

Кажется, начинается что-то проясняться.
Солнце, что ли, уж всходит с Запада.

Бабка Бабариха уронит креслице,
И буковку забудут сменить у клапана.
«Запада -- клапана» — так и рифмуется,
А Бабариха сидит, красуется:
«Встает на Западе румяный царь природы,
И удивленные народы
Не знают им, с чего начать —
Ложиться спать или вставать?»
Запад для Орла — Хотынец,
Куда солнце ушло наконец.
Легло, успокоилось,
В Полесье, в брянских лесах упокоилось.
Эх, походили же резвые ножки
По Муромской-то дорожке!.,
Кажется, у Арсения начинало
Склеиваться что-то языческое.
Похожее на разделение властей —
Светское и духовное.
И князя древнерусские, как вожди,
Даже на пост великий ели скоромное,
Пили, ели, чего от такого жди.
Образы, лики — ближе велики.

* * *

А тут сообщение из института,
Из бухгалтерии:
Зарплату урезали «и тама, и тута»,
Как рядовому жителю прерии.
Надо же, не корифей,
А, как и все тут, халдей.
— Да, я, — говорит (кинулся он в бухгалтерию), -
Положил на всю вашу прерию!
Я, — говорит, — сто лет в обед,
Еще в училище при театре
Был профессором, когда ваш Терминатор

Еще ездил на тракторе.

— А при чем тут Терминатор наш? — говорят. —

При чем тут трактор и «Татра»?

Труба, дымящаяся из Большого театра;

Где у вас звание?

— Народный артист, есть диплом.

— Научное, — продолжают они дознание,

Стоя твердо на том. —

Кандидат вы или доктор искусствоведения?..

Вот такая комедия.

А потом еще и пенсию урезали

«И тама, и тута».

Когда оформлялся на заслуженный отдых,

Получалось под семьдесят, что ль, процентов

От заработка,

А теперь, под руководством Зурабова,

Ешь хоть одну картошку,

Носи довоенную ложку,

Говори без всяких акцентов.

Вон соседка Сара Бродка

Тоже пенсионерка (да какая там водка?),

Умерла вчера от истощения.

И таких в год без лекарств почти по миллиону

Слушать уходят туда «Миньону»,

Ибо тут, все молчи,

Пенсию докатили процентов до двадцати,

Как палачи...

Строят оборону, как угол комоду,

На шее народу...

А хозяин его защищает,

В будущем, видно, себе от него имаает.

— Да ты же и сам чиновник, —

Говорят они ему в этой своей бухгалтерии. —

Вроде как генерал от инфантерии,

А какой скромник,

Артист — международник!
И куда вы хоть деньги деваете?
Суете и суете во все дырки.
И вы, и женщины ваши — ихдырки...
— Ах, женщины наши не нравятся вам?
— Да с одной надо жить,
А не втроем... а ля фам.
Можем вам и одолжить,
Давайте выпишем премию
Как генералу от инфантерии.

* * *

Премия — это хорошо, конечно.
Но это, когда выбил и еще, безгрешно,
А зарплата постоянная лучше.
Вот, оказывается, пошли отчего
Эти «оранжевые» путчи.
А все насчет одного:
То «тама и тута», а то только «тама».
И стал Арсений к округе четче приглядываться,
Жизнь людскую через себя пропускать.
Уж если на нем призрак от бледности тает,
То как же тогда в Китае
Всего всем хватает?
А у нас все бомжи и бомжи.
И откуда они хоть берутся?
Как стрижи, рекрутируются,
Развернутся — свернутся
Бомжи эти?
Самые передовые на свете.
Один за одним — раньше,
Раньше куда-то девались же...
Промотнулся Арсений на днях в Москву, -
В однодневную командировку, —
Разогнать, как говорится, тоску,

В чем и показал начальству
Свою, понимаешь, сноровку.
И что видит он «тама»,
Ну, у библиотеки Российской,
Бывшей имени Ленина,
С видом на Большой Кремлевский дворец
И Эйфелеву башню?
А видит он длинные «башлы» столицы
И худые провинциальные лица.
Тут посередке четыре груздя
На теплой железной решетке,
Один к одному, близко-близко,
Все четыре, как пфенниги,
Кем-то брошенные за ненужностью денежной.
Лица бывшей приятной наружности,
Поклонники бывшие литургий и месс,
Всходившие некогда на Эверест.
А сейчас боком лежащие как-то,
Как собаки знобко дрожащие.
А, точнее, вот как эти самые «грузди» на сковородке.
И ведь во рту ни крошки, ни росинки,
Сто лет в обед была капля водки.
Вот такие картинки!
Натуральные, сам видел,
Знаю, что говорю.
Сколько таких «груздей»
Выросло к январю?
А сколько налево ушло миллиардов?
Под смех пацанов, товарищей, пэров?
А господин Зурабов вчера на Госдуме
Голову всем морочит,
Так говорит, между прочим:
— Кабы во мне дело было,
А не в леди Винтер,
Да я б хоть сейчас...

Ушел бы с этой трибуны,
Если бы ветер
Куда-нибудь дунул...
«Вот нашелся киндер!
Нет на него трех мушкетеров,
Самого Александра Дюма.
А наши Щедрины тоже куда-то деру
И зырят откуда-то из-под куста:
Стратегия, дескать, не та, не героические фигуры.
Нет у нас серьезной литературы.
А сами живут в тех еще, шестидесятых,
И поныне сливут совестью нации.
Все очищают Байкал —
За бокалом бокал.
Все никак до донца не выпьют,
Пыль из себя-то не выбьют,
А все совесть да совесть нации.
Все корифеи — то слоны, то Орфеи.
«Апокриф» с Ерофеевым
Хотя бы послушали, корифеи,
По телевизору, чтоб подразвиться.
Поклонились бы даже такому мизеру.
Вон уж даже Ерофеева не узнать,
Как резвится, не то, что вначале, —
Грамотей какой, опечаленный...»

* * *

Вот еще о чем стал подумывать Чигринев,
Как выбрался из Адамова в этой Орёл.
Тоже, оказывается, столица,
Но какая-то бурная и бравурная,
«Третья эта литературная».
Это Арсений сам услышал намедни
От самого Терминатора,
Когда тот, пресекая всякие бредни,

*В открытую заявил от имени Улан-Батора,
У камня, заложенного в честь генерала Ермолова,
Работы будущей, кажется, скульптора Бологова?*

Но за скульптора не ручаюсь —

Коней Бологов не ваяет.

И при том, говорят, почил уже в бозе,

А камень все торчит на морозе,

Лишь под солнцем и тает,

Все о Кавказе напоминает.

На мост все глядит, тут поблизости,

на Александровский,

А через него, ввысь куда подальше,

На Белый Дом.

Как и я, автор, — христианский, кассандровский,

Мистикой перекошенный,

То — в Максимилиана Волошина,

А то — все в этот свой четвертый том.

Целью метафорами и глоссами —

Не какими-нибудь, а хорошими.

А «третья литературная»,

Как столица какого-нибудь государства,

Так разыграна в лицах —

Маленькая, конъюнктурная,

Аббревиатурная —

ТЛС,

Как чеченец какой

Иль черкес. —

Тоже красивый,

Когда в составе России,

А мы тоже в ее составе,

Вот памятник ей на коне-то

И ставим.

*** * ***

И в качестве подтверждения своего высокого статуса

И для утверждения Блока

Арсений Чигринев в горсаду,
У какого-то кактуса,
На толчее, где пенсионеры
Теснят песней танцы,
Избавляя себя от времени, от порока,
Взял да и прочитал все это сердцем вслух и на всех,
И имел, понимаешь, успех.
Как и Серж Пискунов, мой друг,
Ректор пединститута, бывало,
Брал иногда гармошку
И тоже сюда, когда его разбирало.
Вот, читайте,
Молодость вспоминайте!

**Из Серебряного века.
Скользит в волнах серебряного пеня.
Перси Биши Шелли.
«Освобожденный Прометей»**

ПАРИЖАНКА

«В троллейбус вошла незнакомая женщина
Была она дряхлой, больной,
И сразу возникла какая-то трещина
Меж ею с Луной, меж нею и мной
И публикой всей остальной.
Косились на ворот ей, подозревая
Бомжовый педикулез.
Платочек она теребила, свивая.
Слегка понимая, судьбу принимая
И вся зажимаясь, без слез.
Сидела в портрете, дыханье тая,
Слегка наклонясь, ожила.
«Отговорила роща золотая...»
«И журавли печально пролетая...» —
Она монотонно прочла.
Ответил я ей. И мой Бог, и мой Бог!

Она повела чуть плечом.
Мне перлы метала,
Сидела, читала — о чем?
К окну между строк присел бледный рок,
Сходила землистость со щек.
Она улыбнулась мне обозначено,
Изящна и нервна слегка.
«И вечерами, в час назначенный...
Девичий стан, шелками схваченный...»
Троллейбус шел. Сидела прямо
Она в портрете — у дверей.
Так — из дверей ее тех самых,
Из серебра — Прекрасной Дамой
Блеснула в памяти моей.
Да и ушла в свои Парижи,
В мою серебряную жуть.
Троллейбус шел аллеей рыжей,
Меланхолично пеня, брызжа,
И лужей схватывалась суть.
Да кто они — газели, ламы?
А кто же я — корнет, стратег?
Стеная в возрасты и драмы,
В троллейбусах прекрасны дамы,
Прекрасных Дам не меркнет смех.
«Кто ты, Серебряная женщина?
Через порог за тыщи лет?...»
Идет троллейбус. Скорбна трещина.
Пересекает сталь, лорнет.
И улыбается портрет
Сквозь пыль, сквозь быль скользя и нет».

VIII.

Дикая, дикая, дикая роза
Выросла под окном.
Это шиповник, это мимоза,

Это мой маленький дом.
Это Адамов мой и Чигриневка,
Это поселок Бобры.
Это все бывшая обстановка,
Где были все мы добры.
«Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как искренне любили,
Как верили в себя»

* * *

Дело дошло до зав.кафедрой,
До декана, проректора по науке.
А те ему: что ж мы работаем
Без какого-то плана?
Питаемся, по-вашему, только «икрой»?
Взятки сплошные берем,
Как утверждают на митингах?
Грянул над нами давно бы уж гром,
А вот ничего мы, пока что живем —
На грантах, субсидиях, лизингах.
Выборы вот только что были,
И вы, как сами знаете,
Ректора нашего в Совет себе получили,
В депутаты, вы нас понимаете?
У нас тоже ведь конкурс к датам —
Министерство меж вузов устраивает.
Считают уровень по докторам, кандидатам,
Средства за это удваивают.
Слышали? Что японцы придумали,
Хитроумные бестии?
Кабы вообще всех преподавателей в тресте,
Вместе с их душою,
Как говорится, не «схрумали».
Подсчитали по всей Японии, —

Хокайдо-Хонсю-Сикоку-Кюсю, —
«Сикоко ситоит» все эти
Метрополии и колонии,
Да и в Токио, кажется, для правдоискателей —
Взяли университет специальный
И открыли,
На «Интернете», —
Без всяких преподавателей.
Человек сто только
Будут обслуживать электронику.
И как нравится вам эта помойка?
С чем это, по-вашему, вяжется?
Давать таким образом знания —
Без преподавания?
Каким ветром дуют с Востока
Японцы эти?... Зюйд и Вест...
И пока что, в целях устойчивости
Эксперимента такого,
Набрали всего на тысячу двести мест
Человек, так сказать,
«Роботизационной свойственности».
А захотят — зачислят любого,
Неберут, сколько надо им.
Представляете, на какие рельсы
Переводится человечество?
«А мы все толчемся,
В пределах Отечества,
Стрижем пейсы.
Подтираем соплю ладонью
Посреди вони...»
Отставил от себя Чигринев
Телефонную трубку подальше,
Подумал невольно: «А как же в Италии?
Или в Америке, а также в Германии,
В Англии, Франции, на Сиракузах?»

Вопрос Архимедов не нов,
Какие на этот счет там стенания?»
И решил Чигринев на старости лет
Еще подучиться.
И сразу на доктора – чего на кого-то злиться,
Под мост бросаться.
Нет на Западе кандидатов,
Этих рыцарей в латах – на малых зарплатах?
А после магистров доктора сразу,
Без промежутка, аж жутко!
Или-или. Поддал газу и сразу
Без лишней ступеньки!
Как говорят у нас Панивежисе, да как я и сам,
Сразу готовы мы на всякие «вытребеньки».
Конечно, еще раз подумаем тут и там
Про «летки – еньки»
Рассевшихся по чиновным местам:
Как это они у себя «академии госслужбы»
Поучредили – тут и там,
«Институты кризисной ситуации» – там и тут.
Загодя обставили «стулья» свои
Научными званиями.
В ельцинской неустойчивости времени,
Пока все «каштаны» по карманам таскали,
Ученья – всякие знания,
Они себе звания
Приспосабливали,
Как узду на грядущее -
Этих выскочек галантных,
В штанах широких и узких –
«Новых русских»...
– «Нам до японцев этих,
С их «Интернетом», -
Шел Чигринев от фарса, -
Как до Марса.

Доктора еще России послужат.
Отлично.
Я, например, лично».
И стал проектировать он жизнь, будущее своих дней.
Связывая его даже не с Домом Советов,
Не с возвращением в театр теней,
А вобще, с наложенным ветом.
Как будто сто лет прожить
Хотел он при этом.
С Восточным федеральным университетом —
Это в Красноярске,
И Южным федеральным университетом —
Это в Ростове-на-Дону.
Как сказал еще Володарский:
«Зачем нам две конфетки? Хотя бы одну».

* * *

Прилетела птичка эта,
Синичка-невеличка, вся какая-то нервная.
Груша, Агрипина — жена его первая.
Шмыга, артистка, московская оперетта.
(Да, обе какие-то нервные, тонкие).
Плохо слушала, так и сказала:
— Товарищ Бекетов!
Если девать тебе себя некуда,
Детей привезу на все лето,
На хлеба твои звонкие.
После него появилась Мария из-под Адамова.
В «ВИЛОР» тоже там перебралась,
Поближе к недрам в городе храмовом,
Тоже с финансовой дисциплиной связалась.
Всем теперь одного не хватает,
Ситуация трагична, драмова,
Особенно в деревушке где-то у Сомово.
Мария слушала его, слушала

Да в таких спорах мысль
И посеяла в себе ретиву -
Опасение за перспективу.
— Вижу, хочется тебе ксиву? —
Говорила она, понимая,
Что с нее он может переключиться
На другое женское имя — такое красивое:
«Дис — сер — тация!» —
А у меня, — сказала она, —
За это время сломана была ключица.
— Ну и что?! — рассвирепел Чигринев. —
«ВИЛОР», ксива, ключица!
Я те что — последняя спица в колеснице?
Так быть или не быть —
В Сибири или на Кавказе,
В Федеральном университете?
— Умерь, ксива, свои фантазии...
Было уж все это, было! —
Сказала Мария. — Еще при Хрущеве.
Тоже слышал про него в каждой фразе я —
От брата твоего, от Егория.
Так вот, Егорий в молодежной газете работал.
Жил, естественно, не в «Астории»,
А в обыкновенных условиях,
По фене ботал.
Так вот, уж тогда
Их с Хрущевым одолевали прожекты
То в русском языке —
Говорить «хожу в пальте»,
Склонять несклоняемое всегда,
Замешивать тесто на новой муке.
А то «timiрызевку» как сельхозакадемию
Из столицы стал переносить к земле ближе,
Где асфальт пониже и начальство пожиже.
Учредили даже за это премию,

Здания возвели мигом,
Егорий уж давал объявление
О наборе... в Курске — на агрономов...
А в Куйбышеве — на зоотехников...
Да академики оказались со «сдвигом»:
Взяли и не поехали,
Не послушались гномов —
Старые, дюже уперты...
А какая ж без академиков академия?
Так, институт, прости господи, или даже техникум.
Преподаватели в коротких штанишках —
Называются «шорты»
А в шортах не какие-нибудь тебе академики —
Павлов и Бехтерев,
Кто-то, чьи фамилии стерты.

* * *

Мария, конечно, заставила Арсения
Призадуматься, копнуть глубже.
Однако не ввела его во искушение
Свести, в конце концов, все это к луже.
Бросить все к чертовой бабушке,
Больно горячи-то оладушки.
Рискованно дюже.
Да, рискованно и раскованно,
В Южном — Кавказ и Индия,
В Дальневосточном регионе — ты у Китая.
Много чего узнаешь,
Много чего увидишь.
Да и время куда девать
В этой «третьей столице»?
В театры ходить, книженции кантовать,
Что тут успели родиться?
По бабам ходить, пилить дрова,
Водку жрать, «тугры» заколачивать?

*Мать прокляла бы, кабы была жива,
Ну, а как же иначе?
Не для того нас рожают матери,
Чтоб застревать у цели.
Чтобы сыны сгорали в кратере
В обществе, давке, артели...
А вы чего бы хотели?..*

Л. М. Золотарев





ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОСКВА – СТОЛИЦА.

IX.

В том же доме, на Дворянском гнезде,
Где жить предстояло Арсению
С недавних пор, если верить звезде,
Но не путеводной, а наоборот.
Так вот,
Если верить смерти и воскресению,
Доживал последние дни старичок-паучок.
Профессор один – дружок отчима с молодости.
Доктор наук, «профи» после защиты вскорости,
Другой, понимаете, цимус – «панглос!»,
А не как некоторые – по «совокупности».
Всю жизнь человек ухлопал на докторскую,
Был зав. кафедрой, ездил с места на место
По городам Союза, проклиная судьбу дебиторскую.
И вот, наконец, и доктор, обрел место,
А жить некому. Вестерн.
Едва поднял себя с постели,
Когда Арсений явился.
– Ну что, товарищ Ленин? –
Пошутил Арсений
Не очень клево. –
В шалаш свой забился,
Маршал Даву?
Жена впустила Арсения к нему на randevu
И то потому что Олег знал Арсения
Сто лет тому, когда тот был еще аспирантом,
А Арсений стажировался в театре.
Вот и хлопнули по рукам, помнится, после спектакля.
Не был отчим педантом,
Педантами не были ни тот, ни другой.
Карте верили козырной,

Вот и встретился, прости, если что, —
Вишь ты, —
На Олеговом одре,
На его последнем аккорде.
Комната. Книги. Папки. Вериги.
Не было страха, не пахло ладаном.
Как-то все это по-мужски.
Как И. Тургенев под Баден-Баденом -
В строчках, упавших с руки...
Как продержали его на задворах,
Такой мощный талант?
Что протащил на себе, на закорках,
Что недопел из «белькант»?
Олег рассказывал об аспирантке своей Саранской.
Вспомнил, как он ее к телефону подтаскивал.
И Чигриневу помнилось,
Бестии — небожителю,
Ее научному руководителю —
Только бы позвонить,
Образовать хоть какую-то нить.
Вступил Арсений в такую, видать, полосу:
В глазах сыро, щиплет в носу.
— Да вот за советом пришел к тебе, друже, —
Бодро сказал Чигринев. -
Письмо из Москвы, писали в Венев,
Потом и сюда в Орёл.
Из комитета по Достоевскому:
«Какие знания?
Ты, Олег Николаевич, нам тут нужен
Что ж ты не приезжаешь на заседания?»
— А-а, — махнул устало Олег Арсению —
Виртуальность. Так что там у нас?
Что предлагаешь во имя спасения,
Какой, можно сказать, ананас?
— И на вас, и на нас, —

Усмехнулся Арсений невесело —
Что судьба нам навесила?
Взялся вот за диссертацию —
Спасать свою нацию.
Но почему-то по киноискусству
И почему-то французскому,
А ля Жорж Садуль...
— Сколько статей нацелкал...
Понятно, однако, и русскому? —
Вставил Олег Николаевич,
Нашел-таки щелку. -
Так что дерзай, отражай.
— Да уж все готово.
Куда и кому бы на апробацию?
Как ты думаешь? На дегустацию.
— О защите думай одновременно. —
Паузу сделал Олег. —
В московские университеты? Отменно.
Не тяни, как я. Нужен сразу успех.
А то паузу делают,
Из журналов препятствие —
«Аховскими» обозначивают.
Лучше бы уж брали, как прежде,
Явственно.
А то в оберточку заворачивают.
Есть там один такой... на окраине...
Может, туда?..»
В общем, посидел, посидел Арсений со своими сказками,
Подумал о Саранской хорошо.
Попрощался с Олегом и ушел.
Может быть, навсегда.
И вот Арсений сразу в Москву рванул,
В этот научный пул.
Поискать захотелось стул,
Пока борода, как лопата,
У того, где ума палата.

* * *

Опять в Москву,
Уже в который раз.
В который раз с ней вяжутся надежды.
То ехал к ней он
Как артист – миманс,
А то опять мы сызнова невежды.
Рим, Древний Рим
На всех семи холмах:
Москва, Москва,
Твой лик неопалим.
А у тебя насколько флаг повис?
У всего мира ты одна в умах.
Все остальное – верх ее и низ.
Вот Краснохолмский мост,
Холм пред мостом, как лик.
Но почему-то, как перед колодцем,
Он Каменным зовется.
Для нас, провинциалов, важен и велик.
Кто лбом в тот холм уперся,
Тот обдерется.
Мы обдеремся ликами.
Москва слезам не верит –
Какие ж мы, великие!
Но кто колодец мерил?
Да те ж провинциалы,
Что прежде к нам сюда,
На те холмы, попали
И вроде коренными стали.
И держат круговую оборону,
Столицу превратили в «зону»
Своей ответственности, благ.
И – гутен морген, гутен таг!
Прощай, немецкая слободка -
Арбат, конгломерат
И «рашен водка».

* * *

Периоды какие-то крутились,
Слова молниеносные, как лес,
Когда из таксомотора Сеня вылез
И в электричку скоростную влез.

«Две птички-синички»
(песенка)

«Мне надо в Москву в электричке —
В новенькой, сверхскоростной.
Влетели две птички, две птички-синички
В вагон удивительный мой.
На Курский вокзал! На Курский вокзал!
Едем втроем без билета
Зиму и лето, зиму и лето.
Я и две птички, птички-синички,
На Курский вокзал! На Курский вокзал!
Кто это? Что это? Что это!
Брови нахмурив в своей электричке,
Вот что сказал ревизор:
— Где тут две птички? Две птички-синички?
Это же зайцы! Позор!
— Что вы? — сказали ему две синички. —
Разве мы зайцы? Гляди,
Уши у зайца длинней электрички.
С красной морковкой в груди.
Мы же две птички, две птички-синички,
Завтра у нас выходной.
Надо в Москву нам, на электричке.
— На электричке?
— Да, самой сверхскоростной!
Мне надо в Москву в электричке...
Все!»

* * *

После Скуратово, у Философово,
Скоростная притормозила,
Да так, что можно было
Со вздохами, ахами-охами
Прочитать по буквам
Название станции.
А потом опять все заскользило,
Только столбы по штукам
Назад отскакивали,
Ничего себе, устроили танцы
Стихи эти – стансы.
Но даже это не поколебало
Философского настроения
Арсения
При виде той самой станции,
С которой и начались опасения,
Что эти самые стансы
Имеют малые шансы.
Подняться в воздух и полететь
На воздушной, магнитной подушке.
Все торопятся, всюду надо успеть –
Уши торчком на макушке.
Во Франции всем как нервы мотают?
Только столбы и считают –
Пятьсот семьдесят пять километров в час,
На линии Париж – Страсбург.
Как самолеты. А все скорости не хватает.
Гаврюша Симонов – Гавриил Николаевич –
Рассказывал как-то,
Что у них от Бордо
Поезд такой же «Буслай Буслаевич»,
Сразу решает три фактора, факта:
И ты вроде на самолете,
И скорость такая, что – часа через три, через два ты
уж в Париже,

*И, третье, тоже в работе:
Поезд вкатывает прямо на аэродром де Голля,
К трапу — и ты в воздухе, в настоящем полете...
И у нас такое же собирались сделать французы.
Тоже часа за три от Москвы до Питера,
Снять дорожные узы.
А теперь вот Фрадков побывал у японцев,
Строить по Сибири будут аэродромы «подскока»...
Покатил сразу на все музы...
«Широка страна моя родная!»
Прокатить Агриппину — по Франции,
А Марию — до самой Японии...
«Сикоку стоит — ситоит сикоку»
Эти наши мечты и агонии?*

* * *

*Так с мыслями об Агриппине — Груше
И прикатил Арсений в Москву на Курский вокзал.
Послушай!
Кто тебе это про японцев сказал?
И что увидел ты, понял и осознал:
А площади перед вокзалом-то нету!
Была, а нету, как корова языком слизала,
Во цирк, во кино!
Застроили зданием несуразным —
Беспокойно нам всем:
Почему нет площади у вокзала?
Вопрос номер семь:
Недавно или давно?
При Ельцине еще. И зачем?*

X.

*Груше сказали: видели, мол, Арсения
Вроде бы на Тверском.
Сидел на скамейке, ковырялся в песке носком*

У памятника Сергея Есенина.
Один или с кем-то в паре?
Вроде бы как в ремейке.
Весь смурной какой-то, включенный,
В фильм заключенный, —
«Офицеры» или наподобие.
— Ваше преподобие, —
Говорю тому, кто дал мне на книжки,
А потом, потянув за штанишки,
Взял да и отказал,
Непотребное что-то сказал.
А ведь в одном углу у него в кабинете
Позолоченный Пушкин, а в другом — пусто.
— Это, — говорит, — для тебя я наметил,
Мангуста.
Как известно, мангуст — зверек такой,
Вроде кошки, в Индии,
Но людей не как мышей не гоняет,
Людей охраняет «хинди».
Вот я ему и говорю:
«А где портрет?» — «Чей, — говорит, — дед?»
— Да, Индии, Индии! —
— Сейчас тебе, разбежались!
Был портрет, конечно, в углу тебе показался...
Чего это я вильнул в сторону,
В свободном течении мыслей?
А Агрипина? А вороны?
А арабские числа?
Их бы Питеру — Собчак Ксении
Или в Москве — в Риме третьем,
Как, бывало, в Адамове у Арсения.
Стоял бы себе на буфете,
Так нет, сказали, сидит,
Как сиживал часто,
Но не под портретом Сталина

Как например, прима Санина
Где-то напротив Есенина,
Вместе — к его и своей части.
Кинулись она на шоссе Энтузиастов,
А не тот эшелон — со своими

подружками-фарисеями,

Другой том Сергея Есенина.
Помоложе, когда он еще только шел в Москву
Со своих рязанских полей,
С пиджаком на плече.
На земле стоит прямо —
Разгоняет тоску,
Льет елей с полей.
И слеза на плече.
«Только синь сосет глаза», —
Мой духовный отец и ничей.
Догадалась — скорей на Тверской,
А Чигринева и след уж простыл.
Спросила у бабушки.
С внуками тут,
Тоже глаза с тоской,
Сказали — был,
Сидел рядом
Какой-то мужик,
С камнем этим здоровался.
Все поклоны клал, кланялся.
К Есенину как приник,
Все советовался. Нахулиганился.

* * *

Сидел Лановой на Тверском,
На скамейке, напротив Сергея Есенина,
И вспоминал фильм недавний о золотом,
О золотой голове на плахе,
Где занят он был в роли Дзержинского.

И грачи граяли, и кто-то стрелялся.
От молдавского и кахетинского
В голове туман стлался.
И звучал романс на стихи молодые,
Бессмертные:
«Капли жемчужные, капли прекрасные.
Как хороши вы в лучах золотых.
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых».
Посидел, посидел Василий
Да и превратился в Арсения –
Тут, на Московии,
Из поселка Бобры.
Сам от себя не ожидал такого,
Такой, знаете ли, мишуры,
Все чьи-то воображения.
Избалованные,
Образы давние,
Какие-то зыбчатые.
«Ах вы, сени мои, сени,
Сени новые, кленовые
Да рассыпчатые».
Подошел к пьедесталу, сзади:
«А. Бичугов» – имя скульптура.
Молодой, не знаем, но и такому раде –
Астраханский, наверное, культовый:
Заказ такой получить...
А может, стихийно поставил?
Как один да за ночь в Спас-Клепиках?
Только не может этого быть!
Все же Москва – город правил
И постановлений.
Оглядел Серезу Сеня со всех сторон,
Вернулся к себе скамейку.
Размышлять стал спокойнее,

Перед днем осенним тут тая:
«Снова пришел в Москву сюда, как и он,
Затащило от Сосны, как уклеюку.
Правда, рожей уж не молодая.
А что же, а что же
Делать-то с такой рожей?
Все по жизни скитаемся,
Мотаемся, ищем дамку,
Оплодотворяемся.
А конец один — в безвестность и в ямку.
Только ты, Сережа, один и узнал,
Что такое бессмертье, Ваал.
Да еще Пушкин тут, на Тверской, поблизости,
Взятый в рамку»...
Проходили мимо — то с «Известий»,
То с телевидения, ТАСС, то артисты.
Тут театры, МХАТ горьковский за спиной. К чести
Литинститута напротив,
Или у МХАТа литинститут на обороте?..
Проходили, кивали, здоровались,
И откуда хоть знают, помнят?
Не Лановой ведь уже, не Василий,
Что родом из-под Одессы,
А Арсений Чигринев,
Из Бобров орловских,
Свой пока тут, при силе.
Правят литургии и мессы,
Перепуталось все, переплелось -
Для прессы,
В голове, видать, перегрелось.
«Капли жемчужные, капли прекрасные!
Как хороши вы в лучах золотых!»
Мимо счастливые, мимо несчастные,
Сколько идущих, столько живых,
Сердце мое обливается кровью,

Таает последнее что-то у них.
Сеня – мой друг – переполнен любовью,
Строчку о нем завершает пиит:
«Вдруг не успею, вдруг улетит»...
Подошел старичок, снял шляпу,
Поклонился Арсению в пояс:
– Вы, – говорит, – как Шаляпин,
Национальная гордость.
– Да, нет, – отвечает ему Арсений. –
Ошибаетесь. Вот наша гордость! –
И показывает на Есенина. –
Не за того меня приняли вы, наверно.
Я – не первый, у меня просто нервы.
Я похож просто, сын его.
Да, того, о ком вы думаете.
– Отчего, –
Говорит старичок, – мы, русские,
Такие вот скромные,
Вы не знаете?
– Переполнены чувствами, –
Говорит Арсений. – И страданьями.
– И страданьями, – повторил старичок. – Да, за всех.
И сидел в Чигрине у здания
Опять уже не Василий,
Не дошел еще до кольца.
«И ты, Брут, сидишь тут до конца?»
Мелькали тени
По простору лица.
Ждал, конечно, беспечно
Свою благоверную.
Посылал поцелуи он вечно,
Как и прежде, сегодня – сейчас.
Как бы ни были мы жестоки,
Сохраняется что-то в нас.
На ушел Арсений заранее,

Прежде чем она прилетела.
Тоже чувствовала, Испания,
Чья на лавочке тень сидела.
Запах чуяла, поводя
Обостренным испанским носом.
А ведь, чуточку погодя,
Андалузия станет вопросом.
А его самого у Пушкина,
Под старинными фонарями,
Задержала песня кукушкина —
Театралка, сидящая в даме.
Те, что ходят на каждый спектакль,
Тенью тянутся за артистом.
Свой талант проявляя так,
Не свершившийся, на лучистом.
— Что вы, что вы? Менять амплуа? —
Голос был у нее неистов. —
Вы — художник! Вы — Бенуа!
Ну, какая наука вам, боже!
Вы во истину не залистаны.
Вы — от Бога!
Вы мои, моего в вас много.

* * *

Чем больше говорили бы ему
Все эти люди, улицы, театры,
Что он Артист, а значит, посему
Ему не место там, где те же кадры,
Наука та же, та же интуиция.
Но, как сказал все тот же Аристотель
И подтвердит, наверное, милиция,
Все дело в чем? — В работе
Сердца и ума.
Что впереди, что следом, —
В чем самый цимус,

Горит ведь примус,
«Поэтика» и все за ним тома,
А уж за нею где-то «Метафизика».
Однако так расставил Аристотель,
А ныне неизвестно наперед:
«Поэтика» ль в душе людей в полете
Иль «Метафизики» с «Поэзией» полет?

* * *

Думал Арсений, как ему поступить,
Да все поступить не решался.
Вот Гамлет, вот вечность: так быть иль не быть?
Опять этот образ попался.
Профессор и доктор, наука и Бог –
Параметры не для слабых.
Арсений был собран, подтянут и строг.
Желание будь, засадил бы в острог
Себя самолично, стать доктором дабы
От Бога и должности смог.
Привык он к вершинам, какие поближе,
За пиком брать пик, Эверест.
А если скромнее, взять чуточку ниже,
Так сколько их, всяческих мест.
– Старуха! – сказал он, возможно, обидно
Той женщине, что еще помнит его,
Артиста седого. – Какая ж вы «ридна»,
Но мне ведь не надо от вас ничего.
Заплакала та и ушла под сурдинку.
Как Армстронг, труба его, Нью-Орлеан.
«Зачем мы на людях проводим разминку?» –
Измучился Сеня от собственных ран.

XI.

И все же его так тянуло в театр!
Прежде чем в этот университет,

О каком ему намекал Олег -
Друг его, царство небесное, «профэш»,
Пришел на Арбат; так прийти или нет
В свой театр?
От тоски по-прежнему,
Когда он имел тут успех,
Такое прихлынуло.
Прямо как принял морфий
Или другой какой-либо
Более современный наркотик.
Например, героин.
Больше, о нем почему-то толкуют.
Швыряешь, говорят, таблетки в ротик
Или кольнешь куда надо всеу,
И ты вроде как господин, в моде,
Призраки тебя рисуют.
«Не знаю. Не видел. Участие не принимал», —
Ну, точь в точь, как отцы наши
В тридцать седьмом,
Когда за язык их тянули.
Это же граф Нулин,
Или СП — Союз писателей
На полуострове Ямал
И на Соловках тоже.
В местах, куда протопоп Аввакум бежал,
И на костре потом догорал — лишился кожи.
Тоже мне прототип диссидентов,
Основатель линии
В духе нашем из иных элементов
В русской литературе.
Так вот и в СП, бывало,
Как и сейчас, — да какая там разница!
Один поет, а другой — дразнится.
Это у кого таланта мало,
Вот он в порядке самозащиты,

Для одурения масс —
То доверенное лицо у элиты,
Нападает от страха на вас,
А то как пес побитый,
Хвост подождет,
Если топорщится,
А сам все морщится.
Уже мала «отцовская рубаха»,
А вид делать надо, что не по пупок
Те их — по восемь строк,
А баллада километров на триста, —
Реконкиста!
Скажет, что даже роман в стихах
Тоже мне эпопея.
Стоит до одури, опупевает
Та португепя — все тупее, тупее.
Да какая разница — безобразница,
Один поет, а другой — дразнится...
Вот такая каша —
Бородатая тетка наша.
Там, на Тверском, где литинститут,
И заварилась,
А сюда, на Арбат, к нему
Перекинулась, переместилась.
Сел в театре он тут, как бывалыча, на скамеечку,
Эх да, в раздевалочке
Опираясь о стеночку.
Изображая из себя канареечку,
Или птичку — пеночку, дудку — жалейку.
А наверх подняться —
Робость взяла.
Незнакомое прежде чувство
Тетю Машу — гардеробщицу ждет.
Или, может, Гриша — друг его —
Прошмыгнет

В образе Пруста
Или опять-таки Маршала Жукова —
Образ безбрежный.
Этот остановится,
Удивление изобразит,
Другой — в анналы свои потянет,
Про себя вставит
В историю.
Каждый ведь херувим,
Сверху ли, снизу ли —
В самом деле, какая там разница:
Кто поет, а кто дразнится!
Посидел, посидел Чигринев в образе
«Васинога благородия»,
А нет никого — выходной, что ли,
И глаза стали козьи.
Может, гастроли какие,
Например, в Кремлевском театре,
Где первые — любые гранты
Выставили аксельбанты.
И хотел было уж уходить Арсений,
Застегнулся сверху донизу
На все пуговицы,
А одну не застегнутой
Оставил из лени.
А тут, гляньте-ка, тетя Маша!
Кружевница, душевная наша!
Взяла вязанье со стула и отложила в сторону,
Обняла, облобызала его.
Господи! Как Арина Родионовна,
Бывалыча, Пушкина.
А начала как бы с Гоголя, с Плюшкина,
Про птицу вещую, какая сюда залетала,
Кем была и что из себя тут изображала,
Что-то сказала.

Все о театре узнаешь в раздевалке:
Что серьезно, а что потехово.
Тыщу раз вспомнишь Чехова...
Знатока с берега Калки...
Пресс пронесли на сцену – к девизу,
Парик дамский – для примы,
Щами потянуло из-за ширмы,
Откуда-то снизу, –
И в сердце все, ведь не мимо.
И такое вдруг к Чигриневу прихлынуло,
Таким всего его обуяло!
Будто печка горит где-нибудь тут –
Буржуйка, где и вьется в печурке огонь.
Так бы в печку свою диссертацию
И швырнул бы, как и всю агитацию
Жора Садуля.
Как вторую часть «Мертвых душ»
Гоголь когда-то.
Боже, как Наполеон в речку Сморгонь,
Грянул! «Шизик» был уже к тому времени
На такой-то работе.
Какие там звания!
И там тоже нервы, как бывало, и тут.
За себя, за сцену в себе, за святое искусство,
За народ, за родину
Переживания...
Расстроился Арсений
В образе то себя, то Василия,
Как и я – автор всего этого
За обоих в одном лице сразу,
Да так, что опрометью
Вместе с ними в двери –
Под небо синее,
Чтобы унять в себе ее, стерву, –
Заразу! Тоску эту,
Озверевшую к лету.

* * *

Очнулся Арсений опять-таки на Тверском,
Под тополиным листком,
Под сферами длинными,
Но уже не на той — на другой скамейке.
У Пушкина! Под фонарями старинными.
И уже не в потоке людском.
Потный, какой-то весь, клейкий,
Не так уж Москвой ошарашенный,
А отдельно — где-то листья,
Из кино-ремейки, скамейки свежепокрашены.
И сидит он, стеная, под Пушкиным:
«Что ж ты, Сеня, с собой не считаешься?
По листве тверской, под подушками —
До бомжа тут в Москве домотаешься!»

* * *

Это все так, это верно:
Мистика сердца, братство людей.
Сам же все видел я, как планомерно
Доктор Бобров в Орле — действительный член
Круга философов госакадемии —
В изображении идей
Брал меня в плен,
Показывая через свойства воды
Живые свойства материи,
Духовное объединение, соединение людей близких.
В такой степени риска,
Когда или жизнь, или смерть
Возможна даже «генералу от инфантерии»,
Если верить не сметь
В то, что знали и сознавали древние.
Доктор показал свойства воды:
Разлил ее из сосуда в емкости
И те же свойства поставил на расстоянии,

Так в другой части такие же свойства тут же
сформировались.

«Практически это определяет мир!

Люди ведь из воды в основном.

Отец тут, в Москве, а сын где-то — маг,

Аж в Южной Америке; и там вдруг в нем —

Что-то горя прорвалось много,

А у отца тут тревога.

Так и с любовью, великими огнем,

Что-то в ком-то свое оживляется.

Кто-то кого-то там любит, а в ком

Рана тут своя заживляется.

Вот она, суть всего сущего!

Правит вода идей,

Через любовь грядущее

Соединяет людей».

Это Бобры все, профессор Бобров!

Вникли мы в тайное, жуть.

Это несчастное в очень прекрасное,

В водах лесов и дубов,

Можно вовнутрь повернуть.

«Капли жемчужные, капли прекрасные,

Как хороши вы в лучах золотых».

Время тяжелое, миги опасные

Где-то на окнах сырых.

Мир такой ныне. Глобализация.

Знаем мы все от всего.

Каждая устрица, каждая акция

Верит в Творца самого.

«И если искусство — от Бога,

От Бога — людские таланты.

Как же науку, когда ее много,

Держат плечами атланты?» -

Так мыслил Арсений.

Задумавшись крепко,

Тут — сидя у фонарей,
Где капали капли,
Был близко Есенин,
Где Пушкин был и Амфиарей.
«Что правит вода миром,
А словом — поэт,
Знавал Велимир еще,
Было что-то у Велимира,
Велимира Хлебникова -
Человека из буддистских эр.
Был ведь не бригадиром,
А Президентом Земного Шара,
Шара — «ара», проверенного на «арийскость»
Предков наших, несметных времен
Каждого рода, разных племен,
Знавших то, чего и сейчас мы не знаем,
Хрупкое открываем...
«Высшее нам помогает
А Сатана не пускает»...
Так и сидел был Арсений под Пушкиным,
У метро, под Амфиареем,
Хоть полстолетья, хоть век.
Кабы не к ночи да не ватрушками
Протянуло вдруг по галереям, —
Не был бы жив Человек.
— Где-то поесть надо, заночевать,
Может, домой или к Грише?
Вдруг разделила Груша кровать
С кем-то попроще, потише.
Гриша? Не виделись тоже давно.
Скажет, а что же, не дома?
Вот и подумай, как крутят кино,
Крутят кино,
И давно, и давно.

В недрах четвертого тома
Не зацепить никого.
Москвичам
Очень накладна столичность.
Нервность передается ключам,
Общему – твоя личность.
Ночь одиноко пройдет, пролетит,
Солнце с орбиты не сдвинется.
Силы наутро тебе сохранит
Лучше всего гостиница.
Как нескончаемы были мы, были,
Как шевелилась, трава, ты на нас.
Вот и лежал, и скорбел ананас,
Все проходил по нему дилижанс.

* * *

«Капли жемчужные, капли прекрасные.
Как хороши вы в лучах золотых.
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых».

XII.

В Институте Культуры доску сменили,
Назвав Новым Университетом.
Однако не добавили почему-то при этом
Слово «открытый», забыли!
Для чего, с какой целью?
А кто его знает.
Сейчас все добавляют, переименовывают.
Синим рисуют – гжелью,
Создают инфраструктуру новую.
Чигринев с интересом
Сунулся в двери.
Кто ж ему это поверит,
Что он пробыл в Москве определенное время фигурой

С немалым весом?
Он в этом храме культуры —
Со своею натурой
В натуре —
Не играл слепого на сцене,
Не ходил бесом,
Не едал чужого хлеба,
Просто ни разу тут не был.
Рекреация взамен коридора.
Вместо Доски Почета — фотографии просто.
Обозначение хора, как у всех еще только будет:
«Просто очень хорошие люди».
«Скромно, — улыбнулся Арсений. —
Освежает как-то,
Интегрирует. Сели
Аргументы в портреты факта».
Поискал глазами фамилию —
Есть во втором ряду. Славно!
«Профессор» и «доктор» — в линию,
На свежестертое. Вписано, очевидно, недавно.
А ведь она тебя не моложе,
Даже старше Олега.
Ну, и что же?
Альфа и омега.
А потом размышлял, себя радовал,
В рекреации этой, сидя на стульчике.
Все на дверь входную поглядывал,
Все угадывал культуру и культтики.
Проходили мимо,
Тоже из Древнего Рима,
Кто — профессор, а кто — доцент,
Аспирант кто — между студентами.
Проходили важно на цель,
Перематывались кинолентами.
И уж стал он совсем беспокоиться:

Позабыла, что ль, про randevу?
На трамвайчике, как при коннице,
Подъявилась вся наплаву, как маршал Даву.
Сразу понял: кто Наполеон,
А кто где-то под Наполеоном.
Улыбнулась. Сбавила тон –
При культуре-то, в мире оном.
– Ну так что тут у вас для нас? –
Протянула правую руку.
Показала сразу же класс,
Положила в папку без звуку.
И промолвила:
– Жорж Садуль?
И фантастика русских фильмов?
Девятнадцатый век. Иссык-куль.
Сказано более, чем сильно.
– В чем же смелость? –
Чигринев осторожно
Положил на папку ладонь.
– Жорж Садуль? Разве русское можно
В фантастический-то огонь?
Пусть французскими будут, верно?
К своему как-то ближе, ближе.
Фантастическое у них бледно.
В девятнадцатом только в кино у них...
А у нас это ... в литературе...
– Ну, тогда берите, что ль, Вебера,
Баха, литературу... эту натуру...
– Я что ближе взял –
В той же области,
Именно ту фигуру.
– Послушайте, где вас я видела?
Этот лица овал, –
Все играла она пустяком.

— Знаю, знаю, — снял маску с себя он лидера. —
Вечно путают с двойником.
— А фамилия?
— Что фамилия?
— И фамилия, даже имя...
В классе нас таких
Было трое.
— Ну, и как же вас различали?
— Чигриныевы все мы, из Чигриневки,
Нас по отчеству величали.
— Хорошо-с, — улыбулась «профи».
«Профи» — бабушка, «профи» — мать. —
— Мы дадим кому-нибудь почитать.
Все, милейший. Свиданье закончено...
Тут Арсения как прострелило:
Стенды всякие, стены в кафеле.
А на стенде — и что там было?
Книги всякие членов кафедры.
— Ваши тоже? — тактично тронул
Он профессоршу под локоток.
— Ну, конечно. Не как икону.
Но поставили вот, в поток.
Аспирантам, студентам, кафедре
Пригодятся авось когда...
Поглядел. Записал. На кафеле
Опускалась дорожкой вода.
— В библиотеке, в нашем портфеле
Тоже ваше, наверно, есть? —
Со стены улыбались профили —
Все ему — в его имя и честь.
Провожала она его взглядом.
И вон там — в уголочке, за всем,
Он висел как участник парада —
Молодой еще, юный совсем.

* * *

Позвонил Грише – дружку своему,
Маршалу Жукову, Бестужеву – Рюмину.

– Кто это? – заклокотало ему

В трубке полуобезуменно. –

Ах, это, ты, Рокоссовский?

Вали ко мне, да в единый момент!

Не напрашивайся на комплимент,

Дорогой гостек мой московский.

– Пить, Гриша, мы с тобой уже пили,

Петь мы уже пели,

Роли играли всякие.

А вот молча, просто так еще не сидели,

Не бражничая и не вякая.

– Хе-хе-хе. – умехнулся Григорий. –

Вон куда тебя понесло!

Надо бы записать это где-то на шпоре,

Звону будет про твое ремесло. –

Сказал Григорий ему, запевая:

– Это новое, кленовое да рассыпчатое!

Эх вы, сени мои сени,

Сени зыбчатые

И ответил Арсений ему, подпевая:

– Сени новые, кленовые

Да рассыпчатые!..

ГРИША. Че это мы всухомятку сидим,

Будто бы не родные?

Едем сегодня же, завтра же в Крым!

Иэх, в погреба хмельные!

АРСЕНИЙ. Едем, Григорий, едем!

Подхорохорим нацию,

В Ялту, к Чехову на консультацию!

– Ишь, как за драму вцепился! –

Приостановился Гриша. –

Совсем мужик с галса сбился,

Этого еще не хватало!
— Тише, Гриша ты, тише!
Кто-то идет по крыше,
Слышишь?
Как тяжело ты дышишь.
— Годы, Арсений, годы.
Маршалы и те вон в отставке.
— Ничего, ничего, — успокоился Гриша. —
Мы с тобой еще посидим...
На полставки...

* * *

В Москву Чигринев приехал
За рукописью через три недели,
Так и сказала: «Очень хорошая».
Куда только Боги глядели,
Какой март заказать сумели:
То — дождем тебя, то — порошею.
Собрали аспирантов, студентов на кафедре.
Усталая и какая-то все изношенная,
Сидела над всеми «очень хорошая»
Перед стеной из кафеля.
А молодая доцентша,
Читавшая его работу,
По оценке профессорши —
Умная и толковая —
И выкладывала
Все свое передовое, новое,
Селиконовое...
Слушал, слушал ее Арсений,
А потом шевельнулся и говорит:
— Это я слышал.
— Когда?
— В прошлый раз.
— От кого?

— От вас. —
И показывает на профессоршу. —
— Кто это говорит?
— Это говорит вам Ливий Тит.
— Какой Ливий?
— Веспассиан.
— Вы понимаете, что говорите?
Где, — говорят ему, — вы находитесь?
С кем вы заводитесь?
— В третьем Риме, — отвечает он четко,
Весь из нервов соткан. —
А не в Туркестане.
И я, видите ли, воплощен в этом
Тите Ливии Веспассиане.
— Да что хоть вы! —
Вспыхнула молодая.
Такая у них одна из Литвы —
Проверенная, временно поверенная.
Непререкаемая. —
Я вам по косточкам все разложила.
Вы хоть воспринимаете, Ливий?
— Сколько чего из нас выдавили
Вы, каста неприкасаемая!
Профессорша тише стала,
Совсем ведь сошла на нет,
«Очень, очень хорошая!»
А у доцентиши свое вроде мнение,
У «профи» его вроде меньше стало,
А копали ведь вместе
Диссертацию эту вместо конфет
И как торт, осыпали порошею.
— Вы же нас не читали! —
Вспыхнули обе. —
Наше все направление.
— В третьем Риме давно уж летали,

*А вы все пешком ходите, – мое мнение.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказала профессорша. –
Как сочтете нужным, так и переработайте.
Только по фене не ботайте.*



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ХІІІ.

«Давай, что надо,
Только красненьким», –
Это приснилось Арсению
Так символично, –
Что и кому награда –
Ему лично?
И стал он считать красное
По Москве и так, по весям, –
Кровь это или Красота?
А Красота-то от Крови?
Или Кровь от Красоты?
Небо – солнышко ясное,
С домом высотным вровень,
По земным насаждениям низкая
Выучка, однако не та,
Не чекистская,
Как у Брежнева брови,
Мощные, такие – от крови.
Что еще там имеется,
Что между мыслями веется?
Так, что Красная Москва,
Красная Пресня, Красная площадь,
Краснохолмский мост,
Красноярск, Краснодар, а еще,
А еще прочитал у Даля я
Все красивое или кровавое,
Бесславное или со славою
И т.п., и так далее.
Интересно, есть такое нечто
В другой стране,
В какой-либо Италии?
Только нищих за людей



И считают в родной стороне,
За кефаль принимают фекалии.
Вся история наша — борьба
С капиталом, богатством —
Болотниковы, Пугачевы, Степаны Разины.
Не считалось ведь святотатством,
Слишком разны —
Отнимать, себе прибавляя Братством,
Равенством и Свободой, —
Красным смазаны!
А еще, изначальная Русь была
То белая, а то красная.
Рюрикова — белая, чистая, лучистая,
Как поле —
Снежно-сияющее скатерть-самобранка.
А Давидова — красная, красивая,
Тоже краешек солнца, глаз у Орла —
Острый, намеренно замедленный,
На добычу в степи нацеленный.
А еще, что еще, кроме?
«Нигде кроме, как в Моссельпроме».
Значит, так: понятие у массы было одно,
А у богатых — иное.
Так и живем века, как в хмельно,
Виртуально, как кино я
Вижу себя в истории...
Надо же, при таких щедротах,
Недрах таких, баснословиях,
Оставаться — что хоть там при царях,
Что хоть тут уж при Боре,
А все равно при тех же квотах
На нищету, на возню меж собой,
На слезы вдовиц, — при заботах.
Нет у них там, на Западе,
Недр таких, черноземов,

А строчка верхняя где, у кого
Из самых богатых?
Пальцы-то на каком клапане?
Самые богатые в мире не эмираты,
Не в Америке, не в Японии,
Даже не у арабских шейхов, эмира,
А где-то в Швейцарии
У «гномов» этих:
Цюрих, Женева, затем (подалее
От Эстонии) – Вена,
Скандинавия, Австралия, Новая Зеландия,
А что же наша-то «фатерляндия»?..
Дюже мысли крамольно-вольные,
На себя не беру. Геенна.
Эко куда повело
Арсения Чигринева!
Вбита над дверью подкова -
Для Казанова.

* * *

Бояться не будешь ни лесов, ни бродов.
А еще говорят, пусть баба рожает,
Нацию умножает,
Будущих нищевродов.
Если ситуация не переменится. -
Так народ и перемелется».
Вот какие мысли возникли у Чигринева,
Вразброс с его диссертацией
О Жорже Садуле.
Не груши, а дули.
Дался ему этот Жорж, а не Лева!
Лев Толстой – для стимуляции,
А не симуляция без всякой тебе диссертации.

* * *

Да, да, никак мысли крамольные
У Арсения не закончатся:

«Ишь ты, вишь ты! Великие, вольные
Государства и страны
Из себя выходят, тянут наружу свои изъяны -
То вооружаются, то разоружаются,
В космос бросаются ликами.
Ох, уж эти великие!
В открытиях неустанны,
А эти, гномы,
Сидят себе дома,
Где-то с краю.
Пальцами перебирая,
Со скатерти общей потягивают,
На канонерки наваливают.
На факты деньги считают,
Своих тугриков больше втрое —
Его Величество Доллар —
Вот еще будет номер! —
Кабы не помер.
А так же их Сиятельство Евро
С нас повыдрали все чубы,
Миллиарды растут, как грибы,
На нашей-то за чертой бедности
Постоянной оседлости».

* * *

И еще один, кроме гамлетовского,
Этот проклятый русский вопрос.
То под глаз, то под нос, —
Качественно характеризуемый,
Из области капитала,
Облик нашего драмовского,
Слабо организуемый:
— Как быть? И что делать?
В семейной, общественно ситуации -
Куда от вопросов бегать

В пределах города, области, нации?
Так и живем пятый год подряд
С Грушей и донной Анной-Марией,
Этой его землячкой.
Поклоняюсь тому и другому –
Натянутому, тугому.
Русская тройка!
В ширь и в ряд!
Корабля шпангоут!
Послушай! Что про нас говорят.
Люди где только косы ни точут,
Где ни кладут зубы на полки,
Не хочет Агриппина к нему туда, не хочет
В его города и околки.
Тут же, в Москве, у нее театр «Периколаы и
Периколки».

Это Мария за ним хоть куда,
Как нитка за иголкой.
Так и живем, господа,
Как в Персидском заливе, –
В страхе и диве – втроем,
Спины друг другу поглаживая.
Вроде семья, сыновья, а где дом?
Дом где, спрашивается?
Каждый обескураживается.
Как у нас это заведено:
Печки-лавочки, все как в кино.
Что и с кем – кому дело какое? Отелло!
Нечего нос свой совать,
А все суют оголтело,
Поминая маму и кузькину мать.
По сути и из Адамова
Убрался он от сплетен в Орёл,
Там распутное, тут хамово,
Ишь, распутен козел!

Вот и сейчас, уж в облцентре,
Только отбушевали одни выборы,
Как опять что-то на континенте,
Новые вот — от Госдумы.
Подадут голос, наберут суммы,
Проявят акценты, —
Понял или нет? —
Первые в контингенте.

* * *

Вновь чехарда. Да, чем бывало, пуще.
Партии с ума посходили:
Как рвутся к деньгам, в зеленые кущи!
Дай порулить им на автомобиле.
Пришли намердни к одному, анадься:
Аграрник ты, из Бобров?
Сам Бог и Земля привели нас, Добро —
К тебе, земляк, дорогой ты наш!
Давай — в наш экипаж!
К нашим пенькам и высям!
Едва ушли, Патриоты явились.
От имени по по-ру-чению.
Родину забываем,
Скажи на милость, и по течению.
— Я плавать не могу, не умею, —
Поковырялся Чигринев в носу. —
Как пруд сорвало — ни жну, ни сею.
Так и провел все лето в лесу.
А тут, глядите, и Жириновский!
Семипроцентный, как квас петровский.
Просто грибы собирать с ним проще
В белой оливковой роще.
На «яблоко» б глазик свой положил,
Да куда делись, чего-то съели
В какой-то сельхозартели?

— И утонули во лжи?
Из «яблока» вылез яблочный «спас» —
СПС глянул туда и обратно.
Что началось, кого он спас —
В связке своей булатной?
Вот диссертацией всех и спасай!
Облик человеческий хотя бы не потерял!
«Фрак» каждому хотя бы не обещаай
Из мармелада, конфет.
Просто почаще оповещай,
Что получилось, что нет.
«Конечно, в «Спасе» — интеллигенты.
А те, другие, одни.
Все партии правящие: то ныне моменты,
То бывшая, Жини...
И Жини... ровский... огни на костре...
Зиянья,
В любой дыре.
Однако сам Терминатор
Сказал как-то про СПС, промеж:
«Барьер одолеет вряд ли —
Семипроцентный рубеж.
А жаль, а то ведь, как в прерию,
Куда интеллигенту, как бы жирафу,
Совать-то башку?»
Конечно, сгонять хорошо энергию
Вести за собой на плаху
Или туда, к божку».

* * *

Совсем забыл наш дорогой Арсений,
Что он в Москве тут —
Временно, а все ж.
Какой денечек мартовский, весенний!
Вот истина, все остальное — ложь.

«А что — если опять сюда?..

А что?..»

Впервые так мелькнуло у него.

«Да, да! А что?»

«А то! А то! Еще а то, и — больше ничего».

Здравствуйте, — прошли, улыбнулись две те же
старушки. -

А мы вас узнали, один к одному...

И он улыбнулся опять, а ему одному

Кивали, желали Есенин и Пушкин.

И было все хорошо.

А что человеку еще?

XIV.

«Год русского языка» —

Назван так Президентом,

Значит, и русской литературы.

Разница не велика,

Соединяют моментом

Те и другие века.

«Устная речь и письменность —

Нам без разницы, —

Безобразницы!

Что там из литературы?

Аберрации и аббревиатуры».

Новострил сердце мужеством

Да и пошел по Москве Арсений,

По журналам ажурным, «аховским»,

Определенным Аттестационным Содружеством —

Для торможения.

Не знала еще такого Евразия,

Страна наша, весь континент.

Выразил бы это Арсений в момент:

Ничего хорошего, мол,

Безобразие,

Но воздержался,
Решил:
«Поисследуем.
Если что —
За евразийским
Последуем».
«Наука имеет много гитик.
А гитика имеет много наук»
Кажется, еще в 1755 году
Открыт был Московский университет,
А при нем — издательство,
При издательстве
И журнал первый,
Где перлы, —
Такой камуфлет, —
Понял или нет?
Это чтобы пощекотать нервы.
Вот до сих пор и щекочет,
Кто как захочет,
Черным по белому.
Так примерно про тебя и сказано:
«Будут гнать в шею —
В журнале, совете,
Даже при утверждении
Подвергать вас лишениям,
Так вы, господа, не пищите,
В одну выгнали, другую ищите,
Консенсус находите, согласие,
Батрахомиомахия — пассия...»
И пошел Арсений
По центру столицы,
Где самые львы и львицы:
На виду у Кремля,
Может, больше порядка?
Тут же печать,

Физзарядка.

Начнем с «Русской речи».

«Повсюду стали слышны речи,

Пора добраться до картечи.

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала мгла».

Строки! Про Бородино, про Наполеона!

Во время оно.

А что сейчас, в наше время

То «могучее, лихое племя —

Богатыри не мы», немые?

Му-му, ну-ну!

— Мы от Тургенева, к вам от АКа

Как от рака до рака.

Вот статья, а вот диссертация,

Нужна публикация.

— Докторская? Как колбаса...

Смотрим на дверь искоса.

Институт Русского языка,

Манежа чуть подальше.

А это института задворки,

Да еще капремонт!

Женщина, вся в словарях, свысока:

— А вы что — из Италии?

— Леонард у вас...

— Арсений — имя,

А это так, псевдоним.

— Не по профилю.

Видите? Мы — «Русская речь».

— А мы кто?

«О великий, могучий...»

— Не валите все в кучу.

— А АК?

— Что нам АК, доктора?

У нас свои аспиранты.

– Не бельканто, -
Буркнул Арсений.
– Что вы сказали?
– Словари плохие, – говорю, – делаете.
От читателей бегаете.
Вот женщина пришла сюда к вам, стоит.
Слышите, спрашивает:
В этом томе слово пишется так,
Почему в другом – по-другому?
А фирма одна.
– Исключения.
– И еще, – говорит уже смело Арсений. –
Если в одном словаре слова нет,
То в других не ищи!
Стой, трепещи!
Одно и то же во всех словарях,
Трах-тарарах-бах!
– Ишь, – встает женщина перед Арсением, –
Права тут качает.
– Не права, а за державу обидно.
Марка нации и культура,
А не защищает
Развития, эволюции!
Это вам не консистенция и аппликатура.
Вон французские словари:
«Лярус» и «Робер» – томов пятнадцать
Дома у меня в шкафу –
Разнообразные...
А у нас что в словаре «Иностранных слов»,
Что «Философский», что «Этимологический»,
Что Ушакова и Ожегова –
Один и тот же перечень снов.
Как нет какого, хоть не ищи –
В «Ларусс» лезу, к Далю я...
– Что – бельканто!

— Съездили бы хоть в Италию,
От имени нации —
Для повышения квалификации.

* * *

Прибыл Арсений уж к вечеру —
На ночевку куда-то на «Тульскую».
К племяннику Груши —
Сереже из Узловой
— Дядь Сень, послушай!
Только что по радио московскому
Директор Института Русского языка выступал,
Деловой!
Распинался бы про словари
До зари.
Русские, мол, свои мы в доску.
Лучшие, — говорит, — словари у нас в мире.
— Как таракан в полоску, —
Хмыкнул Арсений, взвыла муха в кефире.
Тряхнул он головой:
— Дорогой!
Хошь, я тебе стихи почитаю.
— Наши или из Китаю?
— Французские, но нашим мужиком —
Вот таким! — вытянул он большой палец. —
На русский переведены.
— А о ком?
— О солдате —
Наполеоновском, гордом!
Но — под старость,
Был когда-то у нас тут, на Москве.
— Давай, дядь Сень!
Выворачивай малость.
Эй, моряк, выворачивай пару-ус...
— Слушай, Сергей, сюда!

ШАРЛЬ БОДЛЕР

**«СТАРОЕ ВИНО»
(Мусорщик)**

*«От зари до зари ветер бьет фонари
И стеклом о дорогу грохочет.
На окраинах грозных большого Paris
Фонари еще помнят веревки и прочее.*

*По окраине грозной большого Paris
Старый мусорщик ходит и прочее.
Все метет да метет, когда бьют фонари,
И плевать на полицию хочет.*

*Тот – старик, он велик, сам себе голова.
Властно, щедрой рукой, благосклонно
Он прохожим бесправным дарует права,
Учит высшим вселенским законам.*

*А злодеев казнит. И фонарный рассвет
Сам встречает в парижской клоаке.
Он забыл, когда был ему сытный обед,
Когда спал он не хуже собаки.*

*Он к вину пристрастился, он к бочке приник.
Рюмку выпьет – и все, как бывало.
Значит, завтра в поход, он еще не старик,
Полковая труба заиграла!*

*Значит, это не сон и сейчас, как давно,
Гром победный! А дело простое:
Это детище Солнца – густое вино,
Это, люди, вино золотое!»*

*– Вот здорово! – завопил Сережа,
Грушин племянник, что с Узловой. –*

Кто перевел? Боже!
— Ну, не Шарль же Бодлер, —
К окну спиной
Повернулся Арсений
И сделался строже.
— Это вы, дядя Сеня!
Это — прекрасно!
Вы с Бодлером, это же ясно.
Вы вином стихотворно мочите.
От зари до зари бьете с ним фонари
И стеклом о дорогу грохочете.

* * *

Полистал «Знак вопросов литературы»,
Пробежался глазами по строчкам:
Доктора, академики, заграничные пулы,
Где уж мусорщику, его бочкам
Фонари бить по этим цветочкам!
Но, однако, наш мусорщик — твердый орешек,
И статью, подхватив, как бывало,
Переулоч нашел, в Гвоздиковский пошел —
Пусть узнают солдата — амбала!
На каком-то большом-пребольшом этаже,
Где повыше летают лишь галки,
Он едва подошел, как, глядите, уже
Перед ним заколочены палки.
Перед носом железные двери, —
Орган бывший СП, их журнал.
Но сказала сестра ему Керри:
Вы амбал, вы амбал и сюда «самотеком» попал.
А Арсений-то знает, что есть «самотек»,
По издательствам шастал когда-то.
Срок такому бессрочный, в окоп перетек
Вместе с мусором ментик солдата.
Помолчи, а не то, а не то,

Есть на то господа генералы,
Что катают авто и играют в лото,
Производят солдата в амбалы.
— Ну, а АК? Кто за так,
Кто за этак, а все же наука.
Не в журналах научности умственной стяг,
Вот такая, отцы наши, штука!
Он бы в князи пошел —
Прострочить нужный шов,
Мы ненужное вместе б зашили,
Да вопросы вопросов — задал, и еще,
Так всю жизнь без ответов и жили.
Эх, какой был мужик этот самый Бодлер!
Эти мусорщики — пылесосы.
Из больших, человеческих, дружеских сфер,
Все, достойные порицания,
Загибают вопросы, разгибаются в глоссы,
Производят свои восклицания!
И еще есть журнал — «Аббревиатура в школе»,
Где-то на Чистых прудах.
Тоже в трущобах, ни менее — ни более,
Только чистенько,
Как говорят у нас в Бобрах
Или где-то в горах,
Едва вышел из сада,
И опять ты в «задах».
А фасад тут — Пруды, называется.
Но всего-то один и остался.
Где трамвай искривляется,
Тут-то Аннушка и разлила свое масло;
Берлиоз с головой и расстался,
Едва солнце погасло!
Странное дело — постное масло,
«Богоносики» так говорили, крестьяне —
Церковные тлены.

Становясь под матросы — артисты,
Рабочие называли его растительное,
А теперь все больше подсолнечное, конопляное,
И не сходит с души воительное:
«Так какое масло разлила Аннушка?
По карточкам ли, Богом данное,
Или в «торгсине» куплено
И разлито по камешкам?»
Женщины в комнате — духи приличные,
Женская атмосфера.
Сами в школе когда-то «ботали»,
Имеют опыты личные.
Носки мужьям, бывалыча, штопали.
Но теперь-то другая эра.
Противоречий много, далековато до Бога,
Так разговоры и множатся.
Школа, дорога, эклога.
Сидят, вспоминают святые мощи.
Статьи, говорят, надо писать проще,
Пометодичнее, а то не поймет
Учитель наш тощий —
Пиджак на вате,
Они же на малой зарплате.
Но ведь история наша — заплата по заплате,
А доктора все в журнале,
Тем не менее печатаются,
Чего они вам не отстегивают, что ли?
— Да нет, — говорят, — мы и сами с усами,
Просто все так получается...
Автором платим, такой порядок...
Вот Арсений и говорит одной даме,
А другая в это же время слушает рядом,
Разглядывает его в профиль.
— Вы, — говорит он им, — сами «профи»

Или у вас только главный редактор?

– Что главный?

– Да ничего.

Тоже женщина, Куприна.

– А что? Вполне литературно, обворожительный фактор.

– Женщины, – говорит он, – по школам все

Да по журналам,

В среднем звене,

А мужики пишут.

– Пашут, – обе сразу сказали.

И статью пока взяли.

А когда потом позвонили, мол,

Погодим – подписывать визу,

Давать добро вашему кризу,

Так подумалось ему:

«Что-то не то, наверное, себе взяли

И ему что-то оставили.

Или главный редактор –

Жена Володи,

С каким когда-то навроде

Вместе бы начинали,

Это потом тебе фитиль вставили,

А его главным сделали,

В «Москву» переставили...

Так потом те еще ему позвонили

Да и говорят, что теперь они, мол,

Не «аховские».

– Ну, и что? – ответил им

Чигринев полурасстроенно. –

Вы печатайте... сдвоенно, строенно...

– Мы серьезно, а не смеемся.

– Да и мы сами

Как-нибудь разберемся.

То Куприн когда-то его не впустил,

То теперь вот она, Куприна...
Так и живем на кончике вил,
Держит которые Иегудиил
Или сам Сатана.
А еще хотим, чтобы жили,
Как где-нибудь в Цюрихе.
Там же как сваю
Еще в пятнадцатом веке забили,
Так и стоит, держит движение.
А у нас как при Давиде и Рюрике
Все белые знамена да красные,
Окровавленные
Или бражные. —
Так и держим карты крапленые,
Эпатажные — в бумажнике,
Милые, милые единображники.

* * *

И еще один журнал оставался —
«Изящная словесность»,
Красиво так называется.
Однако самый отдаленный
Из всех.
Начинал накрапывать снег.
И дымка на кронах перед метро
Была голубовато-зеленовато-белой.
Четвертый раз так,
Как все это старо!
Едешь в журнал, весь сжимаешься,
Как старуха какая-нибудь Шапокляк.
Собирает всего тебя в ком
И давит изнутри, давит.
Переживаешь уж не за себя,
А за них — журналистов тех,
Мужчин и женщин, как для утех,

Поставленных в положение аховское,
Гамлетовское – «ваковское».
Легче всего сослаться на качество,
Так и сказать,
Мол, не проходит по каким-то параметрам.
Это нас не устраивает, братцы!
Лихачество это – так фехтовать,
Так за шею коня держаться.
В джигитовке приемчики –
Сдваивать, страивать.
Это, смотря, у кого какая
Вся королевская рать –
Печь и вкушать бутерброды, батончики.
Все посыпано маком.
И деньги нельзя, невозможно,
Хоть даже и осторожно.
А так просто не хочется,
Как говорится, оставлять себя с таким.
Арсений уж, как говорится,
Приготовил «пфенниги»,
Навязал из ракичника веники,
В рублях, конечно, а в чем же?
Та было, есть и сейчас
Платят за статьи в сборники,
А то ведь один глаз – на нас,
А другой ананас – в Арзамас.
Боже! Лезем из кожи,
А все ведь какие-то хроники,
И получается наоборот,
А как дальше будем?
Ни себе, ни людям.

* * *

Вышел из метро Арсений
На какой-то станции –

Новостройки,
Кажется, на кольцевой.
Может быть, на Марксистской?
А потом уже на поверхности стойко
Плана держался.
Прищурив глаз, с хитрецей,
Долго брел куда-то
В сторону Марьиной рощи.
Куда проще,
Надо было совершить все это пораньше, в обед, —
Понял или нет?
И волки были бы сыты,
И овцы целы.
Так нет же, надо тебе после трех,
А москвичи после трех уж домой,
На авторах разряжаются.
Такой распорядок: с одиннадцати в офис,
Чайку попьют,
Замрут на миг
И уже после двух —
Генух.
Мышка, шалишь,
В апартаментах тишь.
Только дежурный
Выворачивает урны
Да зевает — позевывает.
До пол-четвертого
Тоже вздремнуть успеваает.
И после тоже домой
Из воздуха этого спертого,
От стола незатертого.
Дома люди в основе работают,
Творческие редакторы.
Пашут, говорят, как тракторы,

Особенно главный.
Только в понедельник – четверг
На пару часов в офис свой и является,
Решить кое-какие вопросы.
Геноссы!
День уже смерк.
Никого.
Лишь охранник старается,
Вот разоряется, на телефонах сидит –
Ночной главный редактор,
Помрачительный фактор.
«Это мне, – говорит, – все... уде
Я, – говорит, – офицер «эмведе»
Большого масштаба.
Тут на пенсии, отдыхаю.
А жена – врач, доктор наук.
Сам филолог я! Эллада – это Итака,
Корфу навроде.
Я вас понимаю относительно мака
На бутерброде»...
«Красиво работает! – думает Арсений. –
Если не лживо».
И тут же редактор:
«Кобненский Алексей Митрофаныч
Вас слушает...
Завтра жду вас в полдень,
Вас это устраивает?»
Вот человеческий фактор!
Этот, наверное, статью
Не скушает,
Не переиграет.
И душа Чигринева
Постепенно оттаивает, тает
Отходит темечко, темя
Впервые за все это время.

* * *

Знаете, кто такой Жак Превер?
 Явление в кинематографе.
 Поэт, не знал, что такое размер,
 Строчки любой длины — иероглифы!
 Зато знал, что такое монтаж.
 Он его, говорят, и придумал.
 А деталь обожал — приплясывал аж,
 Коль из цифр выходила сумма.
 Говорит Чигринев о Жаке Превере,
 А сам думает о Кобненском.
 «Красиво мужик излагает!
 Неужто правда, а не «фанера»?
 Красиво, живет! Вот
 Журнал с таким-то названием!
 «Изящная словесность» — такое издание.
 «Бел-лет-ристика!»
 «Души в нас не чаёт...
 Реконкист и реконкистика»...
 Не увлекайся, Арсений, знай меру.
 Билет в кармане на электропоезд — через два часа.
 Отдал Чигринев статью кавалеру
 Да и на вокзал туда, на свои небеса.

XVI.

А потом взял, да и передумал.
 Вместе сила мы, и для ГАИ,
 Вместе — сумма.
 Набирая еще раз Кобненского,
 В трубке слышит кремлевский бой.
 Голос тот же: «Я вас, как Вертинского,
 Приглашаю к себе домой».
 — Как Вертинского, почему? —
 Весь собрался в кулак он: «Чего кажет?»
 — Я так чувствую — посему.

Слово лучшее ближе ляжет.
Очень нравится ваша статья.
Ну, конечно, опубликовать!
Только позже немного,
Предлагаю: вас в ратники брать.
А чего там вилять и умничать,
Предлагаю, в общем сотрудничать.
И в дальнейшем – вторую статью,
Что-то раннее... вне сомнений...
Задохнулся Арсений – кутью
Не туда проглотил его гений.
– Я сейчас! Только как к вам? – сказал. –
Вы – Швейцария или Италия?
– Павелецкая, Павелецкий вокзал.
И река тут как знак,
И так далее.
Набережная Косьмы – Дамиона,
Краснохолмский мост.
Странно!
А пост!
Это место знакомо так!
Друга-скульптора мастерская
Где-то там была постоянно.
Это просто какой-то маг,
Выводил его, ясно, на мак,
Столько в дых, а теперь вот лаская –
Бывшая Максима Горького.
А теперь вот – Косьмы – Дамиана.
Пролетел – кой зачем, прошагал.
Через час уж звонил,
Очень странно!

* * *

Сколько лет и какая эпоха
За годами его, за спиной?

Что век наш — какая-то кроха
В изувеченной доле земной.
Все какая-то мистика, тени.
Павелецкий. И тот паровоз.
Был доставлен на нем сюда Ленин,
Это он его тело привез.
С мавзолеем какая-то связка
Паровоза-музея, метро.
Это вам паровоз! Не коляска.
Не Орёл, не павлинье перо!
А еще что-то вроде приманки,
Мозг его. Бехтерев институт.
Особняк где-то на Якиманке.
Треугольник, таинственный спрут.
По сей день поделен мир на этот
И на тот мир — «своих» и «чужих».
Кто Кобненский, чьей он ориентации,
На героях стоит каких?
Все мелькнуло в единственном миге
Между этим звонком и другим.
Все несем паровозы, вериги,
Все инфаркты, иллюзии, дым.
«Все собачьими сердце хотели
Заменить дорогое, свое.
Ильичу вот еще не успели
Паровозное вставить мое». —
Так Арсения под комплементы,
В мир мистический, неземной
Брюханенко вел и Иванов;
Не поверив в их эксперименты,
А поверил бы — был бы, жил.
Вождь бессмертен, оно понятно —
Бог же вечность в него заложил.
Очень явственно, очень внятно.
Обезьяний питомник. Сухуми.

Комсомолки рожают горилл.
А потом кто велик, но бездумен,
Заседает в Совете ли, думе —
Иоганн, Митрофан или Билл,
Генотипа меняя пыл,
Этот снежный большой человек.
(А как нам-то быть —
Продолжение следует?)
Когда кончили эксперименты,
Из пробирок, из лабораторий
Посбежали ингредиенты,
Их увидели где-то вскоре —
На Алтае ли, на Тибете, в тайге ли,
Одиноких, мохнатых, огромных —
Инородных, как лунный гелий,
Вот в таких вот пещерах скромных,
Как бомжи сейчас, из бездомных, —
На решетке, на крыше, в снегу,
Снежный человек,
Снежный человек,
Где-то на берегу!
Слышать о том не могу!
В мире нашем богатом и справедливом
Выступали против смертной казни,
А казнят голодом — холодом,
Это хуже, чем с помощью пули звонкой,
Гильотины, веревки на шее тонкой!
Что же мы, люди?!
Особняк на Якиманке,
Мозг, заложенный впрок —
Ленина, Павлова, Горького мозг —
Где-то на Якиманке, в банке!
Когда врачи уходили от Маяковского,
Лежащего на посмертном одре,
Уносили нечто в такой же банке —

Бодро,
Для выведения поколений.
Вне сомнений,
Сырок плавленный.
Так и Иосифа Бродского —
Эти зубцы от фортеции —
Вели где-то в Венеции.

* * *

Комната квадратная или прямоугольная.
Книги на полках — Ю.Лотман и прочие.
Усадил в кресло — велюровое, вольное,
Где сам сидел днем и ночью.
Сидел-сизживал, судьбу людскую обдумывал —
Во всяких перипетиях, неистово!
Город Глухово или Глумово,
«Словесность» свою — беллетристику
К прекрасному призывал,
Номер порядковый определял,
Рукописи перелистывал.
Сбитень пил кой-когда —
Свойский, из народных недр,
Величавый.
Хорохорил элегии, а вода
Капала в фортку на затылок ему —
Некурчавый.
Почти все со двора сбежало давно,
Обнаружив сияние.
Лишь жена оставалась, но —
К телефонцу звала заранее.
Все вершины, провалы все, эти кратеры —
Беспокойные авторы
Посылались другими к чертовой матери,
А тут широк — от Уфы до Улан-Батора.
«Дай-ка, — думает Чигринев, — разгоню беду,

Заклинания произведу.
То буддийское, а то греческое —
Человеческое».

Вот!

И слушай его, и пой,

Что и народ

Мой!

Вот он вслух-то и прочитал

Про золотистый овал.

«КОВШИК»

«Ковшик тебе принять да пить,

После того здоровьемь быти.

Кланяться в ручки да ножки.

В алые полусапожки,

В буйну головушку,

В ретиво сердце, —

Ковшик прими и вкушай

И меня, грешного,

В горнице своей —

Не искушай!

Порылся, порылся Кобненский

В книжках, рукописи извлек —

Несметный поток.

Да и в позу встал, как Огинский.

В свой полонез

Как влез,

Так, пока не прочел,

Не вылез.

Слушай сюда, князь!

Что написал я, смеясь.

«БАЛЧУГ»
(Красное и белое)

«Князь Олег привез из Византии
Золотое терпкое вино.
Греческие вина поразили,
Но свое не хуже все равно.
Из Европы, сопредельных Азий,
Прорубая к нам сюда «окно»,
Романеи, рейнского, мальвазий
Дух хмелящий привозили. Но —
Белое и красное вино —
На Руси веселие давно.
Наряду с тверезыми вещами
Князь Иван-3 осудил вино.
Вслух ругали, крыли, запрещали,
Втайне пили врозь, но заодно.
Князь Иван-4 для «опричны»
Учредил на Балчуге кабак.
Дескать, пейте, дело ваше личное,
Остальные обойдутся так.
Белое и красное вино —
На Руси веселие давно.
Кабаки прикрыл царь этот Федор,
Но открыл опять же царь Борис.
Крепкие напитки, в общем, сроду
Спаивали как-то верх и низ.
Кружечные сборы и дворы,
Всякие питейные дома —
Все нам запрещают с той поры,
Все не запрещается сама.
Князь Олег привез из Византии
Очень даже терпкое вино.
Вон опять витийствуют витии!
Кажется, уже влипали. Но —
Красное и белое вино —

На Руси веселье все равно.
Красное вино течет рекой.
Белое вино течет ручьем.
Ходит грешник по Руси святой!
Носит бредень в каждый божий дом!
Успокойся, ключик поверни!
С севера на юг не потечет.
К окаянству, в солнечные дни,
Северные реки не хотят!»

* * *

Вышел Арсений на воздух,
Солнце глазами искал.
Дал своей душеньке роздых,
Лихо за чуб оттаскал.
Где он возник во Вселенной —
Ходит по Балчугу свой
Помню, писал он левой
Людам про сбитень свой.
Глянул: японская кухня.
Тут же «Макдональдс», рай.
Песня оттуда «Эй, ухнем!»
Вырвалась через край.





ГЛАВА ПЯТАЯ

XVII.

Домой приехал он, в Орёл,
Сбор вспомнил — кружечное с питейным.
И Балчуг в себе посадил на кол
С настроеньем шутейным.
Помянул с Кобинским на «Касьме-Дамиане»,
Ту еще знать, молодую —
«Самоиздат». В те,
Студенческие времена,
На какие сегодня уже дуют.
Однако херувим мысленно к ним протянул —
От каждого и до каждого
В сфере рукописного, бумажного.
Странно! Вулкан был на вулкане,
Диссидент на диссиденте.
Что-то печатали в «Континенте»,
Передавали из рук в руки оглядчиво,
Врадчиво.
Странно! Ничего от того на «Касьме-Дамиане»
Не осталось, — пусто.
А его «Балчуг» жив!
К нему вернулось все это разное.
Неожиданным образом
Скачивая
Информационно
Одним своим ликом, оказавшемся почему-то бессмертным,
Художественным образом.
Оттуда, где он был еще так молод, не лжив,
По-честному строил свои рубежи,
Где пролеживала бирка, а как иначе?
А это что тут еще у нас папочке?
Что еще положили
Ему, грешному, в тапочки,

В целлофане зеленоватом?

Правда — вата,

Молния — атом.

«ВЯТИЧИ»

«Как от молнии вздрогнет, очистится сердце, —

Упадет в людях слово, аж пыль зазвенит.

Где-нибудь в электричке, автобусе сельском, —

И всего откровеньем тебя озарит.

Языкаст мужичишко, язычник с рожденья,

Непритоптанным словом возвысится вдруг.

Тут жуешь, как с ножа. Тут живешь с его тени.

Он мне Вятко, он вятич, соратник и друг.

Оба вятичи мы, оба древнего рода,

С побережий Оки, их языческий грех.

И в обоих хранима кровинка народа,

Что кострища свои сберегал дольше всех.

И, когда на коне, очеканенный, мерный,

Киев стольный явился с мечом и крестом,

Он цеплялся, мой край, за обломки той веры,

Что была рождена не на месте пустом.

И приходит весна. И играют веснянки.

Вновь по душу живую гремит соловей.

Соловей, соловейко! Сиж у дупленки,

Под могучую песнь поджидаю людей.

Я иду с ними в ногу по вещей дороге,

Я глотаю слова из травы, из огня.

Помогите же мне, наши первые боги,

От беспамятства дней оградите меня.

Проведите, промерьте широкою степью,
По Руси молодой расстелите платком.
Расстелюсь, обновлюсь этой великолепью
И уйду, и уйду далеко-далеко.

Вот с родней и роднюсь, что забыть не сумели
Свое древо, пракорень в заветном краю.
Соловей из лесной, из разбойной артели,
Мой языческий дух, — грянь октаву свою!»

Так бы, может быть, и осталось
Сие недоказанным.
Ну, смахнул, скомпилировал малость
В порыве экстазовом,

Что не сделаешь с ним?
Он и сам ведь при титуле — князь,
При царе, как говорится, рыло доверенное
Князя Иегудиила, тоже вроде ходил во власть,
А вернее — в лицо,
Насидевшись всласть.
Он же сам вроде власть, влип же в грязь,
Взят в кольцо.
Но... есть божий судия,
«Наперстники разврата!»
Каждому истины -
Хотя бы по капочке.
Да где правда — в четвертом томе?
В белладонне замотана и запрятана
В какой капсуле?
В доме?
Но вот, наконец, и попались стихи
Современного автора —
Какого-то Гвоздиков.

Точь в точь как у него,
Первые те грехи –
По ритму, по настроению.
А скажет, что новое веяние,
К твоему отчеству
Свое приставлено имя.
Вот сучье вымя!
А где, скажет, –
Сама она публикуется?
Авторская фиксация?
Такое интеллектуальное –
Штука тонкая, дело индивидуальное.
Ни у кого нет ничего из доказанного,
Когда твое кровное
Очутится вдруг у друга «гарного»,
Одуреешь от газа угарного.
Вот тебе стихи про «соловья» того «одинокого».
Еще по молодости было так, междустроково.
Что тебе такое влечение?
Костер – агония от Сумарокова,
Все остальное – гособеспечение.
Кинжал есть у солдата,
Разит – змея напополам!
А у меня романчик, ребята, –
Самозащита.
Возьму и скажу
Слово в него заложу,
Разнесу по полям,
Пусть узнает элита.
Тенью следом идущие,
Дышащие в затылок, ждущие
Со стола обьедки.
Как же, автор-то редкий!
Превозносимый и почитаемый,
Мало кем, однако, читаемый.

Такие где у нас? —
Тени! Глаз в глаз, а глаз — ватерпас.
В том числе и у тех,
Что при науке —
Шастают по молодым, по седым,
В костерки суются, в дым.
В живописи такие ж примеси, —
По ниточке, по ниточке
Позавчерашней элиточке.
На ствол, на бруствер —
Слово в изоискусстве...
Так и живем.
И творит «одинокий»
Такие вот строки.
А попробуй выбей из-под него почву —
Все удивятся воочию.
Тому, чье имя известно давно,
Настоящее все от Бога,
От рождения, свыше — с небес.
А «почва» тянет таких
Вниз с моста,
Бьет о дорогу.
Внемлет вроде бы Богу,
Но его всего
Треплет бес,
Не укрывает и лес.
Но что это тут я как автор
Застрял на этом единственном факте?
Тоже мне, судия!
Суди речь, а не слова!
Не застревай на акте!
Тоже, может, рожа крива.
Короче, знаю, изучил за годы,
Чем морочить нас взяли моды.
Пусть ложатся сии анналы
В литературные каналы,
А там увидим...

* * *

Так вот, отклонился автор
От главного течения!
Однако на то и роман. Как кратер,
Швыряет камни, выдает свеченья
На целый мир. Мой господин!
Благодарю тебя, вали все на меня —
Свои стихии и бденья,
Вакханалии эти огня,
Прозренья и восхищенья
В каналы движенья,
К божественной гармонии в себе.
Вот Расторгуев из «Любэ»
Болеет ведь каждой клеткой.
Печенку решили ему заменить, все ищут.
Себя перенапряг,
Пропорции нарушил,
Скромненького скушал —
Вот и хлестнуло веткой.
Мне жаль,
Жалеют сосед с соседкой.
Летай, носись, моя бадья, —
Туда-сюда! В огни,
В колодец — из колодца!
Всевышний! Разок хоть подмогни
Ему, себе —
Он нас всю жизнь «любэ».

* * *

И еще, и еще написал я когда-то,
В молодежной работал,
И родился мой сын.
Написал я тогда пятистрочный рассказ
О родимой кости!
В цикле «От двух до пяти».

Более не публиковали, — шалишь,
Конкуренты, из спеси.
Первый шаг тогда сделал малыш —
И сухарь его перевесил.
И вот я читаю
Взятое не из чего,
Это еще ничего —
Строчки не из Китая.

XVIII.

Как из Москвы вернулся,
Все отрывка будто,
В душе какая-то муть,
В дугу согнулся,
Чувствителен стал слишком.
Раньше письма писали лично
Для себя, для истории.
Фальшь! Слишком эпично.
Не по той лететь траектории,
На чужие глаза рассчитано.
Неестественно, чересчур артистично.
Тем более ныне,
Когда все читано-перечитано,
Не эстетично.
Естественно, коммуникация — телефон
Завел себе и звони,
Живое с живого слистывай.
А если кто и письма писал,
Так на что рассчитывал Слон,
Авто этот — письменник,
Неистовый.
Идет Чигринев по городу —
Что-то нехорошо.
Мысль к журналам все клеится.
Почесал бы выемку на бороде,

Саму бороду, да где она?
Стоит перед ним тут одна
Альтернатива из сна,
Между пальцами веется.

* * *

Успокаивая себя, отвлекая,
Чигринев замурлыкал, запел.
Дом с доской, такая-сякая,
В словотворчестве беспредел.
Стихи получились про нацию,
Переходящую в овацию.

«ТУРГЕНЕВСКАЯ УЛИЦА»
(песня)

«По Тургеневской улице хаживал Фет,
И Лесков, и Тургенев, и Тютчев.
Бунин тут ощущал диалект,
Говорок наш великий, могучий.
Поле славы мое,
Подвиг близких людей.
Я иду по Тургеневской – сердце поет,
Шевелится сердечко, злодей.
Тут родился Тургенев – великий Иван,
А в Париже такие живут.
Проявляются гении Богу и нам,
Признают же потом и не тут.
Поле славы мое,
Подвиг близких людей.
Я иду по Тургеневской – сердце поет,
Шевелится сердечко, злодей.
По Тургеневской вдоль за музеем музей,
Стержень нации, общая доля.
Собираюсь в музей, выбираю друзей,
Да покрепче каких и поболее!»

* * *

И забрел бы, забрел бы невесть куда,—
Да Каховка, видать притянула.
Символ сдваивают беда,
Угол пятый, ножка от стула.
Вот и тут, у моста
На въезде,
Высоко вниз головой
Над «винтовкой» сверкнуло лезвие,
Островатый цветок неживой.
Посвященный, в бронзовой маске,
Факт, возможно и не велик,
Письма ныне не пишут; сказке
Телефончик сие не велит.
А как только напишут — фальшь.
Так иные поныне живут;
Существует, конечно, нить —
Эти тройки, пятерки, пары.
— Ну, и как для потомков
Их сохранить?
Остается одно — мемуары.

* * *

Вот и пасха сегодня. Впервые
Число у православных и католиков вместе.
Модно.
В дне апрельском шею вытянув,
Чувствуют себя благородно.
О Марии услышал благие вести —
О рождении Бога, про жизнь.
Неба много,
Где-то вверху
Перья переплелись.
Огонь с небес сходит
В Иерусалиме.

А в Москве к Спасителю телевизор ведет.
Воронец Ольга спела о Риме,
Кто-то свыше бросил в народ
Песню эту «Конь вороной»,
Так натянуло подпругу.
И упало вовнутрь, взорвалось.
Группа «Хоррус» ходила по кругу,
Сердце как обломилось, слилось
С песней Ивана Кононова
Про коня вороного —
В музыке голоса
Изнемоглось.
После «Капель жемчужных»
Мир сделался как бы хмельной,
Что творится со мной?
По сей день ничего мне не нужно.
Записать не успел — пролетев, окунались
Три строфы в восхищенье молчанья.
На четвертом куплете лишь записались
Строки мистики в очарованья.
«По местам, бесконечно
Тревожный и вольный,
Там, словно ливень
Проходит родной стороной.
Звон надо мной (3 раза)
Колокольный.
Конь под мной (3 раза)
Вороной, вороной, вороной».
Ангелы помогают мне
Бог ведет треугольник,
Соединяет, мистифицирует -
Первопрестольник.
«Лев Толстой» на кассете —
Как хоронят его: «На колени!» —
По росе те и эти

Кононовы — соседи его по Адамову;
Концерт Ольги Воронец;
И конь вороной тут же — все вместе,
В такую гармонию драмову!
Голуби с неба,
Это чудо! Откуда
Хорошие вести...
И вдруг все это стерлось, к чему свелось
В магнитофоне неожиданным образом!
Аж дыханье замкнуло,
В груди спеклось,
Дышать нечем.
Вмешался Сатана, что ли?
Обесчеловеченный, кем-то меченый.
Прутом железным
По самой боли...
И эта строчка,
Как шрам недолеченый
Поневоле.
Музыка сюда колом, мир вечен,
И точка! И точка!
И разлетелось
Вразь — наискось — вперекось,
Поскипелось.
Ливень — «бесконечно тревожный и вольный
Звон надо мной, надо мной, надо мной
Колокольный.
Конь подо мной, подо мной, подо мной
Вороной».

* * *

И между звуками
Слова отдаленные, чреватые выбором.
Голос свыше: «Начинается предвыборная кампания...»

С ее интригами-муками,
И все встает дыбом, «дыбором».
Что главное – паром я наделен, как и не бывал
В бане я,
А это нехорошо, нехорошо,
Ангел мой, аксакал!

* * *

Проснулся Арсений
Лежит и ночь проживает заново:
Пасха вчера была. Великое воскресенье –
Кануло.
Богом ввергло всего его
В день весенний –
Такого рьяного.
А потом Сатана вмешался,
Все и попутал.
И стал женить, не богоугоден,
Страшно сделалось.
И Чигринев весь сжался,
Будто на краже
Попался.
Или в карман будто
Наркотик подсунули,
Чего сроду не было,
А вот стало с ним,
Получилось...
На небе все какие-то нули,
Рожи, рожицы –
Черные с рожками,
Цифра «девять» в сотовом
Перевернулась.
Трижды «шестеркой» в нем
Все повторилось и отключилось...
Встал Чигринев, поставил сотовый

На подзарядку.
Глянул в себя, как в глубокий ров,
Приводящий к порядку...
Стерта музыка с телевизора — «Конь вороной».
Кончик самый — у «Льва Толстого»
В фильме с Ильинским,
Переходящим в золотой паровоз,
В мистику из простого,
В яму, чернеющую в груди.
Ну, ничего, Пегас погоди!
Последний, четвертый куплет
«Коня вороного», понял или нет?
Слова он все-таки записал.
По словам, может,
И мелодию вспомним
Если Бог поможет...
Настроил он «Япошу» — свой магнитофон,
Положил перед собой листок -
Полосатая зебра.
То черное, то серое — все из дыма,
Невыразимо, неотразимо.
Пробирался он
По музыке — с интуицией — по дебрям.
Наконец, что-то вспыхнуло под Луной.
Свет в конце туннеля
Возник, показался —
«Конь вороной»,
«Конь вороной»,
На облаке записался!...
Все вдруг встало на место свое:
Бог, оказывается, помог,
Так желал он Бога,
Его божественной помощи,
Что теперь вот в нем
Все это Кононово поет,

Воронец помолилась, —
Кто же еще?
Снова вернулось —
Прощение Богово,
Если что-то не то.
Вчера у него оказалось в помыслах,
То, гляди, как сатанинское в нем
Потеснило итогово.
Заглянул Арсений за окоем,
Автор вместе с Арсением —
Во все прежнее: в заголовки,
В эстетику, новые правила.
Сколько всего! Перевесило кантырем
Вчера еще — днем весенним
И сейчас вот добавило.

* * *

Выборы вспомнились, выборная компания.
Этот двойник его — Альтернатива.
Конечно, нельзя угадать все заранее,
Однако диво есть диво...
Теперь ему, скорее всего, повезет,
«Конь вороной» его воз повезет.
На Павелецком где-то
Ленинский паровоз —
Альфа, омега и бета.
Рельс на магнитах до самых звезд
Утром — мороз,
Вечером — лето.

XIX.

Завелась у Марии подружка,
Еще институтская, со студенческих лет.
Стала Мария в Орёл наезжать,
Настраивать на радио ушко,

Что о Чигринева тут говорят?
Как в перспективу глядят,
В сочетанья планет?
Книжки также читала,
Гороскоп составляла.
Что Арсению писано на роду,
Чужую беду
Пальцем разведу.
Борется он и сражается,
Про свое как-то позабывается.
Сколько сейчас
Такой литературы
На любом вкус — как для гения,
Так и для последней дуры.
Было бы рвение,
Все найдешь в книжках.
Смотришь телепередачу:
Сколько таких живет на сдачу?
Сколько по городу бродит
Навроде Мавроди —
Зомбинированных, укачанных?
Высоко... и низкооплаченных?
Смотрит на людей Арсений,
Как из дерева вырубленный:
По стенам портреты развешаны.
На троллейбусной остановке
Какой-то бешеный
Топором, о железо зазубренном,
Ткнул в спину ей:
— У, глаза вылупные!
Щелкают, как подковки!
Жена, небось, какого-то чина,
Мужчина! Ловкий!
На такси надо ездить,
А не в троллейбусе...

Ничего не ответила бездне,
Ездит, как и прежде ездила.
Сыпала, бывалыча,
Не ожидая поддержки,
Прямо – открытым кодом
Сама таким без задержки.
Вечером, когда пришла к нему,
Распахнутая, искушенная,
Он почему-то встал, говоря посему,
Да так и стоял, как рожь вскошенная.
Лань какая-нибудь вполосенная,
Думая совсем о другом, в ярости, пене
Рассуждая о Карфагене!
– Ну почему? Ну почему? –
Говорила Мария ему,
Лишь потом догадалась,
Пораскинув мозгами малость:
«Как какой-нибудь рок, имярек.
Он же теперь
Он же теперь, он же теперь –
Государственный человек.
А такому, что важно:
Чтобы не мимо
Достижения Древнего Рима!»
– Да, – сказала она, – достижения Рима?
– Что Рима-Рома? – переспросил Арсений.
– Ну, достиженья, – сказала она
В некотором потрясении,
Рассуждая, глядя куда подальше.
Да есть ли хоть рассуждать-то чем?
Как «железная леди» Тэтчер.
– А если достижения
Древнего Рима, – сказала она, –
То что? То тогда Карфаген –
Для движения.

«По одну сторону люди, а страна -
По другую, что ли, сторону?»
— Глаз Рим выключил ворону, —
Вслух сказала она
Карфагену этому —
Сопернику вечному.
В их великом споре —
В Африке, на берегу
Средиземного моря,
А не каждому встречному — поперечному.
— Так в чем же дело? —
Сказал он Марии своей оголтело,
Как ворон, жаждущий крови
Даже от доли вдовьей.
— В чем дело? — замялась она. —
Да, Рим распахал Карфаген, уничтожил.
— Такая страна! —
Сказал он. — Сто примерно на двадцать помножим
И получим время, когда...
Слушай сюда!..
Когда Карфаген распахали,
Провели римляне борозду,
Накинув узду... дважды
Прежде это делали
С Карфагеном и Византией —
Чужими руками.
— Ничего подобного! Жажды, —
Возразила она, — Карфаген с Византией
Удовлетворяли отважно.
— Ах да! Ах да! — как стал Арсений
На выборах этих активным, витией,
Так мигом теперь аж брызжет сок —
От пены до пеней,
Особенно что касается Византии —
Этого Рима второго

В Восточной Священной
Римской империи...
– А Москва – Рим третий, –
Сказала она.
– Ну да! Рим третий –
Четвертому не бывать!
Никакой тебе прерии!
– А все-таки Ганнибал
Рим-то слонами едва не стоптал, –
Сказала ему Мария. –
Гори оно синим пламенем,
Сама за всех хоть гори я.
– Да нет! – твердо сказал он Марии. –
Пушкин третьего Рима
Им сжечь не даст.
– Почему Пушкин, именно Пушкин?
– А потому что он Ганнибал,
Того великого роду...
Не стоптали слоны ведь Рима.
Слоны в Скифии, на Руси тоже когда-то водились...
– Ну, женщины! – засмеялся Арсений. –
Вот взяли моду...
– Кто тебе это сказал?
– Да, взяли моду, –
Опять Сеня вылез, –
У мужиков забирать свободу!
То сапоги носят,
То штаны, то фуражки.
– Бабы косят, – засмеялась она
Ехидненько, как Сатана, –
А мужики сено носят
Да хлеба просят.
Как у тебя с этим... Альтернативой?
Ничего?
– А чего? – Чигринев поджал губы

И не сдавался.

— Да так. Мужик грубый.

Слышала, он тебе уши натер,

Этот электромонтер.

— Да, соперник попался.

— Так вот, говорят мне,

Воитель?

Будущий победитель?

— Ну это мы еще поглядим! —

Сказал Чигринев, как отрезал. —

Все, баста!

Разговорились мы с тобой тут

Про Древний Рим,

Солнышко ясно...

Тем и заканчивались у них встречи,

Чтоб Арсений достойно

Выходил из-под картечи —

В спальне или среди зала,

Как это она ему позволяла.

* * *

Ходило по городу всякое:

То ли народное творчество —

Сплетни элементарные,

Проще сказать — люди вякали,

А то ли технические достижения —

От себя к небу и от неба к себе движение,

А где-то внутри соединялось во глубине:

Свое и божественное, зане

Все же что-то от Древнего Рима,

От языческого, что-то осталось,

Как церковное ни старалось.

То блины на масленицу в виде солнца,

То на троицу — травы,

Ветки березовые по хате...

При большой, малой зарплате...
Взгляд с оконца...
— Когда ж мы в Адамов-то съездим, —
Удивилась она, лежа на руках у него. —
Сеня, Сенечка! Что я слышу от Сенечки?
— Поцелуй прежде, —
Ловил он, раскосую, защищал от всего,
Да за косу все брал бы ее,
И давай щелкать семечки...
А синички в окно уже били —
В самое-то стекло, в темя-темечки.
Натюрморт! От византийских когорт.
Да и нас ведь — любили!
А еще удивлялись малость,
Когда, в самом деле,
Все внутри у них
В постели воссоединялось.
По-другому никак не называли они рефлекс —
Свой целомудренный секс.

* * *

— Ну, какой же ты уполномоченный,
Стал весь какой-то чужой, укороченный? —
Встретил друг его — Шурик Родькин,
Этот красный конь — Петров-Водькин.
— Че ты тут? — сказал Чигринев.
Так, дежурно, все какая-то ложь.
Неискренности накопилось-то будь здоров,
Не за здорово живешь.
И тут же поправил себя,
Проявил вроде бы заинтересованность:
— Ну, и как твой сундук —
Не разбух?
— От чего?
— От дождей.

Он все у тебя на дороге?
— Едва унес ноги, — вздохнул Шурей,
Этот степной пырей,
Это могучее чучело —
Ни одну-то бабу замучило.
— Да, замучило? — сказал он вслух.
Повторил бы еще раз, наверное, пять,
Но Шурей пустил дух
И — вспять.
Прямо в лоб —
Не подумал бы плохо чтоб.
— Что не так, — вслух сказал
Теперь уж Шурей-богослов.
Каждый каждого понимал
С полуслов. —
Я к тебе прямо, без дураков,
От имени всех сундуков.
Работать негде в Адамове,
«Сельхозтехнику» и ту закрывают.
Куда податься нагому, «негру» —
Чернорабочему, «балалаю»?
— Да? Надо поговорить,
Это очень серьезно, —
Взволновался Арсений,
И не на шутку. —
Минутку, минутку!
Нет, нет, как такое забыть?..
А «ВИЛОР» что? А как же сеять?..
Взял Родькина он за локоток,
Пошли рядышком в скверик.
— Мужикам хоть в моток,
Скверно.
— Что-то надо думать, решать.
Слышал, есть такой планчик
Для малых городов,

Как Адамов. Грандиоз не до Бамов,
Но — хотя бы по грамму...
Фабрику там кондитерскую...
Одуванчик...
Включаю в предвыборную кампанию,
В свою программу...

XX.

Нагрянула нравственная полиция.
К ним с Марией в гостиницу.
В номер, прямо к постели.
— Вы чего? — выступал он в лицах. —
Что ли, офонарели?
— Вы, — отвечали они ему —
Вроде бы птицы вольные,
Ведь не чужие, знакомые,
А мы... люди мы подневольные.
Вот заявленьица, видите, новые!
Да и звонки замучили телефонные.
Нехорошо! Нехорошо!
Анонимные, конечно.
Какие ж еще?
Сборные фуры-то, пароконные.
— И откуда хоть? Из какого села? —
Спрашивал он уполномоченного. —
Все равно не отмоешь добеда,
Поставили бы многоточия.
— Мы-то поставим, — они говорили. —
Мы-то что? Знай наших.
Да вот начальство нас
Само сюда посылало...
Так Арсений с Машей манто
Тут же на голые плечи накинули,
А этим все мало.
— Еще, — говорят, — одевайтесь.

Как следует, хорошо.
Хорошо, хорошо —
Когда выпил, и еще!
Ладушки, ладушки,
Где были? У бабушки!
Вот-вот, собирайтесь
И — в машину.
— В машину времени? —
Попытался сказать Арсений
Что-нибудь человеческое. —
— После поговорите,
Разрешится во времени.
— Мы — сержанты, не знаем греческого.
Это все у офицеров,
У них протоколы,
Дыроколы и прочее...
В общем, план такой,
Чтоб косили люцерну
Ночью,
В свой непокой,
Как снег на голову.
Позвонил утром Альтернативе:
«Все! Летит предвыборная кампания!»
Усмехнулся тот, в трубку — бивень,
Сделал улыбку — такая мания,
Из чего Арсений и заключил:
«Это он качнул зыбку,
Съел рыбку.
Хорошо, хорошо!
А кто же еще?»
И повернулся к ней лицом:
— Да, Мария?
Так они, понимаешь, и жили:
Губы красили, а шею не мыли.
— Кто они?

– Самые красивые корабли,
Пуп земли,
Если б его не выбрали.
– Не паникуй, красивый!
Главное – зуб вырвали,
А там поглядим,
Как это без альтернативы?
Засмеялись они оба невесело:
– Что, как вдова, уже нос повесила?
Вишь, хвост пришивают кобыле?
– Вижу, вижу, – она сказала
И бросила трубку в угол.
Норов свой показала –
Как супругу.

* * *

Конечно, все это грязные технологии,
Интриганы партийные.
Цеха огромные, но убогие –
Сталелитейные.
Тоже артистом ведь был –
Временно поверенный –
Этот Альтернатива,
«Гитлер капут».
Но играл Ленина,
Когда-то в театре тут,
Всем на диво.
А потом – на диво всем –
Так и пошел
По ступенькам,
От ступеньки к ступенькам,
От ступенки к ступенькам.
Как попал в эту... номенклатуру.
Сплясать «летку-еньку»,

Сыграть какую фигуру —
Да только дай!
Наверх самый взяли
Мало ли, смело ли. —
Ай-ай-ай!
То начальником управления сделали,
А то — директором
Большого завода.
Что за вопрос —
Такой, понимаешь, разброс.
Хоть пой «матку бозку».
«Свой», понимаешь, в доску —
По самый, понимаешь, миллениум,
Он же Ленин!
Так говорили при Брежнев
Как бы по-прежнему:
«Еду не в Питер,
А в Лёнинград,
Поездом из Лёнинграда».
Имя в виду поезд «Новороссийск — Санкт-Петербург»,
Самый длинный.
Все смеялся: «Питер — бока вытер,
А Санкт-Петербург — пронафталинен.
Остановимся посередке,
Товарищ художник Петров-Водкин».
Так вот мы тут и жили,
В такой обстановке
Вспененной,
Когда в соперники Чигриневу определили —
Самого товарища Ленина.

* * *

Вот с кем Арсению
Предстояло бороться!

Какая ему Альтернатива!
Вставляли в этот самый миллениум
Это самое диво.
Образ тоже надо найти –
Подходящий.
Чтобы на том и на этом пути
Выбор был настоящий.
Спрашивал близких в Адамове –
Плечами лишь пожимали,
Делали глаза округленные, драмово.
«Ленин же!» –
Палец изо рта не вынимали,
Терли свои зеленые,
Ну, не фунты же, но и не доллары,
Где им водиться в Адамове?
А глаза, из каких озирали
По телевизору здорово
Города другие с рекламами,
Особенно эти концерты в Москве,
В Кремлевском Дворце!
Смотрели их с кислой миной-то на лице,
А потом говорили в тоске
Судьбе своей – летчице:
«Просто жить после такой показухи
Не хочется».
Такая-то чересполосица!
Это все и учитывал Чигринев.
Магазин бы туда затащить будь здоров –
К землякам его, в город Адамов.
Эти тонны всего из граммов –
Ширму от фирмы какой-нибудь
Мирового значения,
Европейского уровня
Для местного ополчения,
Выросшего на картошке,

На водке и на селедке.
Вот ахнут!
Да любого трахнут,
Кто против меня,
Земляка своего.
Таскающего ни с того ни с сего
Каштаны им из огня!
А деньги фирмам такого рода
Не так уж и важны.
Главное — для народа
Идеология, под солнцем место.
Стоит какой-нибудь «херувим»
Отважный
Рыцарь, — ну и что?
Он — из треста!
Весь мир работает за него, вместо.
Наблюдал такое в Москве.
В ГУМе и на Манеже,
Даже в Орле нечто новое —
«Нештановое», представляете?
Стоят девочки, мальчишки —
Ходит себе
Все это новое,
Сами все вы себе выбираете.
А никого нет.
Стоял, глазел часа по два, —
А никого!
Нет, каково?
Фирма где-то на другом конце земного шара, —
На южном, другом,
Все это покрывает.
А что фирме-то остается?
А тут все горит, сияет.
Как дом.
И ничего

Не покупается, не продается.
Там, где были очереди, хвосты,
Теперь одни менты –
Переодетые.
Фантастика!
А то,
Даже в форме,
Всякий товар лежит,
Зато денег мало.
И не знает уже никто
Что такое есть «дефицит»
И что такое «толпа» одурелая –
Зеленая, красная, белая

* * *

– Фантастика! – сказал он Марии,
Она ответила:
– Ну, намекни, намекни, барон,
Фирме какой-нибудь, и все дела.
Только сами все знают,
Какой себе путь выберут,
Чем своего достигают.
Акулы ведь! Разорят всю округу,
Магазины, какие помельче.
И будет опять, как в Тельчье...
– Н-да, – стиснул зубы Арсений
И спросил другую подругу –
Грушу потряс, Агриппину –
Эту московскую льдину,
Плывущую по Антарктике,
Насупротив нашей Арктики.
Груша сразу мысль ухватила –
В идеологии! Многие!
Вся московская оперетта –
Не то что опера.

Так в чем же конфета,
В какой, понимаешь, обертке?
Ум-то верткий.
— Возьми, — говорит, — да тряхни стариной,
Павку Корчагина реанимируй.
Фильм «Как закалялась сталь»
Дезавуируй.
— Как это дезавуируй? — оторопел Чигринев. —
Понимаешь хоть смысл — чего говоришь?
— Смысла, может, и не понимаю,
А слово — да! — засмеялась она,
Московская оперетта. —
Вот тогда поглядишь,
С Павкой ты победишь!
— Да, — сказал Арсений раздумчиво, —
Страна дураков и героев!
Может, оно и так.
— Буржуазно это, как-то не так, —
Сказала Груша. — А у нас
Герой не дурак!
Ананас,
Пересаженный в квас.
— «Ешь ананасы, рябчиков жуй!» —
С Альтернативы сдирай и свежуй! —
Засмеялся, захолопал Арсений
Себя по коленке:
Привык собирать-то пенки.
Вот что значит явиться вовремя к месту,
А не заранее, в виде приманки,
Как Институт Бехтерева, институт мозга —
В Москве, на Большой Якиманке!

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ

XXI.

Выборы были как выборы.
Только «партийные», многопартийные.
Семипроцентный барьер кто из партий пройдет,
Тот еще и список представит.
Как бы «липовый»,
Но выбран лично, а все равно
В верхнем списке
Тебе предпочтенье, почет.
Пришла пора, фамилию Альтернативы
Обнародовать – Хромов.
Соперник Арсения,
Иерархически ему равный. Мальдивы
Одни только не посещал,
А так за жизнь везде побывал,
Был принят, как дома.
Оба в чиновничестве, в партии «единорогов»,
Но список возглавил Хромов.
Так Чигриневу в избиркоме сказали:
«Будешь выступать как кандидат независимый.
Без грома нет молнии, а без молнии – грома.
Форте и пианиссимо».
Тут-то Арсений и понял
Кто конь, а кто возчик.
Что такое вилы, а что такое скрижали,
И кто кому чего должен.
Задело Арсения, артист же – самолюбив.
«Расшибусь, – думает. – Ах, дебилл!
Взялся за гуж,
Не говори, что не дюж.
Что бы это такое придумать
Из ряда вон выходящее?»



Сказал председателю избиркома,
Получающему импульсы
От самого Терминатора:
— Что же это «единороги» вы?
А тот руки развел — козел!
А за спиной — львы!
Да и нашел что сказать,
Чем ответить.
— Давайте, — говорит, — больше дерзать,
Так сказать!
Как в прошлом лете.
Предварительно между вами состязанье устроим.
В список имя свое восставишь,
Коль победишь. Завтра же счет откроем,
Организуем, так сказать, танец.
От печки к речке, от речке к печке,
Мои золотые колечки...
И для проверки наметил
Первые аудитории —
Строительный колледж
И техникум медицинский.
«Молодежь — на мякине не проведешь!»
Концертный зал «Астория»,
Сами ж его и построили.
Тут когда-то провел свою свадьбу Кречинский.
Слово первому дано было, ясно кому, —
Альтернативе Хромову.
— Совесть в политике, — он начал едва,
Как из зала:
— Как мышь в долгу.
— Совесть в политике, — утвердил Хромов голос.
— Наука имеет много гитики.
— Совесть в политике — это
Кредо мое и концепция! —
Вцепился Хромов в трибуну. Комета.

Глянул на Чигринева: – Лекция!
А где у нее, извините, совесть?
Втроем вращаются, представляете?
По лунной орбите и тут,
Говорю гунну, –
Кивок в сторону Чигринева. –
У него, видите ли, роман, а не повесть.
Все вы, товарищ, летаете.
– «Гитлер капут», – вздохнул Арсений,
Отвыкнув от потрясений,
От концертного зала, сцены.
От волны морской
И океанической пены.
И зал замер. Ура!
Слышно, муха бьется в стекло,
И как ей летается?
И голосок прорезается:
– А вот слышали мы вчера
По телевизору песню, –
Хороша!
Наша, а не из США.
«Конь вороной», называется.
Спойте нам, вы же артист.
– Ха-ха, – засмеялся Арсений вдруг,
Ни с того, ни с сего
Расковавшись. –
И песню знаю! Здорово!
И автора самого –
Ивана Кононова, –
Сказал Чигринев, за фикус взявшись
Цвета вечнозеленого.
– Ловко! – заплодировал зал –
Одни ребята сидят,
Мало девушек из состава оного. –
Ловко это он себе подобрал –

Конь вороной и Кононов.
— Спойте, просим! —
И аплодисменты.
Действительно, он вдыхал
Фимиа́м этой песни,
С неделю назад
В душу влипла.
«Пой, Арсений, хоть тресни!
За Македонского и Перикла!»
Ну, он и запел. Как это, —
Припев, кажется?
Душа в песню вникла.
Тонко надо — пианиссимо, мягко,
Слово по слову так и вяжется.
Прошлой ночью аж соскочила тапка
После того, как он услышал песнь эту по радио...
Тише сделал, чтоб соседей не разбудить...
Вот такая нить
К Полонию и Палладию...
Итак, «Конь вороной!
По местам, бесконечно
Тревожный и вольный,
Там, словно ливень
Проходит родной стороной,
Звон надо мной (3 раза)
Колокольный.
Конь подо мной (3 раза) вороной,
Вороной, вороной».
Спел Арсений и лоб утер —
Испарина прохватила.
Пауза. Аплодисменты.
Шквал хоровой, хор.
Зал весь заколотило...
Задержались киноленты...
Подскочил Хромов к трибуне.

– Так, – говорит, – нельзя!
Мы так не договаривались.
Он же артист, профессионал.
– А вы что, Бакунин? –
Усмехнулся Арсений. –
Любитель, что ли, политики,
«Какая имеет много гитики?..»
И опять голосок из зала
Арсению Чигриневу:
– А у вас есть «кредо»?
И как ее... эта... «концепция»?
– Есть! – рубанул воздух Арсений,
И его понесло, Павку Корчагина. –
Есть! «От сердца к сердцу,
От песни к песне»...
Тундра! От ягеля к ягелю!..
– А свои у вас есть? –
Интересуется живо уже сам Кречинский. –
Свои, авторские.
– Да, ваша честь, –
Машинально отвечает ему Чигринев-Кахетинский. –
Ему, слегка захмелевшему, есть же коты ангорские –
Свои, собственных сочинений!
– Что – бардовскую? – замер Арсений,
С ужасом думая, что, вероятно,
Все вылетело из головы, ничего не понятно –
За год, все позабыл.
«Неприятно!
Как по лицу листья из травы!
Ну, дебил!»
– Бардовскую, бардовскую! –
Орут.
«Пой же, пой им, крокодил!
Слезы лей из-под бровей
В их юбилей! Полсотни уж колледжу!

Ажник образовались пролежни...»
Поднапрягся, поковырялся в мозгах,
Что-то наподобие вспомнил:
Трррах-таррах-бах!
Огонь в домне,
И — тишина.
Вот такая песенка-лесенка,
Написалась когда-то
Еще по молодости,
Лежа на медвежьей полости,
В Бобрах еще.
Там по сей день по берегу
Эти клены — когда-то молодые,
Ветки невелики —
Серьга на серьгу...
Слово на слово,
Колки на колки...
Эти кленки
Из небытия-то оформились.
Вот! Вспомнились!

«КЛЕНКИ НА БЕРЕГУ
(песня Арсения)

«Кленки на берегу
Я в сердце берегу.
Все жду тебя у клена я.
Высокая трава,
Любимые слова,
Твои глаза зеленые.
Хожу сюда под тень
Всю осень каждый день.
Все жду тебя у клена я.
На золоте стою,
На золоте пою,

В твои глаза зеленые.
Кленки на берегу
Я в сердце берегу.
Все жду тебя у клена я.
Так дай же мне ответ:
Ты любишь или нет
Мои глаза зеленые?»

* * *

Потом остальные полдня и всю ночь
Его колотило всего.
Какие-то сны, полусны превозмочь
Не мог он, уснул ни с того, ни с сего.
Все рожи какие-то в листьях мелькали,
Кололись кленки пополам.
И ложки аж из Парижа плескали
Супец тот у нас по полям.
Каков Хлестаков. Из Гоголя лица!
Умноженные десятикратно.
В руках «избиркома» кленовая спица
Чесала лопатки бесплатно.
Такая же спицей — железною птицей,
Сквозь колокол-платье свое,
Чесалась проворно императрица —
С плеча, посередке, с краев.
Устала, дала эту самую спицу
Полковнику Альтернативе.
Водил он ту самую птицу-синицу
Самой Катерине по гриве.
«Вторая? А как же великая, как же? —
Страдал «избирком» от такого. —
Вторая! А первая все же не слабже.
И кто нам из первого сделал второго?»
Все знал, углядел, просчитал Терминатор!
Где муха присядет, где встанет.

На Сеню глядела его альма-матер
Из очень кривых сочетаний.
Как это интимно! Вполне лигитимно!
Всех тысяч на восемьсот пятьдесят,
А сто сорок тысяч не хочешь? Картина —
Процентов всего двадцать пять
На шее повисли, висят...
Очнулся Арсений — откуда все это?
Ах да, публикации, грации —
В устах, за газетой газета, арена, комета,
Партийные страсти
Стрела с арбалета —
Ломаются через колено.

XXII.

Идет Арсений по городу —
Март ранний, сине-сине.
Дымка зеленая уже проброшена
По деревьям.
Особенно по черемухе, у которой
Лопнули почки.
Напротив дом девятиэтажный,
На пятом — буквально во все окно,
Размером, наверно, с улей
В деревне —
Алое полотно, как у Полины щечки,
Транспарант этакий важный.
Главное слово — «Хромов».
С неба как будто эхо от громов —
Соперник его, Альтернатива,
Шевелюра, конская грива.
Как же зовут его в массах?
«Волкодав», кажется, а почему?
Давно здесь сидит — кораблик бумажный.
Чиновник высокого класса, важный.

Как все тут, один к одному,
Схвачено,
Слишком уж управляемо, спит.
Приостановлено –
Вот она, местность сонная, –
Дотационная.
Лучше бы выступали, наверно,
Бузили бы, возникали,
Зато в активном мире
Не было бы так уж скверно...
Как бы отложенное недовольство,
Замедление все шире,
Внутренние «Хиросима» и «Ногасаки».
Терминатор сам на днях
Констатировал факт откровенно
В предвыборной речи,
Чем в этой клоаке
Настрой себе и обеспечил.
Пошли митинги.
У Александровского моста
Против государя – императора,
Царь бы перевернулся в гробу
Неспроста,
Если бы не было в Зеленстрое
Секатора,
Которым ветки обрезают на каждом столбу –
Крутые,
Почки, как бочки,
Уже налитые,
Перезрелые – и лопнули портреты.
Фразы да фразы –
Радужные коллажи, заразы.
Своя Трафальгурская площадь,
Свои амбиции, лидеры.
А то, а то – пенсионеры попроще,

Говорят, по Украине ездят,
Даже тут, в центре, брянские, курские,
А орловских стригут, поди.
Так им «монетизировали», так
Во внутренней бездне,
Что раз проехал туда,
А оттуда уже хоть пешком иди
До Пилатовки и так далее.
Брошено превеликое множество.
А приехал хозяин, привез кофейник,
Посидел за кофе, репейник,
За такие художества....
Бухгалтерия — итальянская,
Кальвинистская и лютеранская,
Двойная, тонкая-тонкая;
Учились кой у кого,
От сих до чего,
А оно, тонкое, рвется и рвется,
А что еще остается?..
Это все Арсений прочел
У философа Бэкона,
А взял у Шекспирова «Гамлета»
С его королевством датским
Или у Ленина еще молодого.
Учился он где-то в Казани —
Иносказаниям.
Если бы брата у Ильича не повесили,
Не посадили империю...
Все это слышал Арсений невесело
На митинге у Александровского,
Где горячие головы договорились до того,
Что ни с того ни с сего
Требовали отмыть даже Берию
Этой самой ума гимнастикой.
Ибо, ступая по жизни, как по халве,

Молодые намеренно
Ходили со свастикой
По аллеям центрального парка
Приставали к вдове...
«В общем жарко. Волкодавом его и зовут, —
Холодел на ветру Чигринев Арсений,
Как где-нибудь в Южной Америке,
В джунглях какой-нибудь Амазонки.
— А меня как?
— Как меня?
— А тебя — Лиза, — усмехнулся грубо
Человек из его выборной свиты,
Официально назначенный.
— Это почему? — поджал Чигринев губы.
Женское имя... Что я тебе — из кухни, кума?...
Не нашли имени подходящего?..
— «Парижанка» сработала, «бедная Лиза»,
«Девичий стан, шелками схваченный»...
Впечатление от слушающего и зрящего.
Помнишь белые халаты
Из медицинского техникума?
Лизаньку помнишь?
— Ах, да! — задумался крайне Арсений.
— Ну как же, как же.
И вспомнил.
Тот мартовский день,
Весенний.
Вот она, эта картина:
Немного ретро, немного льдина.

* * *

Белая, белая льдина.
А по льдине — халаты
Вся научная медицина,
Девушки, девы, а где ребята?

А ребята — где деньги,
Работа, оружие.
А тут ни того, ни другого,
Ни третьего. Стерпится — слюбится.
Поколение учится
Пока не разбужено
Что потом будет,
Когда разбудимся?
Процедура та же была,
Что и в строительном колледже.
Только телега ехала,
А лошадь вела.
Тетка вострая,
Как два ежа,
Вцепившихся мягким вовнутрь друг друга.
Тоже чья-то подруга,
Баба Яга,
Ага.
— Вот и дорогой гость у нас,
Автор нескончаемой повести,
Со своей «политикой совести», —
Объявила она на весь зал,
Не зал, а какое-то Белое море,
Халаты.
— Ошибаетесь, — Чигринев ей сказал
Этак ехидненько, с перцем. —
Мы тут «от сердца к сердцу».
«От песни к песни!» —
Закричали в зале все вместе.
— Вы одни? — спросила она. —
А где же ваши друзья, коллеги?
И — тишина.
И голосок где-то,
Далеко-далеко,
На другом берегу:

– Фирменную вашу, фирменную –
Спойте, просим!
– Какую?
Разрозненные голоса по залу:
– «Коня вороного»...
«Клинка на берегу»...
– И как зовут тебя, девушка из Антарктики?
Как хорошо тебе
В этом белом халатике –
Обаятельна и привлекательна.
– Синее небушко,
На малой зарплате, –
Буркнула телеведущая,
В состязании не особо влиятельна.
– Лиза, – потупилась, покраснелась девица,
Прямо сгорела вся, –
Калитина.
Так и стояла она, глядя в лица.
Как гляделась!
– Вот что, – поспешил ей на выручку
Чигринев Арсений – артист ведь, лауреат,
Предвыборный кандидат.
И рад весьма сам себе оказался. –
Вот опус мне тут попался.
Голос из зала:
– Тоже собственного сочинения?
– Да.
– Из Ла Скала?
Только чтобы душу ласкало.
– Из цикла о нашем городе, –
Сказал Чигринев. –
Специально. О любви
В холоде.
– Почему в холоде?
– Вокруг всегда снег,

Много неба, снег высоко
Оттуда на всех...
Тебе, Лиза,
Эта стихи.

«ЛИЗА КАЛИТИНА»

«Встречу ее на Дворянском гнезде
В белом, как будто в тумане.
После по городу вижу везде —
Облики, предначертанья.
Дом деревянный, а возле него
Бедная, бедная Лиза.
Лиза Калитина из ничего,
В белых, божественных ризах.
Оба мы с ней не из наших времен,
Оба мы с нею оттуда.
Кто-то тогда был в кого-то влюблен,
В нас продолжается чудо.
Лиза Калитина — вера в надеждах.
Миг за калиткой, любовь.
Дом деревянный, и в белых одеждах
Все продолжается вновь»
Не было аплодисментов. Все тихо.
Снежность — по залу. За окнами — снег.
— Можете снять это?
Вихорь. Успех.
Там, за окном, затевался.
— Могу, —
Сказал оператор, один на всех. —
Значит, успех
Продолжает свой бег,
Лодка на том берегу.

* * *

А вот и они – припоздали маленько,
Команда. Вот и Альтернатива.
Вошли вкрадчиво, как на четвереньках, –
Чудо такое, диво.
А может, нарочно,
Так задумано? Снова?
Хромов ничего не сказал,
Сразу запел «вороного»,
Состязаясь с Арсением очно.
И, когда предварительно голосовали,
«Предизбиркома» стоял у урны
На стороне Хромова.
Едва не заглядывал каждому через плечо,
В ухо дышал горячо -
Каждой девчонке из Сомово, Ломово,
Каким все равно эти урны.
Однако выборы будут ничего себе,
Бурны.

XXIII.

Раньше сие называлось
Вызвали «на ковер».
Продолжается до сих пор.
Но втайне, не афишируя,
Как источник роста.
А то возьмут и уволят просто.
Обрежут цветочки с глицинии,
По собственной инициативе.
Звонил домой первый зам. председателя:
– Чигринев! Опять чудишь?
Песенки поешь, вакханалию развел...
– Выступаю нетрадиционно.
– В роли правдоискателя?
Это тебе не театр, козел.

— Сам козел!
— Ну, это ты зря,
Это тебе не в Адамово.
Сейчас же сюда, к председателю!
— Не могу! Голова ломится,
Прорывается давнее.
Двигается к верхнему показателю:
Сосудик в глазике лопнул,
Инсульт возможен...
И положил трубку,
Представляя в картинах,
Что происходит там,
На той стороне,
У первого зама.
Натянулся до звона —
Нервная паутина,
Нервы одне.
И опять телефон,
Звонит уже его зам,
Из его — чигриневского кабинета:
— На «ковер» вызывают, Семен.
— Не Семен, а Арсений. И чего?
— Чигринев,
Ты хоть это-то соображаешь?
Устой ведь подрываешь,
Основы основ.
— Ну, и что?
Устал я.
Сосудик лопнул в глазу,
Видеть никого не могу, вот жизнь!
А в трубку все тот же голос,
Аж дыбом волос.
Опять его первый зам:
— Сначала явись!
Подой, так сказать, козу,

А потом хоть в больницу ложись.
Что — этого не понимаешь?
Ну, как знаешь...
Смотрит Арсений в зеркало —
Перед собой, на себя:
«Не Пушкин! Снаряд, вставленный в пушку.
Жизнь грекова:
То тебя поругивают, любя,
А то на всю катушку...
Снимают стружку...
Подставил бы кого-нибудь вместо себя,
Да некого.
Отдал бы печень Расторгуеву Коле,
«Любэ»,
А что себе?».

* * *

Позвонила Мария:
— Что с тобой, Сеня?
Что-то сон плохой видела.
Будто за квартиру у тебя растет пеня,
А чужая коза козла твоего обидела.
— Перебьется пеня твоя, —
Вдохнул в трубку ей,
Как поглубже, Арсений. —
Ишь, какая — сама не своя,
А тут керосин подорожал в воскресенье.
— Так я еду, лечу к тебе, —
Трещало у Мери-то в трубке. —
Что ты говоришь?.. Не поняла... ну пока...
От кого, от кого? Как от «Любе»,
Как от козла молока...
Так я еду, еду, Сеня,
На все воскресенье...
— Легче на Алтай дозвониться.

За четыре тыщи км, Маша,
Чем с тобой разговаривать.
— Там спецкабель же, —
Ухало в трубку. —
В первую очередь
В Сибирь, на Дальний Восток,
А мы тут, как всегда...
Сидел, однако, в оцепенении.
В глазу щипало, толчки от висков
Шли к темени в течение
Трех минут, а, казалось, более трех веков.
Более-менее.
Затошнило что-то,
Гомер привиделся,
Заметались, монетизируясь, льготы,
Черные Керры,
Мышь шмыгнула из-под дверей.
Загудел в подземелье
В вечности этой Амфиарей...
В конце концов, ему все же нравилось это,
Что вызывают его «на ковер»,
Реагируя положительным образом.
Не вызывали бы, не было бы белого света,
Мария не позвонила бы до сих пор,
А то ведь что-то почуяла —
Фибрами, чем же еще?
Позвонила, любима...
И потолок его мыслей, кочуя,
Благовониями умащен,
Перенесся отсюда,
Из его комнаты,
Где он в Ланселоты был посвящен,
Аж до Древнего Рима.
Опять телефон.
Да кто хоть! Кому хоть нейметя?

Не «на ковер», не «на ковер», вас, барон, -
На дно вызывают колодца.
Да что они – с ума посходили?
Или, может быть, это Груша?
Тоже с интуицией, Билли.
Чуть что – тоже ведь, слушай,
Легка на помине.
В мартовском этом тумане синем.

* * *

Звонила, действительно, Груша –
Агриппина, супруга его, благоверная:
– У тебя все в порядке, хрюша?
– А что? Между прочим.
– Да кастрюля наша потекла,
А икона мамина...
Какая? Да Казанской Божьей Матери...
Замироточила.
– Ты что, Грушенька, всерьез это?
Или как? И при чем тут я?
И мои кумовья?
– Передачу смотрела по телевизору...
Сосредоточенно...
Ходила за таблетками к одному тут провизору...
Так тоже замироточили иконы, текло с божьего-то
портрета,
Особенно в семнадцатом,
В сорок первом, в девяносто третьем
И теперь вот... общая нить...
– Была бы Тацитом, –
Сказал Арсений, –
Знала бы, соломки в истории где подстелить.
Говорил Чигринев жене
Поверхностно, так – машинально,
А мерцало где-то во глубине –

Таинственно и сакрально.
Шло что-то такое
От подземного Амфиарея,
Двойника то ль Зевесова,
То ль Прометея.
И тут это все как обрушилось,
Всего его насквозь прострелило:
«Что он им — мишка плюшевый?
Ручками к нему мило
Тянутся, тянутся. Кабы обе-то
Сразу сюда не ринулись,
Вот сойдутся-то,
Вот ристалище!
Обе-то — просто обетование,
Кабы не вылилось все
В это фискалице.
Друг на друга покатыт,
Какая-нибудь на него накатает.
А у нас не в Корее где-нибудь,
Не в Китае.
Где рубят сначала, по своему усмотрению,
То правую
А то потом — левую,
Или наоборот...
У нас сразу свободу голому,
А с вора — голову... вот...
И зачем он с этим Альтернативой связался?
Выборы какие-то дурацкие,
По сути безальтернативные, адские.
Помогать им дурить людей,
В показухе этой участвовать без всяких идей?
Чтобы просто во власть попасть?..
На то и власть, чтобы красть...
Типун тебе на язык...
«И он к устам моим приник

И вырвал грешный мой язык».
Но это, кажется, Пушкин,
А что же на этот счет
У тебя из языка своего?
Думай, Арсений, думай
Или сочиняй,
Ливер ешь и пей «агдам»...
«И когда на море качка...
Приходи ко мне, морячка...
Я любовь тебе отдам»...
С этой киношной песенкой
Михаила Державина
И ходит теперь по выборам Хромов –
Альтернатива его, двойник –
Вот кто Амфиарей!....
А мы ему:
«На золоте стою,
На золоте пою
В твои глаза зеленые».
Разделили их, разделились!
«Догадались деньжонок собрать».
Где-то ангелы в небе носились,
В три плаща среднерусскую рать.
Успевали едва накрывать.
Терминатор при том не менял «избирком»,
Не щипал перьев сам с «избиркома».
Когда ветром влеком, кто на ком, кто на ком,
Без седла ездят в штат Оклахома.
И поет, и поет – душа рада,
Он купил себе дом в Эльдорадо.
На коне на своем – Альтернатива,
Колокольные звоны на диво.
Если что – сразу на самолет,
Вот душа у него и поет.
А Арсению что остается,

Только песней конь и куется.
Кич — кудук, кич — кудук, три колодца!
Про два дуба в округе поется...
«Ой, два брата — два могучих дуба!
Нет могучей по равнине русской.
Ой, два лада, два зеленых чуба
Перевиты светом, цветомузыкой.
Как один тургеневский, ядреный
В Спасском, в славе — повезло колоссу.
А другой — толстовский, чуть зеленый,
С неба, что ль, свалился к Абрикосу.
Ой, да два могучих, одиноких!
Нет могучей по равнине русской.
Отчего у нас, таких широких.
Долюшки-то, долюшки-то узки?»

XXIV.

Три точки сходились сегодня в Орле,
Три самых значительных точки.
Один — отшумевший свое на земле
И женщины две — одиночки.

* * *

Что теперь будет, не знал наш Арсений.
Знал досконально одно:
Этих своих режиссеров —
Из коллективов, из хоров,
Тем, где значительны массы,
Классы, прослойки у кассы,
И особенно личности,
Особенны сени;
Там значительней споры,
Где — режиссеры.
Тут ныряет,
А неизвестно где вынырнет.

Проследи-ка цепочку лиц
Играющих в блиц,
В строй свой тайный, киверный,
Где-то и кем-то оплаченный,
В разных делах обозначенный.
Есть тайны божественные, духовные,
А есть – мирские, греховные.
В том и состоит равновесие
Весов у богини Фемиды:
Судить по-настоящему –
Явно и весело,
Или тайно, с агрессией –
Делать виды.
«Я так вижу!» –
Говорят режиссеры –
Все от бригадира до Президента.
С этого и начинается
Мафия, плутократия
И диктатура,
Автократия.

* * *

Такой мыслям исток
Дал Чигриневу
Как герою нашего времени,
Изнемогающему от бремени,
Тут один телефонный звонок.
Есть люди, нацеленные на себя,
А есть на все человечество.
Так и живем всех теребя,
Ходим под Богом, мечемся.
«Нам не дано всего предугадать,
К чему нас призвала Природа-мать».
Такие мысли затмевали
Ему свои стихи, скрижали.

Какую мерзость нарожали
Крутые женщины Ваала,
Который нас теперь и глушит,
Снижая ум, стеная в уши.
«Куда я рвусь, в какие кущи,
Зачем мне должности сии?
О небо, Боже всемогущий!
Когда всего одним звонком
Все вдохновения твои
Все твои помыслы на том,
Один всего лишь или кучка,
Какой-то жалкий недоучка
Разрушить может, —
Вот что меня терзает, гложет.
Зачем тогда всю свою жизнь
А не какую-нибудь ночь
Я строил город в одиночку?»
Шептал мне Бог:
«Держись, держись!»
И я держал удары — в почку,
В пах, трах-тарарах,
Однако страх
Не допускал я в душу, в дух.
Всю жизнь прожил один за двух
Без зла, без права на ошибку.
И вот при них, что называется,
Вся «демократия», когда
За «демос», «кратная», сражается,
За дух ошибочный всегда.
Сказал когда-то Аристотель
В своей «Поэтике», затем и в «Метафизике».
Лирики, физики — какая разница,
Режиссура одна — безобразница!
Дескать, автора — в сторону,
Актера — в борону,

Одни кукловоды, эгиды -
Строят свои пирамиды.
А ведь Аристотель строил сюжеты
На Гомере, на подобного рода творчестве.
Это тебе поэты,
Облика греческого.
За спиной у Гомера было
Пять тысяч лет пути искусства,
Истории человечества.
До нас сюда -
Двадцать первого века.
К пяти тысячам
Плюс двадцать семь веков от Гомера, -
Вот какая, граждане, Мекка!
Люди! Какая эра!
Промысел божий,
Основа! Каждый в искусстве слова
Каждой нации
Должен чему поклоняться.
Попадая в Хронос - время,
Будем в ногу шагать,
Иначе станем мы отставать,
А это - перестраивать города,
Реконструировать век,
Вытаскивать из деградации
Целые нации.
Вязать в сию минуту
«Серебряный век»,
Его побуждения,
С тем, что сейчас человек,
Его золотые, серебряные достижения.

ГРЕЗЫ И СЛЕЗЫ

«С основами сокодвижения.
В мире не бригадиры,
Даже не Президенты,
А сакральное важно — Тайна и Красота,
Божеские схождения
В те моменты.
Где зори и озарения.
Когда не рвали бы хлеба скибку,
А брали бы всего от огня,
Все, все смотрели бы на меня....
Не обижай же, Боже!
И так всю жизнь я тревожен,
Ищу свои грезы,
Переходчивы тайно в слезы,
Да кто же их знает, как их узнать....
Опять не то, надо что-то решать....
И без того мир мы творим,
А всего-то надо нам в третий Рим».

* * *

Ехала «по направлению к Свану»,
К себе в этом городе
Серединной Руси, в самом сердце,
И больше по привычке,
Чем по настроению, не очень-то рьяно,
В скоростной своей электричке
«Василий Поленов»,
Ела блинчики с перцем,
Будучи не очень-то в голоде,
И, запивая при этом
Молоком из пакета,
Да тихо, тихонько под нос себе
Напевала, сладкое в рот совала —
«Мишку косолапого».

В обертке такая конфета,
А сама ведь страдала
От сахарного диабета, —
Московская оперетта:
«Прощай, паровоз,
Не стучите колеса,
Кондуктор, нажми на торрррмоза-а-а...
Я к мамочке родной
Спешу на свиданье....
Красивой, красивой, красивой —
Меня засосала
Опасной трясиной...
Кондуктор, нажми на торрррмоза-а-а»...
«Ага — говорила она сама себе,
Строя с Арсением диалоги.
Такой же фанатик, как и эти «любое» —
Редкие, но из многих.
Бросил театр свой, свои идеалы
Перекроил и ради чего?
А ведь был добрый малый —
Павка Корчагин... аббат Прево...
Милый!
За что тебя и любила!..
Какие-то силы,
Какие-то мерзкие, дерзкие силы
Твой портрет
Расписывают мне извне.
Ты, Сеня, все время где-то на стороне,
Тебе плохо, плохо!
В роли комиссара Блоха
Из поэмы Иосифа Уткина
О портном Мотеле...
«А в очереди люди ахают,
Ахают и жмут:
Почему не дают сахару,
Сахару почему не дают?..

Такую бы жизнь Ленину...
И еще бы товарищу Левину,
Как раз проезжаем Бастыево,
Тут поблизости Спасское,
Это все, что осталось,
От Лутовиново,
Бите-фритте, извините,
Кто-то чего-то в карман себе положил...
История шею выела,
Не соответствует малость,
Все дело в одной только буквке
«А» и «В» (Ленин — Левин),
А так одинаково: «Володя» тоже
И тоже «Ильич».
Одни портные шили,
Какие-то Мотеле и комиссары Блохи,
Всего наработали,
Нагрешили,
А эти ахи свои развели и охи»...
Грушенька косточки от курочки
Собрала,
Воду из бутылочки допила,
В ящик мусорный все отнесла,
Пластинку переменяла.
И пошел в ней
Внутренний диалог.
У Чигринова, дескать, дело не ново:
Не Блок! Не Казанова!
Всегда так она себе делала,
Когда встреча предстояла
От имени Андрея Белого.
Ага, так примерно,
В таком ключе посвящение,
К ней у него обращение:
«Женился я на тебе
Из-за московской прописки,



А люблю ведь другую, верно?
Любовь автономна, атомная,
В сто тысяч свечей....
Барышней была по молодости.
В тургеневской барышне где-то спрятана,
А в кого превратилась?
Резче стала, циничней.
Нахваталась от «кляч» своих – той же Губченко.
– Скажи не милость!
Святоша какой, приличный!
– Да, от Губченко, Кубченко,
А не от Татьяны Шмыги
Или Юлии Друниной!
Вот была поэтесса! Несла вериги!
Военные, юные.
«Комбат», «Руки не снегу» –
Так и остались в памяти,
В лихолетной замяти!
Стихи ее так и врезались...
– Всегда так.
Лишь бы кто-то другой у тебя,
А не я... те же все эти «Любе» –
Ребята железные»...

* * *

А с Юга, в центральную точку,
Где давно ли еще, как селедки в бочку,
Тоже «По направлению к Свану»,
Мария ехала ныне в полупустой электричке,
Спиной деревянной к дивану.
В тревоге мчалась, без всяких иллюзий:
Как там? Что там у него из конфузий?
Кто-то свыше с предсказаньем конца
С неба к ней вышел
И вошел в тень лица.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. МОСКВА – СТОЛИЦА

XXV.

А вот и Курский. Прибытие объявили.
Давно ли, кажется, вокзал весь обсосан был.
Вот туалет при нем, а какой спрос?
Арсений покрутился, покрутился.
Да и нырнул, десятку отнес,
Выкинул.
Москва не та, совсем переменялась,
Не похоже уж на батарею улиткину.
Уж не отлить украдкой где-нибудь за углом,
Их просто нет – «углов»,
Что случилось?
Вот поработал мэр этот Лужков.
Да и сама ж/д – «Росжелдорога»,
Московская дистанция пути.
Бывало, едешь – мусору, ей-богу,
Ну, не проехать чисто, не пройти.
Да просто жуть! Десятки километров
Перед столицей бутылок и бумаг!
Под насыпями, под эгидой ветров,
Со всех республик выброшенный прах –
Из поездов, машин и электричек,
Обшарпанность, убожество во всем.
А ведь Москва! Все видим и без спичек,
Что третий Рим, столица наша, дом.
Под марш «Славянки» нас отправляли
Из Курска, Белогорода и Орла.
«Славянкой» тут нас встречали...
Без музыки ныне ... зато ведь была!..
Щемит все равно по былому,
Когда подъезжаешь к дому.

* * *

Москва, Москва и символ твой Арбат!
Весь из свобод и всяческих преград.
Вся жизнь у нас — единый миг и мах.
К театру своему он, как к родному,
Подъехал весь в страданиях и слезах.
По радио вчера услышал — не поверил.
Дождался телевизора, вестей.
Нет Гриши! Нет, в какой-то мере,
И самого его теперь.
Да зрителей, артистов всех мастей.
Ушло за эти годы сколько —
Ужас! Ушел вот Гриша.
Боже мой! Поверьте,
Ведь искренне же думал, что бессмертен
Он — мой герой.
Да ведь под божьей крышей
Был Гриша, друг же беззаветный мой!
Скорблю и я как автор
И как зритель,
И как Арсений, просто человек.
Простите, что не так скажу, простите.
Был, выпадал, как прошлогодний снег.
Мой маршал Жуков!
Он его направил
На эту роль, когда еще был жив.
Он, как Чапаев, был для нас, наука,
Да! Уж был он, — вот какая штука!
Всех, всю страну к себе приворожил!
Да мы другого Жукова не знали.
Такого принимали насовсем.
Как Бабочкин... Героев не играли,
А ими становились, вот и все.
Спроси, кто Гриша, сразу скажут — Жуков.
Он был, наверно, жизненной его.

Объемнее, многообразней, в муках
Рождающий победу самого.
Да, был жесток! И сам ведь это знал, —
Георгий — маршал, бог, победоносец!
Но, Гришу видя, сам себя ковал —
Под эту личность
Всю свою двойничность.
Вручавший, а не орденопросец,
Он Штоколова в оперу послал,
Ульянова самим собою сделал.
Георгий Константинович связал
Жизнь и мою, страны с эпохой целой.
Григорий, Гриша! Главный режиссер
Тетра, где актером был всегда-то.
Вот и Арсений маршал до сих пор,
Был Рокоссовским у него, солдата.
Он взял его в свой всенародный штаб,
Актером делал, просто человеком...
Простил тебе весь этот брак и ляп,
Когда ушел ты, оскорбленный веком.
Вахтанговский — особая семья.
И до сих пор в тебе он, славный, где-то.
Обиделся. Бежал вот от вранья.
А как же он? Как тень от эполета?..
Арсений закрутился у театра.
Раз десять, двадцать мимо пролетел,
Где тот лежал... Вот тут стояла «Татра».
Вот тут с ним пива выпить захотел.
Вот тут с ним обсуждали роль в спектакле,
А там его сердечко прихватило.
А сам каков, да, сам каков — не так ли?
Все было... было... было...
Театр разбух, «миссионерским» звали
Берег людей. Не то, что Табаков.
Все на себе, всю жизнь победы ждали

От этих «ворошиловских стрелков».
Где Лановой? — не видел на экране.
А ведь суется всюду, где сейчас?
Они же вместе маршалов играли,
И вместе выпивали стопку, квас.
Арсений бегал, отделяясь от Васи,
От «Васи благородия» его
Не то сказал, в разгуле катавасий,
Не так изобразил «стрелка» сего.
Но маршалом ведь так он и остался.
Не сдав плацдарма пяди... не могу...
Как Друнина, лежит, и «руки на снегу».
Тут, в красном крепе, чуть подзадержался,
Все остальные там, на берегу...
Так мой герой не смог дух превозмочь —
Войти в театр, хоть чем ему помочь.
И на другой, когда похоронили,
Он не пришел. Не мог сюда прийти,
Когда тут всяких и не всяких в стиле
Барокко как артистов рока
В гробы позабивали
И забыли,
Чтоб оказались где-то на пути...
Прости, мой друг, прости!..

* * *

А на утро
Не знал Арсений,
Где он, куда идти?
Побрел на Новодевичье.
Один наедине.
Так, может, лучше.
Ты тут, в весне.
А тот уж там, на том пути,
На той дороге,

Куда несут нас лично
Смерть, тревоги,
Столичный дух двуногий...
Вот тут Хрущев. Вот тут Шукшин.
И где-то маршал между линий,
Неувядаемых вершин
Достигли где-то, тут почили.
Кого списали, а кого
Да никогда не спишут. Кроны
Тут осеняют одного,
А за спиною — миллионы.
Стояла женщина. Притихла.
Живая, Родины основа.
Артист в нем вспыхнул -
Снова, снова!

И вспомнил я с ним
Причеть кстати.
Читали мы свое — своим:
«Ах, не рыдай меня ты, мати!»
Вот мой оттуда и отрывок,
Кладу коню как на загривок.
Прозой читаю как есть,
Маршал наш, Ваша честь!

«Новодевичье. Женщина в черном стояла плечом в сирень, утопила в руки лицо. Кто-то вышел из живой людской струйки, коснулся плеча:

— По ком плачешь, мать?

Струйка замедлилась, остановилась.

— По человеку, — сняла руки с лица Старая Женщина.

— По человечеству.

Струйка двинулась дальше. Мимо женщина, старой сирени с веткой алой рябины. Ветер перебрал тетрадный лист с серыми, как непромолотая соль, корявыми буквами. Фото косилось на соль, шевелило немymi устами:

– Я свое, люди, прожил, как смог. Прошагал, как сумел, над Крутунью. Ах да не убивайся так, не рыдай, не рыдай меня, мати!.. Накрути ремешок-то на прясло, завяжи узелок на память, выживи, мой любимый, добрый народ!»

* * *

И земля загудела под ним, загремела,
И возникли внутри голоса.
Как живые.
Живая история тут, полоса.
Весь народ в датах, лицах.
Как и в ком все это
Смогло воплотиться?
Поклонился еще раз
И – в центр, на Манежную –
К памятнику Георгию Жукову,
В эту стихию безбрежную
На коне, перед Красной площадью,
Работы Славы Клыкова –
Земляка моего, со студенческих лет.
Образ несущим по полю, речкою, рощею –
Победоносца великого.
И Рокоссовского вспомнил
На Параде Победы.
Тот – на белом, а этот – на черном.
Конь белый, и конь вороной.
Гриша милый, родной!..
Перешел Арсений тут же, рядом,
К Вечному огню, в Александровский сад –
К праху отцов, Грише – Григорию
Поклониться.
Пошел далее садом –
Города – герои, история та же, в лицах.
На Мурманске кончилось,

И еще три места.
А что говорит Президент?
Вспомнилось,
Был момент, —
О том, что и малые города побеждают,
Малых подвигов не бывает.

* * *

И тогда подумалось;
Тут, за Мурманском,
Должен быть и
Малоархангельск — городок,
Что в степи между Курском и Орлом —
Самое пекло, кровавое месиво,
Малый город, названный мной в романе
Адамовым.
Где война по сути и кончилась.
«Семь месяцев брали
Да так и не взяли
Малый наш Сталинград!»
Выстояв, стратегию помог ведь осуществить.
Отсюда, от истока Оки,
Шаги потом были только ни Запад.
Бородино. Куликово поле. Прохоровка.
А кто знает Сабуровское поле?
Хлеборобы, брошенные в бой почти без оружия.
На виду всей страны —
Эхо гражданской войны!

XXV.

«Сабуровское поле у высот,
На подступах к Малоархангельску.
Тут птицы останавливают лёт.
Когда летят, кричат над ним по-ангельски.

Тут тысячи легли в одной атаке,
Смертельная их жатва догнала.
И алые сабуровские маки
Весною встали, где она была.
Один цветок – загубленная жизнь,
Стеной соборной размахнулось поле.
Постой же, жаворонок, подержись!
Они легли, чтоб вы летали вволю.
Все здешние – штрафбаты, хлеборобы!
Но это перепахано особо,
Особо перепахана земля».
В одной атаке на каких-то
Десяти гектарах
Пали сразу десять тысяч.
Да, брошенных в бой почти без оружия.
Почему же не сказано было ничего,
До сих пор почти ничего –
О Малоархангельске?
«Наука имеет много гитики»,
Как и совесть в политике.
Как распекал Рокоссовский,
Командующий фронтом –
Тут же своих генералов,
Прибыв сюда сразу же
После трагедии.

* * *

«Что ж это так обеспамятело меня? –
Стоял Чигринев в Александровском саду,
У Вечного огня, мысль огнем этим плавил.
Сам же был там недавно главой,
А Рокоссовскому памятник не поставил.
Сам уже вот седой,
А история – с бородой,
Кто-то фитиль ей вставил...

Улицу главную проспектом назвать —
Рокоссовского,
Парком Героев сквер в центре считать,
Улицы немецкие переименовать —
Это красиво, патриотично!
Подниму всю свою Родину — мать,
Расшибусь лично!
Малый город, а с Белой Глиной —
Столичный.

* * *

Конечно, Москва хоть и третий,
А все-таки Рим,
Точка отсчета от Рима.
Древний Рим — бюрократии эти
Почище любого экстрима.
Что же такое лучше всего
Силу ту, государственность выражает?
Что ее дух и символ?
Тут на Москве изображает
Нечто подобное нимбу?
«Символ и дух — один тут за двух
Рим даже третий:
Рим, Византия, Москва
И — генух!
Четвертый уж на примете.
Но мы останемся с третьим,
Первыми будем в этом!» —
Так Чигринев, заметим,
И подсчитал свой рейтинг.
Кремль? Символичен для нации.
Дух ее, крепость духа.
Красная Пресня? Греция
Держит себя за ухо.
Зданье Госдумы?

Или Манеж?
Что еще нас выражает,
Родину так отражает?
Храм Спасителя, к храму дорога,
По Моховой, по Моховой
Купола до Бога, золота много
В зоне береговой.
Шел Чигринев, преисполненный Гришей,
Вечным огнем и Кремлем.
По Моховой к очертанию вышел -
К Спасу и символу в нем.
Что же за Спасом, что за ним, что? -
Да у любого спроси:
Вот этот символ, вот это то!
Храм во Спасенье Руси,
Спас наш, Спаситель всея Руси.
Вот к нему сюда и привело Чигринова.
Святое наитие, духа и слова
О священный Славутич и Волга!
Крест надел и носи!
Внизу налево - княгиня Ольга,
Направо Креститель Руси - Владимир.
Постоял Чигринев внизу у деревянной церквушки,
Прошелся по берегу Москвы-реки.
Напротив - Петр, паруса на макушке,
Ветер из-под руки.
Нашел местечко, сел под фонари,
Достал припасцы свои,
Что положила ему Мари...
Памянем! Мы дети твои,
Наш Спаситель не на заборе,
Только не спас вот Григория,
Гришу...
Сияй, золотая, гори...»
Сидел и смотрел Чигринев на крышу,

Молился где-то внутри.
Сменялась усталость души его, тела.
Сошла с куполов благодать.
Отец так старался, так Матерь хотела,
Спасителем в нем очищалась несмело
Небесная млечная рать.

* * *

Гришин дух он вызвал, тот пришел.
Близко был тут, не успел уйти.
Поиграл с мальчишками в футбол
И сюда вернулся с полпути.
— Ну, и как? — спросил его Арсений. —
Отходился с митингов своих?
Когда Керры улетают в сени,
Остается вечность, образ, миг.
— Я—то что, — сказал ему Григорий. —
Ты гляди ко мне не попадай.
Был наемдни не согласен в споре,
Вот и поплатился я, поди.
— Ха-ха-хаха, а че там в первом томе —
Кто был не согласен в чем и с чем?
Отчего в своем московском доме
Так немилосердно мы живем?
«О Пушкин наш! О Пушкинская площадь!
Что значит слово, русские слова!
Сюда, чтоб заявить о своей мощи,
Приходит несогласная Москва.
На мраморе. На низенькой ступеньке,
В присутствии чугунных фонарей,
Все говорят единственно про деньги,
А говорили про судьбу идей.
Судьба России! Что она? И где мы —
Всех рангов, поколений и цветов?
Нельзя тут врать, играть пред ней в лото

И прочие сегодняшние темы.
Высказывая Пушкину все боли,
Москва гудит — с Россией схожа, что ли?»
Так и сидел Арсений наш у Спаса.
Спасителя людей, всея Руси.
Глаголили. На Воробьевых — масса.
Чуток поменьше тут, иже еси.
А где-то на горе Поклонной, что ли,
Попахивало с Запада душком.
И, отдыхая от своих застолий,
Сажал деревья мэр Москвы Лужков.
Опять тянуло Сеню на амвон —
Личину сбросить, снять чужие маски!
И былью сделать боли, явью — сказки,
Установить и выполнять канон.
Москва, Москва! Под фонарями Пушкин!
Вам говорю, как видите, от всех.
На грани Русь! Не россиянин — русский!
До дна доходит русский человек!
И вот под золотыми куполами
От византийских, тех еще времен,
В разыгрываемой античной драме
Сидит герой наш, в думы погружен.

XXVII.

И Византия, этот Рим второй,
Встает во глубине передо мной
Как автором и пред моим героем
Арсением — его нетленным гением.
Каков весь этот конный строй!
Конь Жукова, конь Рокоссовского —
Они тут на Москве первопрестольной.
А в Питере, как от Кюри-Склодовского,
Ядро подарка — Медный Всадник,
Сам лик Петров

И кони Клодта
По Аничкову по мосту
На Невском.
Конь — будь здоров
В руках у степняка,
Его работа на века,
И с блеском!...
А там, в адамовских степях,
В девонских глинах белых,
В седых, сребристых ковылях
Лав конских — оголтелых
И топ и скок,
Он к нам сюда протек.
И вот написано что мною
Чуть ранее,
Какое при этом построено здание!
Из пятилистника первого обелиски.
Стелются, стелются пламена
Еще в те, скифские времена.
И к нам сюда пелена, племена —
Рядом, близки.

«ЗОЛОТАЯ ОРДА»

«Среди степных могучих ковылей.
На переломе Азии — Европы,
Орда летела, разогнав коней,
Вперед в астрал, в звездноязыкий шепот!
Сметала страны на своем пути.
Как саранча, дотла сжигала травы.
О, Золотая! Возблаговести,
С чего так рамена твои кровавы?
Их бег — от Солнца, солнечный поток,
Пучок, частицы в синхрофозотроне.
Они слетели с Неба, видит Бог —

Энергией заряженные кони.
И гул степи, и гривы на ветру,
Тумены из родного Керкелена.
В хвостях репы, и пики налету.
Над конской массой терпкий запах тлена...
И налетали на Москву – пожечь,
Пограбиться, дать просто князю в «рыло»
Чтоб никогда не просыхал их меч,
Чтобы боялась, помнила, платила.
...Идут века. Летит вперед орда!
В потоке Солнца, в электронных сбросах.
Все норовит вильнуть на города,
Кроваво расписаться в небосводах.
И взгляд вприщур. Скуластое лицо.
То камень рус. То камень исчерна.
Кто твоя мать, кто был тебе отцом,
Какие в тебя брезжут пламена?
Куда летим по вехам и эпохам
По континентам – мистике числа,
Кентавры, обрастающие мохом,
Соединенье Бога и Алла?
Косясь на перекосяч ночей и дней,
К каким гремим пределам? Я к тому,
По Азии – ход бешенных коней,
А по Европе – шорохи к нему.
За ярлыком – откуда и куда?
Тавро кентавра, семь прыжков и мет.
Я узнаю тебя, моя орда,
Ты на коня и через тыщи лет».
Вот такой пятилистник. Как ляпа,
Глаза закрывает, а Чигринев,
На виду у Спасителя,
Открывает их, защищается
Духа – воителя.
Орда проскочила на Запад

И вот постоянно сюда возвращается.
И ветры то с Востока,
То с Запада,
Но Богатырская застава стоит насмерть —
Княжее око.
Лапа та —
Пращура — ария,
Око государево.
Волей Ольги — княгини
И князя Владимира
И Спаситель всея Руси
Объявился.
Пришел, под крест собрал,
Пронес его
Сквозь смерть и польмя,
В степи не допустил растворения.
Да так и держит века —
Христово стихотворение.
А кони — как эхо вещее,
Солнечное и зловещее...
Все скачут, все скачут, все скачут,
А как же иначе?..
Вон в Храм понесли десницу
Святого Спиридона из Корфу,
Из Греции. Прислали с Итаки нам,
Единоверцам, дети Одиссеевы.
Внукам послано внуками —
Для очищенья страстями, муками.
Мощи святого во гробе,
Тело всегда 36 и 6.
Мысль без тени на лобе.
Тапочки постоянно меняет,
Ходит по нуждам людским Спиридон,
Дела поправляет,
Учит жить.

Кто же он нордически –
Спиридон?
На «арийскость» берем, проверяем.
От греческого *spendo* – «спешить»
И *vgriros* – «конь».
«Быстрый конь» – вороной,
«Летающий», а где там,
В Корфу – на Итаке, лететь по местам?
А летающий если, то по скифской степи –
По Белой Скифии всей,
От Балхаша, Сибири, где бывал царь Одиссей,
И откуда-то с Дона, возможно, происходят отцы
Спиридона.

Недаром там, на Корфу, русские пушки
Были оставлены еще Ушаковым –
Адмиралом русским. Как и словарь,
Был Ушаков тоже толковым.
И русские едут туристы.
Взяли на мушку –
От пушки до мушки
Степные кукушки
Подходы к Итаке,
Вещают бессмертье, как встарь...
Вот что внушил мне ты, Гриша,
Наш Жуков. Ну, может, еще кто – потише,
Поверьте, будешь, как Спиридон, вечно жить,
Каждый год с весны по осень,
И ты, Георгий-победоносец,
Людям служить.

* * *

Позвонила Мария по сотовому,
Тут же к вечеру и прилетела.
В самом деле, летала на самолете.
Сумка с атомом,

С самим Терминатором.
Кто сказал, что врет, — типун тому
На язык. Сумела.
Проявить свои связи, свой взгляд на небо
За иллюминатором
А все на него, Арсения,
Во имя спасения
— Ну, что прилетела, птичка? —
Обнял ее Чигринев.
— Птичка — синичка.
— Быстра — ну будь здорова,
Чигринев и Чигринева...
Они ушли в свою нирвану,
В свои современные дни,
Как и тогда в Бобрах, поляну
Подыскали им курени,
Какие тут везде стояли
Под видом тех пятиэтажек,
«Хрущевок» тех,
С чем был у них связан успех
Сто лет назад.
Да, трали-вали,
Плач по жилью, как прежде, тяжек.
На месте их — план у крутых —
Воздвигнуть скрижали,
Чтобы эти хоть не сбежали.
Отдельные, конечно, лица
Из молодежи, — за границу.
— Тебе еще не говорила? —
Сказала трепетно она.
— Чего, о чем, Маруся?
— Да, говорят, тебе я не жена,
А как дождуся,
Так все чужое зачеркнем.
— Развод, что ль? — поглядел Арсений

В ее свободные глаза.
А в них — слеза.
Без опасений —
Туда, в нее, глядел Арсений.
Она потупила свой взор,
А не глядел уже и он,
Где догулялся до сих пор
До сих календ, — хамелеон.
Как до Москвы Наполеон.
— А «Мулен руж»
В Париже, —
Сказал он ни с того и ни с сего, —
К нам стала как-то ближе, ближе.
— В Париже?
— Да, еще ближе.
Там русских на две трети...
— Что — кто-то на примете?
Мечта — в поэте?
— Но еще больше — в Лондоне и Польше,
На юге Франции —
На берегу Лазурном,
В романе бурном...
— Все поскупала Русь,
Миллиардеры, —
Вдохнула Маша,
Машенька,
Мария. —
Собчак хвалилась,
Со счета сбилась.
А пенсионеры...
— Нарусова?
— Ксения говорила,
На днях такую в Шарлевилле
Пирушку закатали!
— Вот нас французы и не любят,

За что любить?

— Им все равно, все правда реже, —

Сказал Арсений Чигринев. —

Вопрос не нов.

— Да, но не все же.

Есть, например, французы, что любят нас, бобров.

XXVIII.

Сидел, готовил свой доклад -

На небеса.

Писал не все подряд,

А то, что требовала жизни полоса.

Про тех солдат

Театра и кино,

Которые, как и Садуль,

На мягком спят,

А на гвоздях сидят.

Оттуда вдруг, из центра, позвонили:

— Ну, как готовы?

Как у вас статья?

— Да что вы!

В ваш сборник бытия

Всегда готов, конечно, я.

А сам к статье еще не приступал.

Теперь сидел на пледе, возлежал,

Мысль отдыхом текущим освежал,

Чтоб фактик нужный не сбежал,

Наука не эстрада:

Улегся б, куда надо.

А Груша все не уезжала.

Уж он ей, между прочим, прямо в лоб,

Ну уезжала чтоб.

— Ты, — говорит, — себя уже снимала?

Да, в том кино, которое Эльдар опять снимает?

— Снимала уж, снимала, —

Она Арсению сказала.
Но и но...
С другим его сличала,
С тем, помоложе, кто —
С ней был в кино.
— И перед кем опять с себя снимать? —
Ехидничал Арсений сызначала.
И как же называется оно?
— Кино?
— Как называется оно?
— Забыла, и давно.
Какое-то «Гнездо»!
— «Дворянское»?
— Нет, лютеранское.
А может быть, кукушки?
Он ей на ухо:
— Там заседают мужики,
У Корфу на макушке,
Муха!
— Что «Корфу»? Что — кино такое?
— Нет, оперетта,
Кажется, «Чилита», —
Сказал он Груше. —
Вся в музыку одета,
Евгений Птичкин начирикал
На днях. Еще свежа, как роза.
Такая-то метаморфоза.
— Ну, я пошла, — она сказала.
— Куда?
— Домой. С автовокзала
И сразу к Птичкину туда,
На розы.
Такие-то метаморфозы...
Она убралась восвояси,
В свою Москву. И было пусто.

И он писал.
И где-то там росла капуста.
И воздвигался мадригал
На пьедестал.
«Фантастика Садуля» — снов фантастика,
Она в него входила не из снов.
Присел перед трельяжем —
Личность, пластика
Не выражались в качестве основ
Лица его, уже он был не важен,
Шутил Ваал
В той роли, где себя совал
В Английский, кажется, канал,
Ламанш он у французов.
Один и тот же пьедестал,
Дрейк там уж дважды утопал,
А Разину — по пузо.
За что же общество дает
Награды, имя, доллар веский?
Вон королева, орден свой подвески
Да, как репей, на грудь прижала Дрейку
Иль с розой положила на скамейку.
А Разину за то же
Вон топором по роже...
«Все дело в том.
Все дело в том.
Что как ударили кнутом», —
Замурлыкал Арсений
Давнишнюю песенку,
Эту самую песенку-лесенку,
Что придумалась, пелась давно
В немом каком-то там кино.
А в каком — надо спросить у Груши
Аккуратно, любя.
Это было тогда,

Это было тогда,
И не правда, когда
«Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как искренне любили
Как верили в себя».

* * *

Прозвонил по журналам «аховским» —
Статью еще не получали.
Например, в «Знаках вопроса».
Скисли печали,
Ушла в его голос и глосса.
В «Клинауках» не выходила метафора.
Тенденцию надо было удвоить,
Чтобы блюдо готовить.
Имя, что ж, конечно, не градово.
С докторами ту неодинаково.
Вот и прислана «Дракула»
К ним туда, в прерии,
От какого-то Якова —
Генерала от инфантерии.
Чтобы проглядел все до шпента
В качестве резензента.
А сам редактор укатил с молотом
На Гималаи,
Где медведи с белым серпом
На груди.
Кофе молото.
Капитан Кук и Гавайи —
Вот куда укатил редактор
Забивать свои сваи
Под эти Гавайи.
Груша работает там поблизости где-то,
Но он уж не верит Груше

После того. Плохая примета,
Послушай!
Отдаваясь через кого-то
Кому-то и где-то,
Скажут: а где же конфета?
Лучше б уж прямо платили,
А не вертели, крутили:
Престиж науки,
Вопросы культуры!
А принципы макулатуры —
Из области фальши,
Как при ремонте асфальта:
Хватай больше, кидай дальше.
Крути себе сальто-мортале
В своем репертуаре,
Делай сальто!...
Сходил Чигринев на почту,
Послал пакет на имя журнала.
Солидно этак теперь: «Почтамт»,
«Академия». Как кочет.
Топчется, надувается.
Все ему мало —
А тут и там
Все престиж поднять хочет.
А работают, как «соломбала» —
Бал на соломе,
Солома в доме,
Но топчется кочет
Престижно очень,
В самом деле, престижности хочет.
Пакет идет до Москвы
Четыре недели,
Хотя электричка,
Как птичка-синичка.
Летит четыре часа.

Позвонил еще – не получили.
Послал опять, но – с уведомлением.
То есть адресату вручить,
Лично.
Ну, и отлично!
Хотя опять можете не получить.
И стало Сене не хватать уж терпенья,
И стал подумывать Сеня:
Либо самому смотаться,
Найти время.
Либо все же
Передать через Грушу.
Все может стать ся,
Если к Груше смотаться.
Вот так, наша почта; тот самый случай,
Доблестный Орловский почтайт
И заставляет этого самого кочета
Околачивать груши получше,
Сплачивает груши,
Держит семьи могучие,
Посильнее, чем рок.
Не дает нас скушать,
Не доставляя нам почту
В срок.
Зато сотовый появился кочет.
Это чудо – малютка,
Звонит – когда хочет
Вывозит за всех.
Фантастика! Такой успех!
Человека, где хочешь, найдет.
Хоть в метро, в подземелье.
В войну бы так, и давно!
Не таскали бы по кино радисток –
Из похмелья в похмелье,
По тылам, по коленям,
По Полесьям и поколеньям.

«Мама! Я летчика люблю.
Мама! За летчика пойду».

* * *

Съездил, конечно. Через Грушу не стал
Все это передавать.
Слишком большой пьедестал.
Слишком уж кузькина мать.
Иерархичен их строй.
Крыша, дыра, «самотек».
Вот и статью тут устрой
В этот их «бурный поток»!
Все доктора, генералы,
Все за границу поездки.
Мы им провинция, галлы —
Факт с аргументами мерзкий.
И понял Арсений кое-что,
В их иерархии.
Калитку прошел, «накопитель» остался,
Главный редактор на этом попался.
Вон где истоки епархии
В их небольшой иерархии.

* * *

Вон было какое время —
Гроги!
Специально
Делили и разобцали, и то
Строил Бахтин «диалоги».
С кем только мог.
А не то, чтобы Ланн
Где-то близко —
С такой фамилией,
С русской пропиской.
Откуда-то вроде из дальних стран,
Обожествляя себя, набирал

Свой контингент в журнал.
А что ж тогда мак?
– Слышь, Груша? Моя Шапокляк!
Ты бы сходила к ней, в доблестный АК,
Очень хороший, сняв бы калоши.
Где, интересно, там «эгээсы»,
Формы, реформы и так.

Л. М. Золотарев





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тут наш герой и взорвался:
«Я же у вас тут засну!
Вот экземплярчик попался!
Быстро во всем разобрался,
Дай-кося тоже блесну!
Хоть не моя это отрасль,
Хоть я и не наука,
Тоже все же опасность,
Штучный товар мы, штука.
Гордость есть даже у лани,
Нам этого не занимать.
Аж отсырели длани,
Видите? Кузькина мать!
Вы же святая наука,
Вы же столица, в Москве.
Мы — круговая порука,
Нас в одной хате две.
Мы же деревня тут, степи,
Серость, скуластые лица.
Как завелось, так и лепим
С помощью интуиции.
Мы на картошке выросли,
Вы же на своем месте,
А все равно мы повывлезли
Из мухоты на квасе.
Мы же давно академики,
Вы же не просто грамота —
Метлы ведь вяжут в веники
Все из меня, из хама-то.
Вон на нас сколько держится
Всякого зла и хламу.
Как кулачищем врежется,
Так, понимаешь, в яму.
Мы же берем интуицией,

Поощряем слова.
Вы же даете амбиции,
А берете права.
Быстро тут разобрался,
Как нас разобрало,
Век по правам проскитался,
Что это мне дало?»

* * *

И все-таки сработало и в нем –
Внутри его такое потрясение!
Читал один, а кажется, вдвоем,
За ум свой взялся Чигринев Арсений.
Как конь, на все четыре подковался.
Чтоб и его в науке понесло.
Вот, скажут, блин, искусствовед попался!
Ну, и деревня, Царское Село!
И все равно какой-то нужен ход.
Ну, не стандарт! Совсем другая акция.
Мысль возникала – вот когда рванет
Телега под названьем «диссертация»!
А что еще, не альфа и омега –
Мчит по мозгам обычная телега.
Гремит в плеврит, и че тебе нейметя?
Че людям от преврита достается?
Вот перемрут последние в Бобрах,
И будет нам, журналам всем, наука.
Как гля, в «Вопросы» затесался страх,
А на поселке оценилась сука.
Вот нам наука! С заграницей связь.
Лечился доктор – помирал же князь.
Эти иронии, шуточки, юмор –
Все ухищрения ума.
Сеня все мыслил, Сеня все думал,
А оценилась сама.

Что-то должно быть такое, хоть тресни, -
Ром, запеканка, рагу?
Песня, наверное!
Слово без песни
Тихо на том берегу!
И стал он искать такие слова,
Какие бы сердцу прищлись,
Как бы врезались:
Орёл и Каховка, Бобры и Москва.
Алешня, маманя и жизнь, —
Пили, закусывать «брезгались».
И стал он науку к себе призывать,
Чтоб и ему помогла.
Рано ложиться и поздно вставать
Каждый день — тень на плетень,
Маленькие, да дела.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН»
(Марш академиков)
(начало)

«Пока не погибла Россия,
Не канули, не размелись,
Возьми на поруки, Мессия,
Спаси нас, научная мысль!
Бездарно-то как и бесцельно
Мильон исчезает за год.
Уж больно покорно со сцены
Уходит великий народ.
Вперед, академики! Слава, надежда,
Мозги наши, мудрость, вперед!
Пора, да поможет нам Боже,
Сплотиться, о русский народ!»
И все же в нем все легковесно,

Какая-то пустота.
Да песня ведь, всем известно,
Должно быть немножко проста.
Найти болевую точку,
И чтоб захлебнулись любовью
Две дочки, как бочки, цветочки,
А тоже не ГОСТ по здоровью.
А тут еще эти журналы,
Троллейбусные остановки.
И так догонять нам, отстали,
Поцокивают «подковки».
Кувалды, портреты на кузне,
Железное в Ренессанс.
Монеты погрязли, «огрузли»,
Легли в последний сеанс.
Утром – деньги, вечером – стулья,
Или наоборот.
Вон Жириновский – какие там стулья!
Всем по копейке дает.
Бедные, бедные, бледные лица
И господа, господа.
Как хоть такое могло получиться?
Как миллиард – так туда,
А кладбище – так сюда?
Как по журналам по «аховским» крошки,
Плюшки, лягушки, трава.
«Позарастали стежки дорожки»,
Не истощима молва.
Как по журналам по «аховским» пешки,
Кони, слоны, короли.
Веши и вешки, пушки в тележке,
Хоть из Итаки пали!
Вот и не знаю, что нагадаю,
Чем бы журналам помочь.
Средства все мимо – не подступима,

Как генеральская дочь.
Что ей зарплата, лишь бы солдата
Ей посадить на коня.
«Значит, ребята! Значит, ребята!
Не забывают меня!
Ухо тебе заласкают,
Как бы курок спускают,
А все-таки не пускают.
Что бы это придумать —
Фокус, иронию, юмор?»

* * *

И тут по закону жанра
Его понесло
В другое совсем ремесло.
Забыли, что конференция
Где-то когда-то готовится?
Участие, заявление, конвенция
Распространяются совестью.
Где-то на самой окраине,
Где электрички прут,
Этот — самый отчаянный
Молоховский институт
Тут, на Москве, не корыто,
Тут-то тебе и сюрприз.
Тоже своя элита,
Тоже свой верх и низ.
Тоже своя иерархия;
Как себя ни зовут,
Там МГУ — монархия,
Мир ее подданных тут.
Сами себе тенденцией
Держат могуче строй.
Вот такой конференцией,
Между прочим, шестой,

Обозначают свой рой.
Вузы по всей России,
От магаданских мест.
Как бы сказать покрасивей:
Тут тебя бес не съест.
Выступим после по секциям,
Скажем в науке свое.
Сеня не шастал по лекциям,
Сеня – артист, поет!

* * *

Идет, гудет зеленый дым,
Меняет темы, тризны.
Опять пошел по молодым
Наш Чигринев с харизмой.
Затем и ехалось в столицу,
Затем тут и собрались,
Чтоб в выступленьях воплотиться
И провести анализ.
Без званий – что они без званий,
Ничтожна и зарплата.
Вот корень сущего, призваний.
Любых признаний – не признаний
Доцента и прелата.
Все рвутся наверх – показать
Себя перед другими.
Он тут у них, как будто зять, –
Со стороны, с «чужими».
А все же «свой» – сплотила всех
Всеобщая наука.
Имея звание, успех
От капитана Кука, –
Исстрадаены, худы, бледны,
В президиуме стары.
А в зале (вот такая штука)

Девицы все, «клошары»,
Перед Арсением — кошмары
Так разыгрались! Как на сцене,
В сравненьи с молодостью стары,
А не хотят. Аж в пене —
Вот из Тамбова. Ну, и будь здорова —
И ее телка, и корова.
Все наше, в общем, молоко.
И, чтобы не прокисло.
Ведь ехалось так далеко,
Не глядя, блин, на числа!

XXX.

В предчувствиях заключенные
Нежные чувства и ощущения,
Мысли развороченные
Моего героя Арсения
Дали весну, новый подход
К бытовым сущностям.
Журавлиный полет
Тоски по маленьким грустностям.
Понимать начинаешь уж,
Возраст ведь
Приличен вполне
Для зиянья итогов, как кратера.
Девушка, выходя замуж,
Не думает,
Как потом уж
Ей становиться матерью!
Много сделано в жизни хорошего,
А хочется большего.
Если не вставить в обойму Польшу,
В культуре не пожить дольше,
Так и останется все
Припорошено.

Брошено – позаброшено,
Стрижено – кошено,
А не востребовано, неиспрошено.
Сколько театру отдал –
Крови, пламенных лет.
В ней молодые годы,
Вкус восхождений, побед.
Все, что в других, любое
Воспринимал, как свое.
Всех ведь своей любовью
Воспламенял, ё-моё.
Жизни людей присваивал,
Не выходя из роли.
Образы сдваивал, страивал,
Все наше в божьей волей.
Только теперь и понял,
Как он ту жизнь прожил,
Как он кричал «по коням!»
Что в себе обнажил?
Так бы и жил, лицедея,
Дома, на сцене, в кино.
Добрых, героя-злодея
И искусителя – змея
Изображал все равно.
Только подходит время,
Вот оно и пора
Сбрасывать маски, бремя,
Ара-барара-бара.
Это я так, для рифмы,
Не потерять бы темп.
Преодолею вот рифы –
Горд и доволен тем.
Вот уж просвет в тоннеле,
Вижу роман с конца.
Боже! Как мы смели

Перепахать сердца!
Сколько травы повыжжено,
Сколько души сожжено,
Но никем не обижено,
Значит, оно дано.
Свыше дано, богами,
Временем и людьми -
Все остальное сами,
Пламенны мы вельми.
А не поверишь — что же?
Ну-ка попробуй съешь
Рожь эту, что нам Боже
Дал в промежутках, меж
Слова, музыки, сердца,
Бьющихся в унисон.
Вот каков мост мой — с перцем!
Где-нибудь под колесом
Мой Чигринев Арсений,
Иль под бугром, горой
Тризной из потрясений.
В возрасте уж, осенний, —
Наш современный герой.
Вот его тень — диссертация!
Новый завет и сдвиги,
Подвиг во имя нации
Всей человеческой грации —
В слове, в натуре, в кино!
В каждом — один за троих,
Не вымираемый миг.
В каждом — из бытия
Суть натуральна, своя!

* * *

Эта преамбула для чего?
Чтобы дойти до того,

Почему это Чигринев —
Артист наш народный —
Стал такой сумасбродный.
Во другое пошел,
За французское взялся,
Так в переводах старался. —
Очень хорошо!
И сам «Антологией» созидался,
Вместе с Артуром Рембо.
Так в Рембо проявлялся —
Ей-бо...
Вот раскован, заметили?
Как те же французы.
Нет им в форме обузы,
Надо — подсократим.
Этот Рембо непобедим.
Как сказал Помпиду, —
Что имея в виду?
Президент бы постоянно ясен:
Мол, неправильный, а прекрасен!
Но чего же
Праведный!
А почему, почему?
«Пьяный корабль» его —
Это же Одиссей
В самом детстве,
По волнам бегущий.
Из Трои плывущий —
Со мной по соседству.
Боже! Я просто от счастья
Офонарел, от морей,
Что принимал участие
В судьбе Рембо, Арсения
И моей.

* * *

А диссертация пишется, пишется.
Вот уж где-то читается,
Легче дышится.
Вот уж и прочитали,
И что ты понял?
Это все хорошо, детали.
Исправим, и крышка.
Главное — что?
Главным себя не проняли,
Не приняли квинтэссенцию, самую суть.
Матушка, не обессудь!
Но ты же была при этом
Не в середине где-то,
А в первой трети —
До Пушкина, с которого
Реализм в фантастическом
И начался.
Где-то в Госдуме Слизка,
Жириновский там же,
Говорят, в своем вкусе.
Локоток близко, близко,
А никак не укусят.
Вот и таранка низко,
Да в закон о пенсиях вкралась ошибка:
Нолик — вроде бы ничего, «зеро» —
Себе от других переставили.
Себя — к «Андрею»,
А тех, других, к «Амфиарею» —
Представили,
И ничего.
Головушка не болит
Ни с того, ни с сего,
Вне европейской конвенции...
Вот об этом и скажут на конференции.

* * *

И говорили. Сказали.
Что же это мы так живем –
Худо-бедно.
До прожиточного минимума,
До шестидесяти никак не дотянем.
Настояли на том,
Чтобы пенсию давать лет на пять раньше,
Чем завалится дом.
Чем превратится утро в туманное,
А то ведь не доживем.
Нам – по сорок даже до минимума,
А себе-то семьдесят
При великой зарплате.
«Херувим!
Вот почему оно третий Рим!» –
Догадывается, наконец,
Чигринев Арсений.
Вот молодец! Ну, неповторим!
Догадался-таки почему третий Рим.
Ранние христиане
На Тибете тогда возникли
И сюда с Христом перетекли,
Чуму занесли.
Нерон сжег и их, и сам Рим,
Лучшие из зданий.
И Константин перенес первый...
Сдали нервы...
Туда – во второй ушел, в Византию,
Принял меры...
Из католической, римской
Сделал православную, греческую...
И вот теперь, говорят,
У нас, в Риме третьем,
В Казахстане где-то

Возникает новая эра —
В мифах, в лицах,
С новым провидцем.

* * *

В президиуме не то, чтобы
Цвет науки, славе подобен,
Но все же с книгами, люди ученые,
Ректор ведущий, всем удобен.
А молодая рядом, тоже доктор,
Дочь какого-то ученого,
Сидит и кое-когда поправляет
От имени молодых,
В пах и дых,
Своя вроде бы в доску,
Изображает тут «эскимоску»...
Арсений встретился взглядом с ней —
Вспыхнула, день затмился,
И Арсений на склоне дней
Понял вдруг, что ... влюбился...
Сидит далее, смотрит украдкой,
И она сюда, тоже поглядывает.
В перерыве ушел для порядка
От такой ситуации кадровой.
«Дай — думает, — чуть пораньше
К знакомым одним тут,
Землякам адамовским,
На ночевку поеду.
Подчитаю на завтра кое-чего,
Бон жур, вери мач, уйгур, —
Утром секция.
Доклад.
Проводить беседу.
Про то, как поживает МУР
И что такое «протекция».

Главное, что «Ревизор» не реализм,
А фантастика в реализме.
Понаставляли науке клизм,
А она еще когда впереди — с Аристотеля,
С Пушкина и так далее.
Клизма на клизме.
И по сей день, как тень,
За поэтами своими. Пристали.
Как иголка за ниткой —
Еврипид с «еврипидкой»,
И почему его собаки загрызли?
Ведь учителем был царь Филипп — отец
Македонского.
Старость не в радость. Медведи гризли
Рыбу ловят вручную у моря Японского.

XXXI.

С Таганки — до Молоховского института
Трамваем ехать, почти до конца.
В пробку попал перед тем,
Дорога каждая минута,
А тут пробка до самого института.
Посмурнел Арсений
Спал с лица:
Опаздывает ведь,
Секция начинается
Ровно в девять.
Знамениты московские пробки!
Пробка да пробка —
Не поедешь торопко.
Даже слуги народа,
Эта думская челядь,
И та стоит на Таганке.
Кто задержится,
Так тут и содержится,

Вот, понимаешь, свобода!
Оставив в раздевалке плащ,
Чтоб не попасть в историю.
Постучал и вошел он в раж,
В нужную аудиторию.
— Боже, кто! Это она!
Облик свеж, но не съешь,
Не какая-то пицца,
А вчерашняя Бангладеш,
Эта из президиума докторица.
— Вы? — взглянул он кратко —
Из-под бровей.
— Мы, — качнулась косынка на ней,
Как у Майи Кристалинской на шее.
— Пробка московская, аква вита,
На весь мир элита.
Присел, огляделся — знает кого?
Ух, какие! Полный состав, все двадцать,
Даже из Магадана тут,
Представляют Козина.
Девушки, женщины!
Давайте влюбляться! Какие данные!
Март же, а все такие серьезные,
Одиозные,
Не сыпьте же соль на раны.
— Вы сюда? — спросила. —
Зачем? Вы же артист.
— К вам, — сказал он. —
По театрам носило.
А теперь... Вот! —
И положил перед ней лист.
— А это? — показала глазами
В угол ему на портрет. —
Ваш?
— Да нет, —

Замявшись, ответил он даме,
А сам к медальону приник.
— Нет! — повторил. — Мой двойник.
Медальон задышал и поник.
Так и сидели бы,плыли
По волнам памяти,
По всем концепциям сразу.
Он уголком чувствовал были,
А она по экстазу,
По науке себя вела....
— Из Орла?
Ну, летите,
Про фантастику говорите,
Про своего Садуля.
— Это сегодня в моде.
— Во саду ли, — усмехнулся он, —
В огороде.
Понял он, что попал в свою треть,
А вернее, в их четверть века.
Понимала она не то, чтобы смерть,
А фантастику человека.
Но была не из того института,
А вернее — из университета.
Совпадали глаза и ресницы — лоза,
Та же минута, лето
Отражали прошедшее где-то.
— Вы молодая, — сказал он ей пошло. —
Давайте говорить о будущем,
А не о прошлом.
Посмотрел на часы: время,
Поезд, в кармане билет.
Белый Дом с утра,
Здание, где заседание,
И — паркет.
— Мне пора.

— Жаль, — сказала она в ответ. —
Тем не менее,
Обсудили бы ваше стремление...
И он ушел. И пели птички.
И в капюшон ей пали спички,
А где-то вспыхнуло — пожар,
Землетрясение, цунами.
«Но, — как сказал один поэт,
Писавший нескончаемую повесть, —
Захотел согрешить — согреси.
Но!.. «Оглядка на долг и на совесть
Гасит лучше свойства души».

* * *

Все жалел, воспоминал в миноре.
Представлял тот шкаф — ее портрет
И себя там где-то на заборе,
В ореоле снов и эполет.
Если бы пожил еще Печорин,
Достоевский через столько лет,
Чтобы делать нам, товарищ Шорин?
Отмечать вас в Белом Доме — нет?
Пробки же московские. С шампанским.
Та мадам, мне кажется, Клюко,
Очень даже в чине капитанском
Штосса провожает далеко.
Очень даже может быть сегодня
Покачнется где-нибудь пейзаж,
И у нас какая-нибудь сводня
Сотворит из образа мираж.
Ну, и пусть! Опять в моем миноре
Выпадает оптимизм ее.
Дочь кого-то, самого Оноре.
«Жаль», — Бальзаков голос из нее.

* * *

Ритм тебе надо переменить,
Уходить от романса.
Оборвать эту тонкую нить —
От артиста миманса.
Придумал же образ дивный,
А тут все оно просто!
Зал был, как Белый остров.
Сплошные ливни,
Невесты царские. Одни девицы тут,
Учительский институт.
Магистры и бакалавры...
Та, в капюшоне, докторица,
Опровергая стили и нормы,
Раскрывала суть, куда ведут нас реформы.
Обратно в хаос?
Вопрос был из зала ей:
— А почему все же одни тут девицы,
А где ребята?
— Там, где — зарплата,
Работа!
Глядела в лица,
Сняв свой капюшон.
Подписывал обращение,
При этом применяя мел.
А он — где он в тот день сидел?
Звонил в свой Белый Дом
И оставлял им сообщенья.
Судьба по снам их так и разводила
По разным берегам одной реки.
Он выступал от Ие-гу-диила,
А ей свергать их было не с руки.

* * *

Сидел весь какой-то зачитанный,
Зеленый, бумажный.

Как Штосс этот — желтый, седой.
И только однажды в вагончике, важный,
В окошко он заглянул,
В суть всей этой мафии сверхскоростной.
Фантастика? Да. Перед ним проплывали
Таковыми-то буквами
Слово такое:
Замедленное, с море длиной.
— Чай или кофе вам?
— Вот оно, видите, «Фи-ло-со-фово».
И мысль его стала иной:
«Куда несемся и чего несем,
Кентавры, в запредельный оком?»
Вон снег по буквам философски тает.
Так все-таки чего нам не хватает?

* * *

Обратно нестись уже стало традицией.
Приехал. Пришел. Снизощел.
На красный прошел, пообщался с милицией.
И это, и то — хорошо!
Не то хорошо, что цитату нашел,
А то, что и без цитат
Живем, лицемерим, все деньгами мерим,
Соломку жуем, как какой-нибудь мерин,
Слегченный его коспромат.
Он тем компроматом
Унес мирный атом
С чернобыльских наших полей.
Из банка бумажку
Надел на подтяжку,
И стало еще веселей.
Кто был миллионщик,
В бумажник потолще,
Вобще, для принятия мер.

Вложил всю сноровку.
Произвел блокировку
И сделался, госс... поди,
Миллиардер.
Прикрыли туманом
Милльярды с обманом
Из всяких разрозненных мест.
И очень заботятся,
Чтоб в имя и отчество
Не вкрался исправленный тест.
«Ни тени сомненья —
Зачем исправленья?
Да, госс... поди,
Будем и так
Туда продвигаться.
Давайте же гнаться,
Где только что были,
Забыли, забили,
Хотите купаться?
В зеленом и сером
По всяческим эрам,
Баран мой — барон Кавиньяк?»
Такие стихи для детей
Арсений в вагоне составил,
В вагоне стихи и оставил,
Едва в Философово вдруг
Все в том же составе
Он глянул на принципы букв.
Летите, бумажки,
Летите, канашки,
Вздувайте товары и цены!
А мы — где и надо.
Где дверь и ограда,
Живая эстрада,
Преграда, бравада, награда,

Закатывать будем вам сцены.
Давай же, баллада!
В хвост — гриву парада,
Кому это надо,
И вот!
И мощный атомоход
Уж колет нам лед,
Где надо! Где надо,
Звучи, серенада!
Наука, эстрада —
Моя серенада, вперед!

XXXII.

Приехал в Москву, на вокзале остался.
Бомжиха к нему подошла:
— Желаете куртку?
Вот эту тужурку.
— Похож в ней на урку,
А был ведь похож на орла.
С бомжами остался,
Обтерся, канался,
Прошелся еще и еще.
Под них приоделся,
В проход загляделся,
Какплыли
Монеты, бумажки, канашки —
В карман, в целлофаны и всем на фуражки,
Да просто на ляжки,
А это нехорошо!

* * *

В журнал «Вопросов»
Снова он собрался,
Но позабыл, как к ним туда идти.
Гнездиловский он помнит —

От Тверской,
Чуть ниже Пушкинской.
Направо, если к Кремлю.
Как пламень в домне,
Он шел, взволнованный, словно в семью,
Условно чувствуя какую-то «свинью»,
Которую могли там подложить,
Когда собой не дорожить,
Переть им напрямую
Всю жизнь свою кривую.
Спросил у Пушкина – куда?
Поэт служил ориентиром.
Но, видите ли, вот беда,
И тот забыл к кому, когда
Он прочертил себя пунктиром.
Когда исполнилось сто лет –
И был воздвигнут этот дед,
Уж в наше время
Пушкин явился еще и в Питер
И встал на пьедестал,
На Русской площади –
Кристалл!
Отлет руки, души полет...
Тот Пушкин – это Аникушин?
А этот, что ли, – Опекушин?
Или совсем наоборот?
Какая разница, вот безобразница!
Судьба поэта увела в народ –
Вот главное что, вот!
Содвиглось здание со зданьем
И мирозданьем с мирозданьем,
Вдруг перепуталось картина.
Он заблудился! Вот детина!
Чтоб исказилась так картина!
Вот угол дома. АПН

Горёл когда-то. Был пожар.
Плясать попробуем от стен.
От петуха, что пробежал.
Но все же Пушкин — он помог!
От глаз его и оттолкнулся.
Уж на Гнездиловском проснулся.
А дальше что? Какой порог?
То ГИТИС со своей общагой.
То все забор, забор, ремонт.
Такой дорогой, ни в зуб ногой,
Он и воткнулся в этот дом.
Так по московским адресам
Когда-то и бродил я сам.
Искал спасения и веры,
А прутья все, «милисьонеры».
Железа много, мало дам.
К душе стремился я, к устам:
«Кому-то дам, кому не дам».
Кому, мадам?
И только тут уж, где решетки,
Этаж десятый на замке,
И осознал в нем Пушкин кроткий,
Что где-то тут месье Трике.
Когда, как пень, искал квартиру,
Какой-то вылез из сортиру,
Где хулиган, или скинхед,
На стенке рисовал портрет.
— «Вопросы» тут? — спросил Арсений,
Не выходя из потрясений. —
— Вопросы тут, и очень много.
В любой квартире есть вопросы.
Вся из вопросов, блин, дорога.
Суем свой нос, строчим доносы...
А, в общем, дело, кажется, табак.
Все ходят по Тверской куда-то мимо.

Едва пойдут — уж нехороший знак.
Опять качаем мы устои Рима.
Этаж. Решетка. Дальше ехать некуда.
Доехали. Теперь подходим к браме.
Все тот же скрип и дверца «дрекова»,
Как говорят, у нас там в Алабаме.
В Адамове, как и в Орле, конечно,
Свой колорит, свое мышление, стиль.
Свои уж тут приписаны навечно.
До зама только и добрались,
Тут сдали свой «утиль»,
Про «Ревизора» написали редко.
Фантастика! Вся в реализме клетка,
А крысы черные зерно и тут метут,
И Ляпкин-Тяпкин вывесил свой кнут,
Так называемый «арапник»:
Он — «ляпни», а ты попробуй — «тяпни»...
Централ, этапник...
Смирнов, имбирь
И — матушка Сибирь...

* * *

Едва ступил Арсений за порог,
Как, гляньте! — Кто же? Да, Боже!
Едва не сшибло Чигринева с ног.
Какой пассаж! На что это похоже!
Та докторица. Выглядит неброско.
А все-таки какая «эскимоска»!
И чья-то дочь, и — аж мороз по коже.
— Вот где и проведем беседу, —
Сказал он ей — Арсений Чигринев. —
А то все еду я и еду
Сюда, в журнал,
Никак к ним не приеду...
Я что — не то сказал?

— То, то, конечно! — и засмеялась
Эта докторица. — А вы — артист!
— А вы у нас артистка!
Какая киска,
Недавно с обелиска.
— Смеетесь все над бедной, бедной...
— Лизой?
— Да, Лизой. Как вы угадали? —
Сквозь тень ресниц
Чуть усмехнулся он. —
Одна по обе стороны медали —
Вот, Лизанька, вы кто!
Смеялась докторица от души,
Куда и делись
Эти палаши,
Какие из нее гляделись
Там и тогда,
В той, собственно, тиши.
— Вот прихожу все
В «аховский» журнал. —
Он ей сказал. —
Вот все хожу, хожу.
Статей уж десять написал,
Но он всего одну лишь прочитал.
— Кто он? — она сказала,
Венера посеред вокзала.
— Да этот, — показал он ей на дверь.
— Мой аспирант.
— Какой талант!
Таких вот аспирантов
Набрать сюда из сонмища талантов?..
Через минуту распахнулись двери
И появились усики и бусики.
Но будь умерен,
Арсений!

Не выходи из потрясений!
Чтобы потом полегче было жить.
— Вас освежить? — сказал им он,
Которого Арсений
Знавал лишь в телефон.
— А вы — Артист? --
Он бросил Чигриневу мельком,
Достав флакон.
— Вот! песня!
Сказал ему Арсений
— А не банально?
Читаю еще раз вам — специально.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН»
(Марш академиков)
(продолжение)

«За то, что не спели красивой,
Что как-то легли невзначай.
Прости нас сегодня, Россия,
Из завтрашнего выручай!
Вперед, академики! Совесть, мессия,
Мозги наши, мудрость, — вперед!
Пока не «сгинела» Россия,
Не сгинет и русский народ!»
Стояли. Окно приоткрыли,
Услышали в форточку гром.
То молнии первые били —
По крыше, под форточку, в дом.
И рядом какие-то массы
Опять до Манежной,
Тверской —
Они надвигались, как прежде, —
Поток океанский, людской.
Уж если в России возьмутся



Все сами тут строить судьбу,
Так все в океан окупятся,
Очутятся где-то в гробу.
Страшней ничего нет на свете,
Чем храм на крови. Позврослев,
Играют оружием дети,
В огонь перейдя на совсем.
Они надвигались, как прежде, —
Поток океанский, людской.
Арсений от самой Манежной
Шагнул в кабинет со статьей.
Табличечка «Главный редактор»,
А в их иерархии — царь.
Ни аргумента, ни факта.
Глаз подзадержался, как встарь.
— Сударь, камрад, э... товарищ! —
Гас за спиной его крик.
Звезды на башне вращались
Вкруг этот Лилии Брик,
Лизы — ее безусловной харизмы.
Комнаты ею тут освещались,
К ней Чигринев и приник.
Не было главного.
Тоже Гавайи? Берег Лазурный велик.
Мартовский клин, журавлиные стаи,
Через Москву, через центр, пролетая,
Курс пролагали на свой материк.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ

XXXIII.

Пока в журналах «аховских» статьи
Лежали, может, в забытьи,
В Орлове он и обретался,
На зуб тут кой-кому
Попался,
Идиот –
Так до сих пор под прессом и живет.
Так лично он считает,
Ну не сосед же, что с ним рядом обитает.
Какая харизма! Какая харизма!
Какие в буфете блины!
Какие движенья, броженья!
Законы и положенья,
В буфетах сотворены!
Партийность и гарантийность,
От блох, тараканов, от всяких изъянов.
Свобода и клизма, портфель и отчизна.
Опять игра. Как мышь в пустой квартире
Опять один на целый Белый Дом.
Театр напротив,
Но в подлунном мире
Единственно собой обворожен.
Арсений и туда давно не ходит.
С артистами хотя и был знаком
Их тридцать пять, как и должно быть вроде,
Оптимально, вполне реально,
И по составу как бы «избирком»,
Панкреатит, панкреатив!
Весь всероссийский этот коллектив.
У Гриши как у человека была не только железа,



Но и слеза,
А как у режиссера —
Слезница.
Не мог с артистом он взять и проститься.
Вот и набралось их уж восемьдесят пять.
Как армия опять,
Чтоб вместе воевать.
Как Керры, сферы греков
И манны римлян.
Ушедшие вновь закружились.
Опять вернулись, где-то перед ним
На диске человек
Записана вся жизнь.
Не очень длинно;
Жаль, кратко вот у Гриши получилось.
Три парки — три мойры,
Богини судьбы,
Ту запись нечаянно стерли,
Всем тем, что идет за ней на беду,
Все то, что записано нам на роду,
И вот они все перемерли.
Дай, Боже, народу пожить —
Себе к небесам причаститься,
Под землю не опуститься
В геенне с врагами не быть,
В полыме не раствориться...
Сегодня ведь, кажется, Радуница —
Годовой день поминовенья усопших.
Народ на кладбище тянется,
Оно — то, что есть у нас общее.
А тут опять «на ковер», как положено,
Да сколько можно...
Пройти бы хотя в часовню
Свечку поставить,
Вспомнить родню поименно...

Прости, мать, у нас ты тут в Чигриньках,
Отец где-то на Соловках,
Подколодник,
Прости Русь мою, Николай — угодник...
Господи! Прежде чем идти туда, наверх,
Дай хоть слово Богу скажу.
Помолюсь, —
Тихо-тихонечко, шепотком
Или совсем про себя,
Чтоб другие не слышали.
Дай начну, а потом когда-нибудь и продолжу.
Вот хоть это —

«ИЗ МОЛИТВЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ» (первая часть)

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет настоящий день.

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи принимать их со спокойной душой.

Во всех моих делах и словах, господи, руководи моими мыслями и чувствами... господи, господи, господи...»

* * *

Все-таки вызвали «на ковер»,

Прочитали молебен свой —

Светский.

Тоже мне, хор половецкий.

Ты, говорят, что это в Москву зачастил

Без предписания, лично?

Явился, говорят, там к тебе какой-то «Иегудиил»,
Столичный.

Диссертацию пишешь, а зачем?

Чего тебя не хватает?

Видишь? Элита мы, владеем тут всем,

До границы с Китаем.

А ты опять недоволен чем-то,
Все в тебе,
Все тебе нехорошо,
Ходишь лесом,
Демон, мимо скалы.
Позвал бы, что ли, домой регента,
Батюшку —
Отпели бы, отогнали бы бесов,
Освятили б углы.
— Ишь какие, — говорит Арсений. —
А сами ведь атеисты.
Когда в церкви были?
— Чаше тебя ходим туда,
Мы перед Богом чисты.
А сами Покровский собор
Взорвали тогда...
Вот такой вышел у них разговор
Так Чигринев и отвел
Бось-небось от своей диссертации,
Написанной по поводу Жоржа Садуля и
кинодеградации.
Однако поставили все же
На вид.
Так теперь и стоит.

* * *

А предвыборная компания,
Шла, между прочим, своим чередом —
От имени и по поручению
Для промыванья мозгов
И самого здания, где Белый Дом,
Посредством заседания в нем, —
Поняли или нету? —
Чтобы был поближе к буфету.
Чигринев, конечно, тоже в этом участвовал

Как участник всей этой компании.
«Братцы! Охватим весь город!»
В этом смысле, тоже летящий,
Вящий, зрящий в день подходящий.
Днем бдим, а ночью спим.
А именно ночью
На Октябрьской улице где-то,
Где «Веселый Роджер» -
Джон Сильвер и так без ноги,
Взяли и снесли стойку от буфета,
То ли взорван торт,
А то ли попутал бес, черт,
А то ли съелась конфета...
Одни средства массовой информации
Промолчали,
Другие – с предстоящими выборами
Это связали,
Дескать, нужны новые лица,
А прежние и так успели уж
Налопаться, обогатиться,
Аж начали лопаться.
Пусть хоть другим
От торта что-то
Достанется.
Сердце разбито, голова набита –
Ходит Чигринев от коллектива до коллектива,
А как же, как же, он же Альтернатива
Как это тебе не шито-крыто,
В период разгула совести и демократии.
Такие-то акции
На десерт... акции
Для его диссертации.
Опять свели вместе
Его, Артиста, и Полковника Серого,
У кого он в Альтернативах.

Выступай — хоть тресни,
Промывай мозги нации.
Привлекай — данные из диссертации.
А Полковник Чигринев с ним вместе,
То берет,
А то привлекает.
То привлекает,
А то берет.
— Вот у вас, в сельском районе. — говорит, —
Какое население, сколько вас?
— Да, — говорят, — тысяч двенадцать.
— Привлекаем, — говорит, тех кто берет,
Таких под три тысячи в год.
Арсений слушал, слушал,
А тут его как подменило.
Вскочил, «яблоко» скушал,
За СПС взялся и говорит:
— Милай!
Да за сколько же вы свой район-то весь
Привлекете?
— Привлечете, да? — отвечают ему именно так,
В год Русского языка.
А потом что-то щелк в мозгах, оземь чмяк,
И — пока.
Ваше Величество,
Чубайс отключил электричество!
А «избирком» областной —
Уже по составу новый,
А все также, действуя,
Стоит, когда голосуют,
У урны.
Такой же «поток бурный»,
Ловкий в своей профессии,
Пока пылинки с него тут не сдуют.
«Ну, что делать? — мыслит Чигринев

Широко, категориями. —
Опять стоит, будь здоров!
Такое горе!
Подыскали бы другого человека по имени Боря». —
А смеху-то никакого.
Плохо что-то стало Арсению,
Плюнул он на пол,
Растер каблуком
Да и пошел было к двери,
А «избирком» кричит:
— Ты куда? Посадим на кол!
Возвращаться уж будет
Некуда
— «Берия!» — думает Чигринев. — Берия!»
Сел за дверь и молчит.
Кровь останавливает, хлынувшую из носу.
Тенденция к тенденции,
Вопрос к вопросу.
Нет, какая естественность!
Весь в отца, без дураков,
Дурная наследственность.
Не видит ничего дальше своих Соловков
И собственного носу.

* * *

Отделился от этой компании,
Выступал тоекратно раздельно.
И в предвыборной той кампании
Вопрос ставил лично и артельно.
Заметили? Как говорить-то стал
В год Русского языка —
Ближе к массам,
Подалее от очищенного, дворянского,
Ушедшего в прошлое
Вот какое времечко —
Дошлое! Бьет в самое темечко.

XXXIV.

«Что человека делает человеком именно? -
Играл — поигрывал Чигриневым Бес. —
Список длинный. Но укладывается в три «ЭС»,
Фирменно»...

«Страх, совесть... и что третье? —
Спрашивал Беса Арсений, —
Заметил.

Это, когда с агрессией на дорогах
Борешься»

— «И так хамства уж не метет веник,

Мои люди, везде, все тени», —

Зевал Бес искусственно, но смело,

Оглядываясь вокруг то и дело.

— «Так что третье-то «ЭС»?

Свобода, страсти, сомнения?»

— «А я? Сам Бес? Но только,

Если слово взять наоборот»...

— «Себ»? — осенило Арсения.

«Еще «Е» добавим, — играл Бес в слова, —

И получим, что надо.

Знак нашего времени.

Многое включает в себе,

Многие носят».

Усмехнулся Арсений:

«Ну, что ж, «Е», так «Е»...

А как насчет Альтернативы,

Полковника Серого?»

Закрутился на месте Бес,

Заблеял по-козлиному: «Бе-е-е...»

Да и в Полковника влез,

В Альтернативу и превратился,

А потом и совсем исчез.

Одно только третье «ЭС» и осталось,

Серое малость...

Встал Арсений со скамейки,
Что напротив театра,
Потянулся, аж косточки затрещали,
Зевнул, огляделся —
Вокруг никого.
Нет ни Беса, ни Альтернативы.
И уже не весна, а лето.
Что ж, приснилось, плохая примета,
Дымовая завеса:
Наоборот читать Беса...
«Что бы это значило?
Кто в информацию — свое дурное —
Для него скачивает?..
Давно уже, как в кино я.
Корчусь от боли
В характерной роли.
Надо что-то решать
В горячке белой:
Куда бежать
И что делать?
Прошло вроде бы все давно
И забылось, в угол забилося.
Да вот опять же, опять же оно —
Хлопнусь о пол затылком,
Руками заколочусь, —
Скажи на милость...

* * *

Ритм стремительно набирал оборот.
В ритме что-то скрутилось.
Колесико какое-то, кадр двадцать пятый,
Одетый в латы в виде рыцаря
Во имя мира
Из Древнего Рима. —
Вот это в чем проявилось...

Мистика, а в цифровом,
Сотовом как реальное появляется,
Кается, мается...
Пора! И у Арсения возникает решение:
«Пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора!»
И Бес убегает, а он за ним
Гонится, гонится —
До самых Бобров, до околицы.
И все потом с точностью наоборот —
От околицы:
Он идет, а Бес от самых Бобров
За ним гонится.

* * *

«Бремя оков». «Страной дураков»
Нас таких обзывала, метила
Европа практичная, прагматичная,
Особенно до весны пятьдесят третьего.
Колонны и лагеря, лагеря за колоннами.
Умные больно, умом не малы,
А давали класть себя миллионами —
Под секиры и в Беломорканалы.
Жизнь человеческая у нас копеечкой была всегда,
Упадет — поднять не захочется.
Устилили телами Петербург, вокруг Москвы города,
Да и деревни чересполосицей.
А раз так сами себя,
Так другие еще похлеще.
«Чуть что голову на полотенце,
Да в яму всего тебя.
Сталин — концлагеря,
Бесплатная рабсила
По лагерям нас носила.
Гитлер — печки, Освенцим»...

Стоит Чигринев Арсений
У Медного Всадника —
Только в Орле,
Только камню,
Только генералу Ермолову -
Предполагаемому, в планах.
А так все ладненько,
Как кинофестиваль в Каннах.
Будет нам памятник
У Орла на крыле,
Генерал на коне
У моста — долгостроя
Голого.
А скажите, сколько человек
По стране положено
С той и другой стороны,
Сколь душ загублено кротких?
Так положено!
Так положено!
Тысяча на две сотни.
Вот что сказала Катерина Великая:
«Ничего, русские бабы еще нарожают».
Уж малы народом стали,
Спали, устали ликами.
Да опять же с левой ноги встали,
Да все там же и так же
Зурабовы
Человеков-то обижают.
У «зебры» редко кто остановится,
Перед женщиной с коляской шапки не скинут.
Просто сердце ломится,
Когда говорят, что там, наверху,
Пенсия тысяч восемьдесят.
А тут около двух...
Братцы! Господи!

*Древний Рим!
Что творим!*

* * *

*Говорят, большие писатели —
От больших комплексов.
Достоевскому полчаса подержали петлю на шее
И сбросили — правдоискатели,
Комикс римский
В переводе на свой, отеческий.
А он с петлей на шее после всю жизнь ходил, —
Ворожея!
Отпрыск божий!
Сын человеческий!*

* * *

*Я почему все это так говорю —
В открытую публицистично?
А потому что негде сказать больше,
Когда творю.
Знаю, что говорю:
Боли — лично.
А в романе, чувствую, можно,
Как Рошаль, кладу в магистраль,
Когда чересчур уж тревожно.
Роман — это чудо такое, из позапрошлого века
С переходом в двадцатый, двадцать первый,
Млечное — в бесконечность.*

* * *

*— И только ты, Боже! —
Повернулся Арсений
К храму Михаила Архангела
И перекрестился все же. —
Только ты жалел людей,*

Сделал Русь изначальную,
Такую печальную,
Русью Великой, духовной,
Как кинолентой,
Спасая от вождей языческих
До царей и генсеков,
И президентов.

* * *

Тот, которого называли Серый Полковник.
Или будущих выборов Альтернативой,
Просто был обыкновенный чиновник,
Но гибкий – с инициативой.
С мягким, как говорится «дискон памяти».
То есть мог катить бочку
То в одну сторону, то в другую.
Так вот, он в пургу,
При снежной погоде, мог любую точку
Обрезать, как крылья ворону,
А потом, попробуйте все это представить, –
Крылья эти приставить
И покатить бочку
В обратную сторону.
Такие работники особенно ценны
В пространстве от Попокатепетля до Сены.
Прием такой существует – кадровый,
Еще с Древнего Рима.
Двух ведут в атмосфере адовой -
Белого и черного дыма.
То один, то другой заново
Добавляет себе,
Чего ему не хватает.
Черный, то есть Серый Полковник,
Читал Боборыкина и Катаева.
Белый – ныне Тиганов Егор или Арсений –

Предпочитал классику,
Часословник
И ход мыслей без потрясений.
Черный, бывало,
Боборыкина представляя,
Чего только не наизображает,
Виртуоз, в мыслях прямо-таки летает,
В конце концов, кричит:
«Я уже изоврался,
Дай-ка передохну!»
А его еще выше за то
Выдвигают.
А Белый — вроде Арсения —
Сидит и молчит.
Чего ему, классика всякая,
И так все знает,
Как тот в мыслях витает...
Какая разница — безобразница!
Между Белым морем и Черным,
Перцем сладким и горьким,
Если пересчитать по зернам...
А Терминатор умеет считать, читать
И даже писать,
И плясать.
Инициативу вели и надеялись,
Даже сделали заодно
Главой партии «Слава единорога»,
Чтобы с Арсением, тем не менее,
Не сошлись, не склеились,
Как в кино,
Ей — богу!
Этого всего Чигринев не знал,
Не предчувствовал даже,
Но, когда Терминатор попал,
Как говорится, на бал,

У урны предварительно постоял
В пользу Альтернативы,
А не Чигринева Арсения,
Так Арсения после того
Как бы перекосило.
Настолько, что уехать решил на Мальдивы —
Фольклендские острова,
Как та сахарная голова,
Что унеслась на Гавайи
В трамвае.
Оказывается, Серый в яблоках
Конь вороной, половецкий,
Состоял в Орлеане,
В том же доме, что и Питецкий.
Да, Питецкий не даром.
Все остальное — за кадром,
В том числе и его мрия —
Чигринева Мария.

XXXV.

«Идет, гудет зеленый шум,
Зеленый шум»...
«Один такой я положил на ум,
А два уж там,
А два уж там,
По самым ветреным местам»...
Арсений приготовил себе
Песенку
Для «Веселого Роджера», киллера.
Ни разу там не был — у Джона Сильвера,
Который все себе да себе,
Как, впрочем, и все «Любе».
А ведь «Остров сокровищ» с детства
(В обложке кожаной) —
Дома лежал у него на столе

Перед завтраком и обедом,
С хлебом по соседству.
А когда ел без хлеба,
Так опять — таки было все это на уме —
Между сном ночным и дневным бредом.
«Иллюзиями» тогда считали, говорили про это,
На свиноферме, мол, где-то
Кого-то съели,
Одна варешка и осталась,
Потертая малость.
И вот, когда улицей летом
Свиней таких жутких
По улице гнали,
Так всю люди аж на заборы
Понависали.
«Гнида! Просто коррида!
Гнида! Так было,
Сам видел, а не делал вида»...
Это опять-таки на уме.
Арсений речь свою составлял
Альтернативе.
Даже рифму вставлять забывал,
Думая про Мальдивы.
А теперь к этому пропал интерес,
Меньше ритму, роман же свободный,
Форма такая, — больше думая
Про свой лес,
Про «Веселого Роджера»,
Про Джона Сильвера на деревянной ноге.
А вчера позвонили и просят
Выступить в школе,
Докатился до школы.
Там, тем более,
Будут, говорят, из института усовершенствования,
Лекцию читать про всякие бедствования.

При малой зарплате
В каждом доме и хате.
— А про Пушкина, — говорят, — знаете?
Вот и скажите.
А то все про пиратов,
Пират у всех на пирате.
Про Пушкина — говорят — надо
Всех разбирать слегка
В год Русского языка...
Думал, думал Чигринев Арсений —
Герой наш, не «Евгений Онегин»,
Тоже Альтернатива, но на поэтическом берегу.
Попроще — кукушка в березовой роще,
Росточком пониже — к нам сюда маленько поближе,
А так тоже ничего себе —
Народный артист, к народу тянется, вижу.
Где асфальт пожиже.
Да Чубайс этот рыжий
«В милой березовой чаще»
Лампочки отключает все чаще...
И вот что Арсений,
Сидя в Орле,
Уходя в иллюзии от превыборного
Зеленого шума этого
Надумал, начередил,
Отразил в актах,
В своих аргументах и фактах.

* * *

«Перед кем выступать-то
И что говорить?
Дети — школьники,
Учителя — чести своей и чужой невольники?
Да еще эти вот... ол-ля-ля!..
Из института усовершенствования...»

Око государево.
Боятся надо единственного —
Когда дрожит на дороге марево...
Ну, и как все это объединить?
Не оборвать бы нить.
Видали фильм — «Моя морячка» называется?
Так там Державин и Бурченко,
Как все это представили?..
Душа мечется, мается,
Как Арсений старается!..
Так вот, Бурченко и Державин
(Так лучше рифмуется),
Известные люди в державе,
Сами при этом
Вроде бы не при чем,
Так они в концерте своем
Песню вставляли,
Людей петь заставляли...
Блеск! Бурлеск!
От искр на ладонях треск!..

* * *

Школа элитная, под именем — Гете!
Не школа, не лицей, а гимназия.
Высший класс, все тут в работе.
Знают даже, что такое античность, Аспазия.
Перебрал Чигринев по памяти всего Пушкина.
Знает, что национальный гений,
А как чтоб он был с ним на сцене?
Чтобы пела душа-то его и кукушкина?
Хотел уж магнитофончик —
«Япошу» своего — с собой прихватить,
По музыкальной линии дело пустить!
Вот он какой фараончик,
Знает оперы от Пушкина «Евгений Онегин»,

«Пиковая дама», «Каменный гость», «Русалка»,
Трагедия «Борис Годунов»,
Романс, посвященный Анне Петровне Керн,
Свои романсы,
На пушкинские слова его музыка...
Да и решил по другой линии
Дело пустить,
Раз такие они хорошие!
Мысль – в иное,
В снегах – родимая выть,
Слегка припорошена.
Все идет, как по нотам.
Знает, скрытный,
Находился по всяким местам и работам.
И вот явился. Знает, опытный.
Встретили. До места проводили.
Собрались в кабинете литературы –
Возраст и молодость.
Или – или.
Тем – одно, а этим – другое,
Что-нибудь более молодое.
Решил остановиться на вечном.
Тут и перейдем к роману в стихах,
Раскроем его романтические возможности.
Факт существует,
Но все в наших руках
Есть определенные сложности.
То он – мой герой,
Наш земляк, народный артист
Арсений Чигринев, прототип Василия Липового,
А то я – автор, завершающий эпопею
Из четырех романов, это – уже последний.
Самый финал, пора ставить точку.
Думаю: «Это все, как при игре в «штосс» или твист,
Наша жизнь – от лирического до крутого.

И читатель наш не глупее.
Вон сколько накопилось,
Легло в эту самую строчку,
Как в бочку, —
От «Евгения Онегина» Пушкина
До моего «Арсения Чигринева».
Генотип наш в словах,
Вся наша нация.
Это — факт,
А есть еще аргументация.
Вот и начнем не как не было бы или было,
А как если бы это был я,
Выступая во имя Пушкина
И Прекрасной Дамы, которая его любила,
А именно, литературы.
Ну, и еще, конечно, от имени своего «я»,
Моего лирического героя.
Итак, сцена дуэли.
Помните? Снег сыпался с ели.
«Не разойтись ли нам, пока
Не обагрилася рука?
Нет, нет, нет».
Кто бы так просто мог сыграть национального гения,
Как понимаю я?
Вот Лев Толстой. «Война и мир».
Выразил мнение и сомнения,
Красоты жизни, пир.
Дворянство, правящий класс,
А где же там я?
Где мы, что про нас?
Платон Каратаев...
Время с ним прокоротаем,
Да и окажемся где? Истина — от простого:
А у Шолохова, в «Тихом Доне»,
Как в собственном доме, —

Вот где — продолжение
«Войны и мира» Льва Толстого!
А также еще и Шекспир — от античности,
От Гомера. Объем такой личности.
Вещая глубина.
И она, и она —
Муза Пушкина!
Роман в стихах единственный в мире,
А не закончен, как «Ночи кабирии»,
Или, например, опера «Князь Игорь»,
Или Первая симфония Калинникова.
У Пушкина в девятой главе — пропуски, точки.
В десятой — отдельные строчки,
Тень чья-то от полтинника, полтинникова
Или даже Рублева,
Но все-таки тень, обнажение
Пусть даже и декабристского,
Как нам говорили, движения —
Из области всем тогда близкого
Литературоведения классового.
Вот и теперь бы куда не скатиться —
До кассового.
Или — или.
Вот написал почти, завершаю
И знаю, что продолжаю —
«Евгения». И как ему быть —
К чему припадать теперь,
Чем завершить?
В чем хотел, Пушкину тоже совершить не давали,
А чем-то другим завершить — не знал,
Герои его не знали.
Одного он застрелил,
Другой как бы от этого мучился, корчился,
Вот и пришлось, по воле ветрил,
Татьяне Лариной, чтобы дух не почил,

В письмах к нему
Обходиться без отчества...
Наш герой Чигринев Арсений,
Как и Онегин Евгений,
Тоже кости не темной.
Все же артист народный.
Но, будучи по-настоящему из народа,
Не «лишний» ему,
Помотался по свету один к одному,
На шкуре своей познал,
Что такое хлеба кусок,
Пуля в висок.
Запад — Восток
И — Свобода!
Вот и нацелен, в отличие от Евгения,
Как, вообще, типажа продолжение.
В высшие сферы — божественного,
Торжественного,
Непобедимого,
Неискоренимого,
Главного на Руси,
Как продолжение византийского,
Греческого —
Пути высокого, человеческого!
«Суета всех сует — суета», —
Сказано в «Экклезиасте»,
Библейская истина.
Припадая к Земле вместе со мной,
К Небу, Духу Высшему,
И окажется мой герой.
Любимый герой мой и Пушкина
С нами вместе —
Тут, у нас, думаю, опять в Коренной,
Где Свобода как слово
Из песни не выкинуто.

Вот пишу, завершаю конец.
А веткой по роже, по роже.
Четыре раза — четыре экстаза.
Боже! Даже не верится.
Ай да Пушкин! Ай да молодец!
Я это сделал! Мы с ним вместе!
Я смеюсь, я живу —
На Радуницу!
Родню поминаю, радуюсь
В эту пору весеннюю —
Вместе с Сергеем Есениным!
А у Александра Сергеевича
Что те-пе-рича
Где-то в духе,
В заповедях блаженства —
Гармонии и совершенства,
О Боже! Аж мороз по коже!
Ух, какой темперамент!
«Эгээс» — единственный государственный экзамен!
Вот по литературе ответ — государственный экзамен!
Понял или нет?

XXXVI.

И в Кабинет к нему
Вдруг пришел сам Терминатор.
— Что же ты это, голубчик,
Наш цех обижаешь?
Всяких там вспоминаешь.
— Мастерзингеров? —
Говорит ему Чигринев.
И для полноты ощущений
Мы уж добавим, а не просто Арсений,
Герой наш, у нас,
А не какой-нибудь
Гофмановский

Или из Эдгара По,
А также Казотовский —
Гений.
— Вишь ли, слышу тебя,
Что ты шепчешь, — говорит он. —
Про Отелло и Дездемону,
И вижу тебя насквозь,
Про рубаху простую, посконую,
Читаю от корки до корки.
— На то у Егорки и горки,
И санки, а не какие-то танки.
Вот я на них и катаю.
— Сам летаю, — сказал он
И ушел, прекратил аудиенцию.
Но подписал конвенцию,
Вот по сей день это и ощущаю.
Тут же явился и «избирком».
— Ты, — говорит, — женился, а на ком?
На Свободе тайком? —
А в затылок уж дышит
Альтернатива,
Некрасиво.
Однако Чигринев Арсений и сам уж
Дважды как бы выходил «замуж».
А теперь, после Византии, еще одну встретил,
Женись хоть на третьей
В анналах истории,
Божественной консистории,
Где есть, понимаешь, понятие Древнего Рима.
А у нас — Рима третьего,
Не заметили?
Еще покажут кузькину мать
Да я и сам собирался отсюда
Канать.
Время идет, сердце гложет,

В мозги столько влезло, а не сколько может.
Так вот жизнь и пролетела —
Ни души и ни тела,
Все тело потело
От того, чего душа не хотела.
Одни иллюзии, мифы,
На телегах все едут какие-то скифы,
Финно-угоры с Волги,
Мимо княгини Ольги,
Двигутся отсюда в Европу,
Куда-то на озеро Балатон.
Как и те потом обратно сюда...
«Как же я без Марии-то? —
Думает, тужится он. —
Все никак не преодолею
Себя, грешного,
Какого-то перед всеми потешного.
Возьму и уеду, но с нею...
Оттого и потею...
Вот и кончились! Дипкарьеры!
Принимаются меры.
Значит так,
Так это, значится.
Где-то бах-трарах-трах,
А к тебе катится.
Вобче, передохни хоть, старый,
Не то загремишь «под фанфары».
Это тебе не театр, а жизнь,
Играют по-крупному.
Только держись!
Умное — к глупому.
Вот в Орле был поэт такой
Иван Озеров. Цветок аленький,
А как поэт маленький.
Но большое молоко —

Как говорится, после отела
У коровы «молозиво».
«Фронтовиком», — говорит, — был,
Претендуя на льготы в поэзии.
А сам всю войну пробыл в тылу оптовиком,
И потом всю жизнь, сколько влезло,
Ходил не босой.
Нас кое-когда кормил колбасой,
Работал в тресте столовых и ресторанов,
Главбухом ахал и ухал.
Так вот, что ребята придумали.
Какое книжке его дали название,
Своего рода марево в море
«В тихом Озере»...
Такая тонкость, поверьте,
Так человек ничего и не понял,
Не заметил
До самой смерти.

* * *

Вишь, что происходит:
Путаница. Как у Гоголя в «Ревизоре».
Лановой — Арсений,
Евгений и я, Ленский.
А голос, как у Виталия Собинова, —
Все вперемежку, пирог мировенский,
«Это что-то особенного»,
По Бабелю, по-одесски.
Вот и думаю: а может, спеть
Им арию Ленского?
И тем паче закрыть дискуссию?
А Мария и говорит(ь):
— Не Басков, не молодой уж,
А Робинзон Крузо...
Это она так называет

Моего корифея – Карузо.

* * *

«Я от славы прячусь
Лет уж пятьдесят
(А Масляков за сорок только
Сидит под своей «парасолькой»), –
От людей корячусь,
Лишь Богам и рад».

* * *

Так вот ему КВН в клипе,
Как дурной сон, приснился.
Он его не мог превозмочь
Ни тут у слияния рек, на липе,
Ни там сон в летнюю ночь.
Легкость какая-то сделалась, сказка,
Тяжкое с плеч долой.
Спит он, Марией заласкан
И не уколот иглой.
А она где-то близко,
Где-то над ухом глаз.
Вот как путает Слизка
Предначертанья в нас.
То, что еще не свершилось,
Но уж намечено, есть.
Страх переходит в милость.
– В узкое?
– Да, Ваша честь.
Узкое – что ведь? Было?
Тоньше не может быть.
Дождик по луже. Мжило.
Вот не успел забыть
Он Белый Дом свой, должность,
Свой телефон, кабинет.

Резкая невозможность
Не состоять, — привет!
Пишется — «по состоянью»,
Все понимают — от бреда,
Определяя зданью
Лето свое и лета,
Быть без чего Арсению,
Не получилось — что ж,
Он же к другому гению
Сызмала, с детства вхож.
Нас не к тому причастило,
Был бы везде хорош,
«Опыту не хватило»,
Не получилось — что ж.
Все же, как ни утешайся,
Что себе ни говори,
Че там под нос: «Покайся,
Больше не заикайся,
Правильно, — не зарекайся.
Но и, комбат, не твори.
Маршал, возможно, ты где-то,
Армия тут не твоя.
За Рокоссовским — полсвета
Целая Рома вся.
Был ты комбат с комбатом,
Но не такой, как все...
Юлия Друниной атом
Тут, на твоей полосе,
В слове, в атаке, в Польше,
В ране, в Иране, больше -
Мухи на колбасе...
Вот он, комбат, — читаю!
Участь чтоб облегчить.
Женщин предпочитаю,
Чтобы и дальше жить!

Грезы поэзии, слезы
И роковой навал.
Кто это нам угрозы
Все эти предсказал?
Книгу ее раскрываю,
Слово за горло зову!
Тут, когда помираю,
Одновременно живу!
Нет, не пойду по сараю!
Не упруся в хомут.
С Друниной – не играют,
С Друниной – вечно живут.
«Девушка в простреленной шинели
Разбросала руки на снегу»...
«Кто говорит, что на войне не страшно.
Тот ничего не знает о войне»...

ОРЛЫ

«Два сильные, два хрупкие крыла
И шеи горделивый поворот.
Да здравствует безумие Орла,
Бросающегося на самолет.
Он защищал свое гнездо, как мог.
Смешной бунтарь, пернатый Дон Кихот.
Да здравствует взъерошенный комок.
Бросающийся в лоб на самолет!
Ах, Дон Кихот!
И как вы не смелы,
Геройство ваше – темы для острот.
И все-таки да здравствуют орлы,
Бросающиеся на самолет!»
Почему поэты уходят так рано,
А может быть, поздно?
Ну почему, отчего?
Заросла рана? Боги покинули?

Око стало не видеть всего,
Что увидело, а голосом спело?
Вовремя уходят поэты, туда к поэтам,
К Пушкину, Лермонтову
К Шелли, Рембо, —
А я не хочу! Я бунтую при этом!
К Аполлинеру вперед,
На мост Мирабо!..
Упал головой и, зарывшись в подушку,
Заплакал герой мой
От несовершенств, от всего.
Мария явилась, откуда узнала?
Друнина ей нашептала на ушко,
Шепнула Марии, как со стороны.
Услышал я, слышу тебя,
Поэзия —
Дорогая моя старушка,
Оттуда еще — из детства,
Сразу же после войны.
— Уедем отсюда, — ласкала она,
Глядя волосы, плечи.
Бралась за руки, какими он работал,
Желал.
А плакать ему и ей
Было уж нечем.
И все возникал какой-то вокзал.
Сибирь и Байкал,
Соловки и Урал,
Есенин, Шукшин на Алтае...
К себе призывал он их дух,
Расстояния, Русь призывал —
Широкую и несчастную,
Где от любви, как снега
И реки могуче пытаем, питаем
До самой границы с Китаем.

*А собрались они с Марией в Москву –
Разогнать, как говорится, тоску.
А упав, застряли где-то на Веге.*

Л. М. Золотарев





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МОСКВА-СТОЛИЦА

XXXVII.

В Москву они ехали в электричке —
Орловской своей, скоростной.
А с ними две птички, две птички-синички
В вагоне, в агонии, в зной.
Мария! Уж лето. Жары на полсвета,
Полмира в вагоне у них.
В буфете вагона, в вагоне буфета
Все путались арии их.
Мария! Свободы все жаждут народы.
А мест нет свободных. Кому —
Негромкие речи? Головку на плечи
Она положила ему.
Дороги, дороги — для всех и немногих,
Пути никуда не ведут.
Мария! Спасибо, устали мы либо
От блеска медалей, что каждому дали,
Ему ничего не дают.
— Послушай! — сказала Мария. —
Где Груша?
А дети?
— А эти стихи из мешка?
Но тут телефончик, — ах,
Миша — япончик!
Им звякнул исподтишка.
— Ах, ты, Агриппина!
Вот еду, картина!
Каков знаменитый пассаж! —
Смеялся он в трубку. —
Гляжу на голубку,

Любуемся с ней на пейзаж..
Да нет, хорошо все!
Конечно, нормально.
Вот Друнина только... того...
Да вот по земле, по шкале пятибалльной
От шефа бегу своего...
Конечно, здоров я,
Ем мясо коровье...
Говядиной не называй...
А бабушка Лида
Щи из ангидрида...
Жива до сих пор... Ну, бывай!
Копейки бери, отмывай...
Сидели, молчали, с речами сличали
Уже подмосковный пейзаж.
А все тут в портфеле стекали тефтели –
И паспорт марали
И тем изгоняли мираж,
Последняя речка
Последней надежды,
Последнее это его...
Стучало сердечко.
И грела, как печка,
Мария его одного...

* * *

Сказала, в понедельник этот буду,
Нет в институте ее «одные».
Как понимать луну – паскуду,
Все преподобие ее?
«Мария, бедная Мария, –
Краса черкасских дочерей,
Опять удава, змея – змия
Сплетаешь с мыслию своей?»
Сказала – местные словечки

Опять полезли из тебя?
Да и остались тут, у речки,
Косынку нервно теребя.
Какая речь! Какой кристалл!
За то единственное слово,
Каким он с блеском отхлестал
То, что считалось тут основой.

* * *

Москва, Москва! И университеты
Твои как знак учености, ума.
И будущего яркие приметы,
И прошлого достойные тома.
И в настоящем вера и надежда
Столицы всей, принципиальных квот.
От Византии белые одежды
Сюда дошли и стали серы вот.
Не все, конечно, не всегда, конечно,
Тут и сейчас, считай — там и тогда,
Седа история. Науки слово вечно,
Авторитетом держатся года...
Она сидела тут же, во дворе,
На детплощадке, в самом уголке,
А где-то там, в Боброве, на горе
Родник из недр писал на узелке.
Напоминал, что было и что будет...
«Не то с ним что-то, —
Бредилось Марии. —
Ведь не Тургенев и не Рудин...
И не толстовская работа...
Однако, тут же и сейчас
Что тут готовится для нас?»
Через скакалку прыгал воробей,
Играли дети. Солнышко светило.
А там она — научное светило —

Его опровергала: «Вора бей!
Он – Кочубей! Его ты хучь убей!»
А будет по его, за что и полюбила
Его – дебилла...
Ночи Кабирии, ночи Кабирии,
Ход у Мазини такой.
Вот начиталась про эти «эмпирии»,
Хлынувшие рекой,
Про чигриневской покой...
Что говорят там про них
В этот таинственный миг?
Вот дома. А вот «синема».
В них Жорж Садуль и витают.
«Да что они там – по местам, по кустам...
Что она, собственно, знает...
С веками не совпадает
Это самое веко у человека...»

* * *

Он пришел неожиданно.
Резко, неотвратимо.
Упал, сев мимо скамейки –
В ремейки,
В лоно ее ланит,
Как с крыш
Метеорит.
Но ничего, еще дышит.
Еще говорит.
Два-три слова,
Не более четырех.
Вся основа –
Ловля «блех»,
«Блех» ловля,
Как ваше здоровье?
Как ваши годы?

Претензии на суспензии,
А суспензии где-то.
Реакция — акция, снег.
Шаг в сторону — выстрел,
Еще шаг — побег.
Век один, но другая концепция.
Ищите, прежде всего, себя,
Лягте где-нибудь в шахте
Под чью-нибудь лекцию,
Или контрибуцию.
Или же концепцию,
Тогда и оценят тебя.
«Ушел, — говорит, — чтобы сесть на трамвай.
А то, как всегда, скоро станут.
Московские пробки не очень торопки.
В трамвай сядут люди — не вместе.
А тут так оно... а как?
Расстроится, сбесится...
Громы не грянут — мужик не перекрестится».

* * *

На квартире прежней его,
Где-то в районе Арбата,
Висел почему — замчище, замок.
Дверь была заклеена
Узкой бумажкой.
Хотел позвонить соседям —
Не смог.
Махнул на все это фуражкой
Да и наутек.
На вокзал, где она взяла уж билет
На Мальдивы, —
Очень даже может все это быть;
Мария ждала его терпеливо.
«Москва, Москва! И символ твой Арбат.

Неколебима, облик твой при силе.
А сколько уж царей, цариц, царят
Столицу от тебя переносили.
Вот и сейчас в провинции орем:
«Все деньги тут, зато и храмы тоже!»
А если так, то да поможет Боже,
Уж как-нибудь сие переживем».
Цитата. Первый том.
Из самого себя –
И ненавидя, и любя.
Опять, как в молодости,
Чист он, без жилья.
Как далеко все это и как близко!
Однако все ж с московскою пропиской.
«Расти, расти, живи, моя тут киска!
Наполовину Груши и моя».
Не помнит, как и оказались в Банном.
Есть переулок – прежде знаменит!
Как это удивительно и странно
Не замечать, что было.
Делать вид,
Когда и где, что по сейчас болит.
Ага, отсюда, как и его когда-то
Сюда бездумно ноги принесли.
Когда-то тут сидели мужики
С соседних областей
И ждали всяческих вестей
Насчет прописки.
А в сумке рядом были киски,
Куры – несли тут яйца.
И бабы принимали кальций,
А тот мужик совал им яйца,
Мол, ешьте свежие совсем.
Мол, посижу еще и куриц съем.
Проголодался малость,



И баба та смеялась...
— Уж это все рассказывал, —
Мария отвернулась,
На дверь глядела. —
Откуда мы? А из Орла...
«Шумел камыш — деревья гнулись,
И ночка темная была...»

* * *

Скоростная летела обратно.
Все же лето, как днем — все видеть.
Было розово небо, закатно,
Уходила во тьму благодать.
Философово. Вновь задержались.
До единой букашки прочли.
Все четыре на «О» оказались.
И одна, между прочим, на «И».
Философия! Умные люди
Тут живут, все считают подряд.
Тренируются. «Жить долго будем,
Мы — философы», — всем говорят.
«Вот сюда-то и переедет,
Если вздумается, Москва.
Только где же на званом обеде
Вся усядется тут, братва?»
Он сказал ей — она засмеялась,
На окошко махнула рукой.
О Мария! Мария Каллас!
Самый лучший мне голос -- твой!

АДАМОВ – РУССКАЯ ГЛУБИНКА

XXXVIII.

Ветер гнал жухлые листья,
Шел Чигринев по Орлу.
Вечер осеннею кистью
Красил Скалу.
Мощную – под Прометеем.
Здесь я его разыграл
Между Зевсом и змеем;
По голосам, портупеям –
Хаживал. Жил. Пребывал.
Главное место эры –
Думают, Белый Дом.
Нет, господа офицеры,
Я вот стою на нем!
Песня тут мною спета,
Мной и сочинена
В очень жаркие лета,
А запевала весна.
Песня моя – из лучших,
Точка моя – как на Невском.
Пала ко мне из тучи,
Зло перевесила резко.

«Червоная свеча» (песня Арсения)

От главной площади Орла –
Две улицы, как два луча,
Две волховы, сквозь город прорезаясь.
И золотые купола –
Червона золота свеча
Горит в сердцах, по двум лучам



Передвигаясь.
Одним лучом — с холма туда.
Вниз по бульвару, кабакам
В храм на Песковской, в златоглавость упираюсь.
Я чту старинные года.
Красиво тут, красиво там,
Как по весне. как в тишине
Тревожит завязь.
Другим лучом с холма на холм,
На кафедральный шпиль, собор,
На острие его ложусь и замираю.
Здесь бой курантов и «Бристоль»,
Как изумителен обзор!
У края моря тут стою и пропадаю.
На двух лучах вальс «При свечах».
Как все в Орле на двух ключах.
Со временем никак не успокоюсь.
Роман давно бы мой зачах,
Но на устах, но на плечах.
Все эта нескончаемая повесть.
Роман я с городом кручу,
А на устах... молчу, молчу...
Не до столиц нам с лоском их и блеском
Несу червоную свечу
И не столичности хочу,
А все-таки как где-нибудь на Невском.
От главной площади Орла
Две улицы, как два луча,
Две волховы, две волховы, две волховы...»

* * *

Прости, Орёл! Прости за все!
А я тебе прощаю.
И если был чем обнесен,
В ответ не обещаю.

* * *

«Тут родился Тургенев, великий Иван,
Но в Париже такие живут
Проявляются гении Богу и нам,
Признают же потом и не тут».

* * *

К себе Мария его забрала
Туда, в Адамов, где теперь жила.
Ракита уже липу догнала,
Лось по полю сдваивал след свой, а зверь.
Сундук Шурея все еще стоял
Все там же, у дороги, где лощина.
Шумел тысячетонный магистрал,
Шла глинка — за машиною машина.
И тишина. Вдруг звон да колокольный.
Бомжи при магазине, при «Алисе».
Арсений вздрогнул, выдохнул невольно
И в Чигриневку — в шапке своей лисьей.
Проведать мать — влекут родня, могилы.
Приходят к матерям вот сыновья,
Хотя бы я.
В глубинке как ступлю огнем в ступню,
Так сразу же туда, где мать спит моя.
Давай гони — за содой в магазин,
Оттуда в Чигриневку.
На подвиг просится грузин,
Напрашивает обстановку.
«Шлагбаум впереди,
И позади шлагбаум,
Мы в клетке, что ли?» —
Мыслит Чигринев,
В пределах компетентности и боли
Воспринимая бытие из снов.
Все чаще они дух его терзают,

Смущает бес,
 И сны одномандатные все чаще.
 А вот и этот чигриневский лес.
 К Бобрам уходит, переходит в чащи.
 Все в бурьяне, некошено давно.
 Зарос и лес орешником, крапивой!
 Такая вот Расея тут — длиной
 До самого райцентра, с долгой гривой.
 Эх, конь ты, конь мой вороной!
 Конь ты мой вороной!
 Иван Кононов с песней одной —
 Как с родной,
 Сюда рвется.
 А ну, как она там поется?

«КОНЬ ВОРОНОЙ»

«По местам, бесконечно
 Тревожный и вольный,
 Там, словно ливень
 Проходит родной стороной,
 Звон надо мной (3 раза)
 Колокольный,
 Конь под мной (3 раза)
 Вороной, вороной».

* * *

Заросли Бобры, весь поселок —
 Бурьяну по самую хряпку.
 Перемерли. Остался какой-то осколок.
 У колодца вытоптано,
 На жилое показывает.
 Арсений отыскал косу, поднял у сарая тляпку
 Да и пошел косить,
 Сшибать бурьян безобразный.
 А кругом — никого,

На три двора вокруг пусто.
Молодежь как уехала,
Так дети назад и не ездят.
Да вот и последние старые
На центральную съехали.
Уж три года тут летом гостями,
Как мать померла – такие беды
Пошли горстями,
Вехами.
Усадьбы-то пусты:
Ни огурцов нигде, ни капусты с орехами.
Пригашено все – прилунено.
Только яблоки и висят –
Налитые, солнечно-антоновские,
Еще, наверно, от Бунина.
Прошел Арсений ручку, другую косой –
Незакладная, ходит неловко.
Отбить надо, а нет отбою.
Потянулся за колбасой.
Съел скибку, краюху свою – чернобровку.
«Пойду, – думает, – на тот край,
К Геморрою».
Так мужика – троюродного
Зовут по-свойски тут,
По-уличному
Это – первое,
На одном дне.
А второе –
Косу надо все же отбить,
Родину – любить,
Не оставлять с бурьянами наедине
Под горою.
Геморрой лежал на кровати
За прудом, на открытом воздухе,
Где от крапивы не колко.

И помирал — под ракитой —
Последний житель поселка.
Отруба этого столыпинского,
Розливу еще царских времен,
Казака этого, «зэка» липецкого.
— Че это ты растянулся? —
Подошел Чигринев к хате. —
Ай у тебя геморрой?
Обездвижен.
— В осадок выпал, — прохрипел мужик. —
Вишь, сиплю.. горло неправильное, давит...
Рак съедает...
Потоптался Чигринев у одра, потоптался
Да и пошел восвояси,
В задумчивости.
А не рвануло всего к какой-нибудь кассе.
И ушел бы, может,
Не солоно хлебавши,
Да обернулся и вслух мужику,
Как погромче — туда, в осень:
— А кто тебе хлеб-то носит?
А мужик лежит на локте,
Весь на слуху,
В одеже на рыбьем меху.
— Дак, — говорит, — Локтев —
Бригадир, с того свету,
Вот кто, — понял или нету?
«Понял или нету»?
Вот прицепилось, » —
Шевелил сухими губами Арсений,
Обращаясь сразу ко всем бобрам,
Скажи на милость.
«Словотворчество кончилось, — подумалось мне
С Арсением вместе,
Глядя на Геморроя.

Как оно, это слово, корчилось,
Выпадая в осадок –
Из первого во второе».
Побыл тут Арсений,
Пожил, покосился.
Обил по садам бурьянок.
Кончается хлеб – не веем, не сеем,
Не мешан и не печен, –
И тут же за порог.
Так и мы – остальное все «запорожье»,
Где хлеб, магазины и школа,
Медпункты и почта,
«Работает дочь-то?
– От самого от комсомола».
Зашел на могилку Арсений,
Тупеем мамане кивнул.
Поближе нагнулся, совсем облегнулся,
Едва у нее не заснул.
У брата опять не такая зарплата,
Подкинул деньжонок ему.
Чтоб лучше смотреть за могилкой и НАТО,
И в том, что опять не такая зарплата,
Палата опять виновата, палата,
Ума у которой алмаз в три карата
Чтоб жили умней посему».

XXXIX.

Присел Чигринев на околице,
Где, бывало, звенят колоколицы.
Ходят, бывало, коровы,
Вопросы не новы.
А вчера на поселке свели
Последнюю
Вдовы,
И – будьте здоровы!

Вот что написал и спел тут же
Арсений, глядя назад на свою территорию.
А дождь его слушал, слушал
Поморщенной лужей
Да и пошел менять траекторию.
И тут голоса луже из зала:
— Что ты сказала?
— Не сказала, а спела.
— Хорррошее дело!

«РОДНЯ»

«Четыре бабушки»

(Последняя песня Арсения)

«Четыре бабушки, эх, деревенские!
Вот величаю, а вас уж нет.
Четыре бабушки — мои амченские,
Синяевский наш семейный портрет.
Баба Ариша — Вода, Ольга — Небо,
Баба Катя — Земля, баба Дарья — Огонь, от коня.
Все четыре стихии — моя родня.
Остры на язык, мои словотворицы!
Разбежались слова по полям, по лесам.
Эх, кабы собрать тебя сызнова, наша глаголица!
По заповедным нашим, амченским местам!
Ариша — моткая, что тебе речка Алешня,
Ольга — глазами синими смотрит с небес,
Дарьюшка — печка, дымит костерок немножко,
Бабушка Катя — вся распахнута в лес.
Полетели птицы — в песню, в осень.
Золото синяевское — в сердце носим.
Все четыре бабушки — ах, ты, моя Русь святая!
К четырем стихиям притулился я,
Русь моя печальная,
Изначальная,
Звонкая!»

* * *

По Адамову ходит Арсений,
Улицами адамовскими –
Чистыми, лучистыми.
Каждому бы как запятая в сени,
К каждому – припадал.
Жил, работал – с тутошними и тамовскими,
Имя адамовское губернии посвящал,
Карьер под глину белую
Со всеми вместе тут зачищал.
Родькин Шурей в больницу попал,
Мария хоронить кого-то уехала.
Чигринев ходит один тут, едва не пропал:
«Зачем хоть тянуло тебя сюда?
Сердце-то зачем бухало, эхало?»
Питецкий проехал мимо, Ваал.
Не остановился, руки не подал,
Не кивнул даже.
Соседка прошла, вроде споткнулася.
Вон куда ниточка –
Отсюда вроде, от Древнего Рима –
В историю протянулася.
Одиночество – это когда
Всего много, много, тесно кругом,
А тебе маловато все, мало.
Душу теснит серенада.
В чистый четверг как бы все отмылось,
Отстало.
Вон сколько одиночества,
У многих в целом ряду,
Как у Маркеса.
Чужую беду – пальцем разведу,
А своим-то все оплетает,
Во все проникает,
Похлеще желтухи и кариеса.

Ходит Арсений по Адамову,
А зайти не к кому,
Глаза все отводят,
Издали нырнут куда-либо в сторону,
Чтобы не поздороваться,
Колокольня и колоколица!
Когда в Московском театре служил,
Так еще во — он откуда кивали,
Шапку ломали,
Как главу местную тоже, ничего себе,
Признавали.
А как где-то у Терминатора
Что-то сказали про «елистратора»,
Так все и застряли...
У эскалатора...
Что тут, что в Москве — одинаково.
Только там ездят по «метрополитеню»,
А тут, как огурцы, тянутся по «микрорплетеню»,
Там — от Иосифа,
Тут — от Иакова.
Там у них — бросили,
Тут у нас — взяли и подняли, —
А так, вообще-то, все у нас
Одинаково.

* * *

Плохо стало что-то ему
Очень плохо!
Крыша куда-то ехала.
Решил волку надо сконцентрировать посему.
Жизнь, собственно говоря,
Переосмыслить ахово, эхово.
Идти от обратного, не дожидаться же января,
Этого меча булатного, собственно говоря,
Чтобы Ильина, например, цитировать,
Клать слова его по своей боли.

Хотел уехать , куда глаза глядят, куда подальше,
Как Лев Толстой, перед смертью
На Кавказ закатиться,
Да решил подождать Шурея,
А чуть раньше –
Марию из сибирских далей:
Другие лица
Его не интересовали.
«Дай, – горько думает он, – душу справлю,
Мученья может, куда либо денутся.
Старый становлюсь, никому уж не нравлюсь.
Зубы валяются, слюни пенятся.
Сердце вянет, доходит
Эпопея жизни, к фазе иной переходит.
Ноги стали болеть, на пятки не наступить.
Ахиллесова пята, что ли,
Сухожилия?» Вспомнил Ахиллеса –
Героя античного, из праславян –
И давай ладонью по ступеням себя лупить,
Растирать покрепче, делать массаж.
Ходить к Мурашихе, до самого леса,
А все равно внутри что-то проваливается.
Нехорошо. Резь какая-то, слабость,
В голове мутится, и тошнота, тошнота.
Жизнь не такая, не та...
«Ахиллес, а как имя – отчество?»..
Жить не хочется...
Что ни говори я...
«Мария!
Мария!
Библейское имя Мария»...
Приехал Шурей из больницы,
Прибежал к нему:
– Что с тобой, Сеня?
Арсений взглянул на него –

Полетели в стороны лица,
И тем не менее...
И тем не менее...
Охали, ахали...
Брежнев и Пельше...
Наклонился Родькин к нему:
— Поменьше ешь сахару,
Сахару ешь поменьше...
Зашли с Шуреем в киоск,
В эту часовенку при церкви,
Которую начали еще при нем тут,
А недавно закончили;
Купола чтобы не меркли,
Даже покрыли золотом сусальным,
Чтобы в небе сквозили,
Острее сделали шпиль — кончики,
Бесов дабы разили.
Купил себе и в Родькину какую-то книжицу.
«Помочь, — говорит, — должно».
Какие-то «откровения», написанные через ижицу.
Ага, гимн слова —
«Откровения Иоанна Богослова».
— Мне, — говорит Чигринев
Женщине продающей, —
Что-нибудь от одиночества.
А она ему голоском,
Как из бутылочки льющейся,
Бальзам на душу, что ли:
— Вот. Это и есть пророчества!
Как раз для нашей чернобыльской зоны.
Читайте с Богом и себя побеждайте...
И стал Чигринев на ночь читати,
Чтобы сон приходил кстати.
Строчки лились, а сон не приходил,
Бил его всего изнутри, колотил.

Вот!

Первое есть, а это второе.

«Блажен читающий и слушающий слова
Пророчества сего,
Ибо время близко.

Седьмое. Се грядет с облаков,

И узрит его всякое око...

И возрыдают перед ним

Все племена земные.

И еще. Имеющий ухо да услышит...

Побеждающему дам вкушать

От древа жизни.

И еще. Побеждающий облачится в белье одежды,

И не изглажу имени его

Из книги жизни.

Девятнадцатое. Кого я люблю,

Тех обличаю и наказываю.

Глава шестая, одиннадцатое.

И произошло великое землетрясение,

И солнце стало мрачно как власяница,

И луна сделалась как кровь.

Тринадцатое. И звезды небесные

Пали на землю.

Глава восьмая, пятое. И произошли голоса и громы,

И молнии, и землетрясения.

Десятое. Третий Ангел вострубил,

И упала с неба большая звезда,

Горящая подобно светильнику,

И пала на третью часть рек

И источники вод.

Одиннадцатое. И имя сей звезде полынь.

И третья часть вод сделалась полынью,

И многие из людей умерли,

Потому что они стали горьки.

И снова десятое. И взял книжку из рук Ангела

И съел ее,
И она в устах моих была сладка, как мед;
Когда же я съел ее,
То горько стало во чреве моем.
Одиннадцатое. И сказал он мне:
Тебе надлежит опять пророчествовать.
— А тебе писать притчи,» —
Раздалось свыше.
И книжка церковная скользнула из рук.
И больше Арсению ничего про Чернобыль

не говорило.

Но и не делалось лучше.
Позвонили с почты ему.
— И че?
— Да пакет вам тут залежался. Но...
Ага, вот! Из Москвы, из театра расчет —
Окончательно и бесповоротно...
«Да, где тонко, там и рвется.
А где рвется, там тонко.
Ничего себе, звонко! —
Оборвалось у Арсения сердце.
А что остается?
Хоть и ждал
А все-таки, все-таки
Последняя сломалась подкова...
Правда, «Гамлета», «Фигаро» он уже сыграл,
Оставалось «Бориса Годунова».
Господи! Нашли крайнего,
Возьми на тебя и покусись.
Как на Конституцию, да?
Скажи — каждый не обхохочется.
В общем, не в «Свои сени не садись»,
«Не так живи, как хочется»...
Горький! Горький! Горький!»
Стучало в виски, мучило,

Как Иоанна Богослова вместе с пролетарским писателем.
Все втроем уходили куда-то вниз,
В белые глины девонские,
К Амфиарею,
За которого прятались бесы.
Керры – манны, арии – велесы,
Тени славянские,
Греческие и римские,
Вещающие судьбу.
И бесы в сером тянули туда его
В Вавилон – к краю, в борьбу,
И шептали ему: «Смерть, смерть, смерть»,
А одежды белые переступить не давали... не сметь...

* * *

Очнулся Чигринев уже утром.
Лицо какое-то черное,
Неблагодарное.
Нашел тонкое и длинное полотенце,
Скрутил его через коленце
И повесил на крюк... Брамапутра...
И выбил скамейку из-под себя...
– Мрия, мрия! – завыло, заколотило вокруг.
И вбежала Мария –
Любовь его, друг.





КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ

XXXX.

Она была с ним рядом все время,
Не отпускала его ни на шаг —
Не возрыдает земное племя,
Не упадет Вавилон в глазах.
Знала, есть такое место!
Есть кому перенять!
Чтобы понять, чтобы принять,
Голосу тихому внять —
Одинокого род рокового, порокового,
Черного человека унять,
У бесовства отнять.
Есть такое место в серединной Руси —
Златоустынь родная!
Под Курском, а можно и от Золотухино, —
Коренная пустынь,
Пустынь Коренная!
Вот сюда и везла Арсения
Библейская эта его Мария,
Спасая от землетрясения, потрясения.
Да хоть синим огнем гори я,
Да ни за что, никогда
Не забуду этого места!
Такая тут Красота,
Вода Живая, Живая Вода
Отсюда, с откоса,
На села русские и города —
Лекарь для всякого росса.
А тут еще звон малиновый —
Колокола.
Люди идут, едут потоком сюда, говорят:
— Казанская сегодня!
К Казанской Божьей Матери —

Защитницы Руси.

И вспомнил он, как в Константиново,
Принесли к Казанскому собору
Покойника. Перекрестились спокойненько.
В миру как бы важного, не сермяжного,
Однако сегодня пронесли – завтра забыли.
Крышку забили, опустили, и ничего.
Но церковь всех помнит
В общем сонме –
Святых и каждого,
Глазу влажного,
Как своего.
Русью водной все и объято.
Козырной опять-таки, тоже Казанской,
Будет понято, поднято, принято!

* * *

Спустились к речке они –
К Тускари этой, к ключу родниковому.
Поплескались, попили,
Постояли в живой воде – принято, понято.
Поднялись – прямо на Солнце,
На сверкающие оконца.
На цыпочках встали, глянули ввысь – замерли:
– Что это?!

Нимб какой-то над головой, круг осиянный.
Может, не каждому видится?
Впечатляется, запечатляется.
Спросили одного тут, вспомнили почему-то
В Москве все тот же переулок Банный,
А где-то в Чехии Лидица –
Вот куда, в какие года
Проникается, движется.
– Да, да! – закричал Арсений. –
Это же Серафим Саровский!

Работа Славы Клыкова!
С ним тут мы были еще студентами.
— Вспыхивает, — говорят, — моментами, —
Проходил мимо монах. —
Чудо! От Иоанна Великого!
Подошел и глядел —
В глаза ему, еще ближе.
В глаза — Серафим,
А подашься чуть — Слава,
Держит шар земной племя атлантов.
Боже! Какая держава!
Сколько же в ней талантов!
Сколько навешано всего на Земле,
Ноги аж подгибаются.
Зеленя, зеленя от полей,
В глаза с откоса так и бросаются.
А ведь это хлеба все, хлеба —
Сколотские еще хлебы!
Русское поле!
Было в истории, Русь была!
Тем более,
Падало с неба, —
Ба-ба! С не — ба!
Боги давали, клали в колокола,
В требы.
Грекам отсюда возили —
В Элладу, за Геллеспонт —
Черное море. Кормили нацию.
Каких мудрецов вскормили,
Элладу всю, а через нее —
Древний Рим,
Всю европейскую цивилизацию!
Вот какова цена нашего хлеба!
Видит небо,
Что мы с полями
Сегодня творим.

* * *

Глянули: тут же и штаб Рокоссовского.
Война и мир.
От Рокоссовского до Саровского,
От Саровского до Рокоссовского.
Вспомнил «китель» его.
Глянул с откоса —
Аж до Фороса.
Отсюда все видится, ото всего.
А Малоархангельск, этот Адамов,
По расстоянию, по годам он
Что тут — полоска, каких-нибудь
Семьдесят пять километров
Огненных ветров.
Защитники Отечества —
Казанская Божья Матерь
И великая, штрафная,
Крестьянская армия Рокоссовского...

* * *

Идут, поднимаются по лестнице
От Казанской до Площади
Всех птиц и трех охотников —
Символы. Так хорошо!
И петь захотелось Арсению;
Сложить песню — мощную,
Нежную — про друга Славу,
Спеть-таки от имени себя и Садовского
Про Серафима Саровского,
Святого где-то, про его живые мощи,
Преодолев рубежи,
А про Рокоссовского он
В Адамове уж сложил.

* * *

Идут они с Марией,
Поднимаются еще выше —

К вывеске «Муниципальное предприятие
Села Свобода», —
«Коренная» по бумагам так называется.
А народу кругом, а люду!
— Вот где жить буду! —
Сказал Чигринев
И пошел спрашивать,
И спрашивал до самой Троицы,
Что продается тут и где строится.
Пробил Чигринев дорожку,
Ездится теперь хорошо и живется.
Черное сходит с лица понемножку,
Хлеб естся, водичка пьется.
«Господи!» — молится он на Русь.
Есть хоть теперь где помолиться.
Возьму, в живую-то, окунусь
Да и смотрюсь в лица.
Есть надежда нам жить? Или, может,
Зависть окончательно сгложет?
Песню Арсений уже написал,
А пока, а пока
Читает им тут про своих «академиков»:
«Пока не погибла Россия,
Не канули, не размелись,
Возьми на поруки, Мессия!
Спаси нас, научная мысль!
Вперед, академики! Совесть, Мессия!
Мозги наши, мудрость, — вперед!
Пока не «сгинела» Россия,
Воспрянь же, мой русский народ!»

* * *

Ходит теперь он, как Велихов
После Чернобыля с год.
С палочкой под руку. «Академиком»
Вся Коренная его зовет.

Смотрит с высокой кручи
В птиц — в их свободу, лёт.
О великий, могучий!
Разве же он умрет?!
С Юга откуда-то тучи,
А на Севере вот —
О великий, могучий!
Твой орлиный полет!
Все города на «норде» —
Адамов, Орёл и Москва.
Он — человек не гордый,
Грива мучниста, молва.
Случится, заговорят о рекорде
Гинесса. Вынесен этот Гинесс
За пределы Свободы.
Ходит тут этот «Велихов»
И смущает народы.
А еще говорят, — романтики,
А еще говорят, — от Байрона.
Ну-ка попробуйте в «фантики»
От Коренной до Грайворона
Поиграйте-ка — в Пушкина, Байрона!

* * *

Летят последние страницы,
Как по сараю воробьи.
И что мне помнится, что снится,
Так это то, так это в то
Мне Боги помогли влюбиться
И, задыхаясь от Любви,
Пройти по всем по четырем —
Томам, словам, а пальцев три.
И, упавая в Океан,
Я вспоминаю все о Нем.
Отец! Творец! Он — молодец,



А я — при нем.
Теперь, когда закончен труд, молюсь
За нашу Родину, за Русь,
За божий промысел во мне
По всей российской стороне.
Стоит Россия! Мы стоим!
Тома мои, мои романы
Не пропадут, не зря, не зря мы
Живем. Ложились в дым
Седые спасские туманы,
Когда ходил по молодым
Толстовец — дед мой, я от деда.
И где народ мой, там победа.
А где победа, там — народ,
Который всех переживет.
И вот молюсь я, припадаю.
Отец! Творец! Хоть под конец
Возьми Арсения к себе,
Марию, Васю, Грушу, Гришу,
Не так уж очень всех кляня,
Возьми роман в свою афишу,
Москву, Орёл, Адамов — в нишу,
И не забудьте про меня.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Овидий, Овидий, Овидий...
Он первый был ссыльный поэт,
У вечного Рима увидев
Плеяду магических лет.

* * *

«Не верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша,
Для ясных дней и новых песнопений
Переболит скорбящая душа».

А.Фет.

* * *

Читал стихи Евгений Евтушенко –
Поэт трибуны, противленья, масс.
Заклинивал приемник, но по стенкам
Гремел его громоподобный бас.
Из недр времен, из Мексик и Америк
Опять явился, чтобы продолжать.
Но уже занят кем-то левый берег,
На правом тоже кто-то, чья-то рать.
Гремел в шестидесятые, конечно!
И до сих пор гремит в пустой квартире!
Но где-то есть в ней тихий голос, вечный,
Поэт культуры вызрел в этом мире.
Гомер, Боян, Шекспир, Есенин, Пушкин –
Вот линия какая тут, вот класс.
Читай стихи, лупи, Эжен, из пушки!
Поэт культуры слушает и вас.

* * *

Поэзия, прощаюсь я с ней –
На этом стуле, диване



Пересаживаюсь на коней —
С белогривых на вороных,
С мига на век,
С века на миг,
И все это в одном моем стане —
В этом
Моем последнем романе в стихах —
Вещай!
Поэзия — это острое, бритва!
Прощай поэзия, это тебе молитва,
Моя молитва, прощай!

«ИЗ МОЛИТВЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ»

(вторая часть)

«Господи! Во всех моих делах и словах
Руководи моими мыслями и чувствами.
Научи меня прямо и разумно
Действовать с каждым членом семьи моей,
Никого не огорчая,
Никого не смущая.
Господи, дай мне силу перенести
Утомление наступающего дня
И все события в течение его.
Руководи моей волей и научи меня
Молиться, надеяться,
Верить, терпеть,
Прощать и любить.
Аминь».

Конец четвертого романа.
31 марта — 19 апреля 2007 г.,
г. Малоархангельск —
г. Орёл — Коренная пустынь, что под
Курском.

* * *

*Р.С. Поэзия – это такие крыла,
Едва уловима, легка.
Течет и течет, сквозь меня протекла
Вся музыка, все облака.
Поэзия – это такая река,
Неостановима, пока
Текут и текут за веками века
Сквозь музыку, сквозь облака.
Поэзия где-то не тут, а жива,
Едва выразима, из грез.
Поэзия – это такие слова
У самого пламени звезд.
Поэзия – это их музыка, миг
В моих облаках и твоих.*

**Конец всей эпопеи в стихах.
Май 2003 г. – май 2007 г.**

Л. М. Золотарев





КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ, ИЛИ НА ЗЕМЛЕ ПРОСИЯВШИЕ

(повесть – притча)

**Памяти Вячеслава Клыкова,
Валентина Чухаркина**

Так говорили поэты Востока.

*«Хоть и не ново, я напомню снова
Перед лицом и друга и врага.
Ты – господин несказанного слова,
А сказанного слова – ты слуга».*

Слово из калмыцких степей.

Так говорил Заратустра.

*«Я слагаю песни и пою их,
И когда слагаю песни,
Я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду,
Так славлю я Бога».*

«Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустой».

*«Человек – это канат, натянутый <...>
Над пропастью.
В человеке важно то, что он мост»...*

*«Я люблю того, кто бросает золотые слова
Впереди своих дел».*

*«Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах
И кто может погибнуть при малейшем испытании,
Так охотно он идет по мосту».*

Из Ф.Ницше.

Так говорил А.С.Пушкин.
«Лучше один раз напиться живой крови,
Чем триста лет питаться мертвечиной,
А там что Бог даст».

Из «Капитанской дочки».

ВМЕСТО ПРОЛОГА

**(Из «букваря» Д. и Е.Тихомировых
для народных школ, Москва – 1914)**

Мальчик и орехи

Мальчик выпросил у матери орехов. Орехи были в кувшине. Мальчик запустил руку в кувшин. А горлышко у кувшина узкое. Мальчик захватил орехов, сколько рука смогла сдержать. Но рука с орехами не проходила назад.

Мальчик злился и плакал.

Мать сказала мальчику: «Не жадничай, милый! Выпусти половину орехов, и тогда легко вытащишь руку».

Коза и волк

По обрыву каменистой горы паслась дикая коза. Под горою рыскал голодный волк. И говорит волк козе: «Что за охота тебе пастись на голом утесе? Сойди вниз, здесь трава-мурава и сочна, и густа». Коза сказала волку: «По береги смятую траву для себя, а мне и тут хорошо».

Галка в чужих руках

Надумали птицы выбрать себе начальника. «Какая птица всех красивее, ту и выберем», – решили они. Галке очень хотелось быть начальником. Набрала она чужих перьев да и натыкала себе и в хвост, и в крылья.

Собрались птицы на выборы. А галка важно расхаживает между ними. Дивятся птицы, не узнают галки. Потом догадались, что делать. Каждая птица узнала свои перья да и выдернула их. Глянули после того птицы на галку-то и засмеялись: «Голая!»

Свой угол, малая родина

Идет мужик за возом по морозу, хлопает рукавами и думает: «Хорошо бы теперь сидеть дома, в теплой хате».

Рыскает зверь по лесу, зябнет на морозе и думает: «Хорошо бы теперь лежать в теплом логове».

Летит птица по поднебесью. Бьет птицу вьюга-метель. Спускается птица в кусты и думает: «Хорошо бы теперь сидеть в теплом гнезде».

И человеку, и зверю, и птице – всем тепло, вольготно в своем углу. Своя хатка – родная матка.

Солнце и мама

– Мама, что такое солнце?

– То, что так ярко блестит и светит в окошко, тебе улыбается.

– А почему оно редко ходит к нам в окошко смотреть?

– Мир велик, сколько надо пройти, чтобы всех обогреть.

– Мама! А у солнца есть своя мама?

– Нет, родная.

– Кто же приголубит, пригреет его самого-то, мамочка!

Похлебка

Умерла у Кати мать, умер и отец. Осталась Катя круглой сиротой. Дядя и говорит своей жене: «Примем Катюшу к себе». А тетка и говорит: «Последние гроши пойдут на нее, и соли-то купить будет не за что». « – А мы ее и несоленую, похлебку-то».

Зима
(Стихи И. С. Никитина)

*Вот и зима! Трещат морозы.
На солнце искрится снежок.
Пошли с товарами обозы,
Эх, по Руси да вдоль и поперек!*

Отче наш
(молитва)

*Отче наш, иже еси на небеси,
Да светится имя твое,
Да придет царствие твое,
Да сбудется воля твоя как на небе, так и на земле,
Хлеба нам насущного дай.
Прости нам грехи наши тяжкие,
Как мы прощаем врагам своим,
И не введи нас во искушение,
Но избавь от лукавого –
Во имя отца и сына и святого духа.
Аминь.*





ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Изгнали Матерь с двумя детьми на руках из большого, почти столичного города в двадцать четыре часа. В тот год, когда многих на Соловки изгоняли. Квартиру в центре отняли, сами же отцу Иосифу за ударный труд давали, сами и отняли – для себя, своих внутренних нужд. Два-три раза туда-сюда вот так с бреденьком по стране пройдутся, и проблема с жильем решена.

«Ну, куда деваться? – думала Мария. – Вон как все в разные стороны брызнули. Только старший брат и не бросил. Приехала Матерь к нему с двойней своей на руках в этот городок в серединной Руси – самый малый, пожалуй, во всей этой широкой скифской степи. И стали они жить тут втроем, потому, что брата сначала на белофинской ранило, а потом на германской и вовсе убило. И стали все жители тут звать Матерь «Адиева».

Адиева, так Адиева, а почему бы и нет?

Городок-то звали Адамов.

Может, и от Адама – «глиняный человек», а сама Адиева – от Адама и Евы. От Адамова – этого малого, однако старинного уездного городка, а ныне районного центра, райцентра, «рая», больше, бывало, похожего тут, по мнению многих, на «ад». Вот тебе и Адиева – выразительница такого отношения к «аду» и «раю», к большой политике, в которой она ничегошеньки ровным счетом не смыслила.

Между тем, люди в городке не торчали, как колос пустой над полем ржаным, а всегда тянулись к Небу. Боги, мол, не дадут их таких, обиженных судьбой, добить окончательно. Да откуда знала про это Адиева, что за этим стоит какая-то тайна: за этим у нее – Марии и отца ее двойни – Иосифа, отправленного на Соловки. Пути Господни неисповедимы. Творец Великий спасает, однако, тех,

кто стоит у людей на самом краю. Дети-то, ее сыновья, были умные, горькие, сызмала все понимали, когда она, бывало, наклонится к ним в постельке-то да и начнет петь колыбельную, да и слезьми-то обрежет их, обожжет.

«Колодники звонкою цепью

Взметают дорожную пыль».

– Сначала дадут, а потом забирают, – говорила она с ними. – Вместе с жизнью.

– Забирают, – учась, выговаривали они следом за ней. – Вместе с жизнью.

И не знала сызначала Адиева, что мир-то весь не только цепями обкручен, но и Любовью связан, проникающей во все времена и пространства. Вот посмотрите хоть так. Мечтала Адиева в том почти столичном городе, где прежде жила, стать, например, врачом. Дерзкая мысль, но выполнима, если, как следует, взяться и пальцев с бесовского горла не отпустить. С двумя детьми уж была, а на медрабфак учиться пошла, чтобы в мединститут хоть заочно поступить. А тут как уехала с детьми из центра ЦЧО в этот «рай», так все и полетело. Однако и тут в Адамове мечты своей не оставила: пошла в вечернюю школу. А ее, уже взрослую, к доске вызвал учитель Травинский:

– Читайте басню Крылова.

– «Свинья под дубом роковым»...

Засмуцалась, а он ей «двойку» поставил. А она аж паспорт потеряла, а без паспорта ты никто, не человек. О Господи! Чем детей-то кормить, как хоть насущный добыть? Брат-то уже сложил голову... Но Боги таких не покидают, предначертано что-то там, на небеси, раньше времени такие не помрут. Вот отсюда, наверное, и начинается притча. Со странным, необычным таким содержанием, но это тут, в этом мире, для обычных людей, а Богу там, за облаками – высоко-высоко где-то, все понятно, все самим прописано, своею рукой, расставлено по мес-

там, в связь чудесную, гибкую, многообразную – в гармонию мира обращено. Око Господне следит за всеми нами, чтобы было все справедливо на Земле, чтобы истина злом не перекрывалась, не то Земля собьется со своего круга, а Сатана со своими бесами разыграется где-то внизу, в аду...

Так подумывала теперь Адиева, а ведь была до того комсомолкой, хоть и казачьего роду урожденной была, из-под донского Калача. И еще пела Мария в первом еще, крестьянском хоре Пятницкого в своем Хуторе. Дискантом была, стояла в паневе в первом ряду... И не знала, что это и даст им хлеб насущный, поставит на ноги сыновей, откроет пути...

В самом деле, с того воистину и начинается притча. Прежде автором была написана повесть – причеть «Нерыдай меня, мати»; так ведь «причеть» – это от формы внешней, от причитанья, плача Матери, ее монолога. А по-настоящему, внутренне, по смыслу и содержанию, и то была притча – о ранней гибели Сына, плач по стоящему на краю человеку, народу своему, всему человечеству – в условной, осязательной форме.

Так и тут у Адиевой. И откуда было ей знать-то, что так все свяжется в единое русло? В узел тугой, неразделимый и вечный, идущий невесть откуда и неизвестно куда, о чем по причине ей поставленной «двойки» за басню она и придумать-то, предположить не могла. Как Судьба все у нее повернула... Все у Бога на учете, в его небесной канцелярии, но это потом, когда подрастут, приоткроют глаза свои шире сыны Адиевой, они все начнут воображать, представлять и сопоставлять... А пока мы тут с вами то назад попнемся, то вперед от настоящего-то потянемся. Все три времени в узле едином у Бога, у сил небесных, в том мире и этом, у него соединенных в одно...

Так вот, значит, война прогремела, людей поубивала, а жилье попала. Что делать, где жить? В школу двойня

пошла, а по выходным запрягались они все втроем в двуколку и, выпучив глаза, на себе бревна за три километра из Мурашихи таскали — из блиндажей, так строить дом начинали. А где взять денег на гвозди, на крышу, на доски для пола? Бог все видит и всем таким помогает. Но тогда были все атеисты, церкви последние изничтожили то оккупанты, то сами с усами, тоже хороши были.

Это сейчас видно нам, что Бог вмешивался в жизненный процесс, помогал таким, как Адиева и ее сыновья. Осталась жива у Адиевой после пожара в войну, когда дотла сгорел дом Адиевой, так вот, осталась у нее цела каким-то чудесным образом швейная машинка ножная — «Зингер», называется. У, сколько ей лет-то было уж этой машинке! Еще при НЭПе, после гражданской, отец послал дочь учиться в Борисоглебск, к частнику, на швею. А потом ей и эту машинку купил. С той поры и жива машинка-то... Педаль чугунная с колесом узорчатым, дубовый станок, стальная головка: по черному — золотом «SINGER», шитье — строчка по строчке... Вот она, кормилица...

И стала Адиева в мастерской сначала — для фронта шить белье да фуфайки, а потом на дому работать. И народ к ней пошел, время послевоенное. Ткани еще оставались кое-какие, а одежды почти никакой. Умоляют, просят люди Адиеву: сшей ко среде, пятнице, воскресенью. О Господи! День и ночь колупала то иголкой, то строчить строчила до самого, небось, Атлантического океана, может, даже самой Америки, а то и весь земной шар уже опоясала. А тут еще сорок седьмой: голод, холод и налоги дерут — «финны» пошли, как бы с войны вернулись в своих кожаных тужурках. И над всеми в этом «раю» — Властитель районного «рая». Правда, не китайского, а русского происхождения, по уличному дядюшка ФО. И сделала этот Властитель жизнь Адиевой в городке невозможной. Вся надежда у Адиева стала связываться со своей двойней. И называла она их тоже не так, как другие;

запись в актах гражданского состояния – одна, а по-уличному – другое. Один был Поэт, урожденный – Овидий, а другой – Историк, по имени Октавиан, а еще иногда прибавляли: Октавиан Август.

II.

Пошли в школу ребята Адиевой уже в сорок третьем, сразу же после Освобождения. И сразу же, хоть и двойня, а разные: один – по чтению получил первую «пятерку», а другой – «пятерку» по арифметике. Так и двигались они разными дорогами, но к одной цели. Один – Поэт, лирик, Овидий – как первый ссыльный поэт из Древнего Рима сюда, в Белую Скифию, а другой – Историк, прагматик, физик, метафизический отпрыск. Однако оба как бы от Аристотеля, отобразившего в своей «Поэтике» опыт как Гомера, так и всего человечества еще лет этак за тысяч пять догомеровских в области разделения властей – на духовную и светскую, о чем и сейчас еще не все хорошо представляют. Вот как об этом в «Поэтике» у Аристотеля сказано:

«Именно историк и поэт отличаются (друг от друга) не тем, что один пользуется размерами, а другой нет; можно было бы переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей как с метром, так и без метра, но они различаются тем, что первый (историк) говорит о действительно случившемся, а второй (поэт) – о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории; поэзия говорит более об общем, история – о единичном. Общее состоит в том, что человеку такого-то характера следует говорить или делать по вероятности или по необходимости... Однако в некоторых трагедиях одно или два имени известны, прочие же вымышлены...»

Обо всем Овидий, будучи поэтом, написал уже в седьмом классе школы, за что и был вызван директором Ада-

мовской школы к себе в кабинет. Тут же явился на помощь ему Властитель всего районного «рая» — известный под именем дядюшка ФО.

— Кто тебя этому научил! — с пристрастием спрашивал директор по фамилии Лившиц (конкретно).

Овидий не стал называть Аристотеля, а взял все на себя:

— Никто, я сам всему научился.

— Как это сам? — сдвинуло печальные брови начальство — дядюшка ФО. — А педколлектив?

Овидий знал, конечно, что учителя тут не при чем. А, кроме Аристотеля, причём ещё Пушкин. Солдаты ещё учили их с братом читать в сорок третьем, это когда шли бои на Орловско-Курской дуге. Тогда он сказал старшине, посадившему его к себе на колени: «Да, смогу».

— Да, смогу, — повторил уже вслух Овидий дядюшке ФО.

— Что смогу? — насторожился директор.

— А то... то... старшина вырвался из боя в окровавленном танке. А друг его сгорёл заживо...

— Ну, и что? — насторожился дядюшка ФО.

— Так вот он спросил: «Сможешь ли ты, сынок, когда-нибудь об этом всем рассказать людям?» И я ответил: «Смогу». А писать я потом и сам научился...» Да, помогают солдаты мне, и хорошо помогают...

— Да хоть кто! — допрашивался все директор, а дядюшка ФО («Финансовый Отдел», он и драл с мамани налоги) молчал.

— Известно кто — Пушкин! Его том — вот такая книжица — с первого класса лежала у меня на столе, как ем — так читаю, — сказал Овидий. — А во втором классе учительница Нина Борисовна мое сочинение в других классах уже читала. В третьем классе соседка Иголкина книжку мне принесла «Гамлет». Говорит, про призраков, сказки. И Гамлет помогал, и этот... Сервантес, его «Дон Кихот Ламанчский — рыцарь Печального образа жизни»...

– А этого где взял? – поинтересовался живо дядюшка ФО.

– С Репьевки, Лешка Клоп, принес, выменял у меня. Мы с ним «Аврору» сделали – модель такую из фанеры, дерева... А в пятом – Серый Есенин попался – в магазине «когиза», книжка в сером коленкоре, с березками... И позвал Есенин меня в поэзию, после свои стихи стал писать я... А с седьмого – они у меня запелись. Шел, помню, в марте мимо сквера, присел на скамейку, а с акаций капель «тинь-тинь», «тинь-тинь», как синички... Давайте, сейчас покажу...

– Да что ты! – повернулся резко дядюшка ФО к директору. – Он что у вас – ненормальный?

– Ничего, ничего, – спохватился директор. – Постой в кабинете у меня с мясчишко у печки, одетый, – поглядим, что получится.

– Ну, это как ее... как же? – вернулся к исходному рубежу как можно спокойнее Властитель Адамова.

– Вам про кого это, дядюшка? – вздохнул тяжело сын Адиевой – римский ссыльный поэт. – Про Аристотеля или про Овидия?

– А-а-а, – махнул рукой дядюшка ФО и толкнул дверь рукой от себя.

С той поры и прилепилось к Поэту – сыну Адиевой – кличка Овидий, умный больно, ссыльный поэт. Умный больно народ в этом Адамове, враз тебе кличку вклеят и на всю жизнь, до седьмого колена.

А теперь что происходило со вторым сыном Адиевой – с Октавианом Августом, близнецом – братом Овидия. Тоже из Древнего Рима. Октавиан Август – был такой император во всей Священной Древнеримской империи. Так вот, Октавиан был копией брата, тоже книжки читал, но другие – по математике, по всяким точным предметам. Это как с мясом. Чтобы всем хватало, не вырывали бы люди кусок друг у друга, разные народы потребляют разное мясо. Мусульмане, например, не едят свинины, а христиане – конины...

Кроме того, Октавиан любил еще и гулять. Была такая мода тогда у молодежи: в Одессе – «прошвырнуться по Примбулю», в Москве – по Арбату, в Питере – по Невскому, в Орле – по «стометровке», от главной площади до горсада. А тут в Адамове – по Советской улице, с Орловской стороны на Курскую, через весь городок...

Так вот, гуляют адамовские ребята – физики, лирики – по своей булыжной-то мостовой, о чем только не наговорятся – молодежь ведь, в голове чего только не роится, все больше о будущем, о перспективах. Историк, прагматик Овидий, чувствует, под ногами что-то журчит – как вода, в Трускавце или в Эссентуках, а может, и нефть. Вот произвести бы, говорит, наклонное бурение, да и качай себе «черное золото» на станцию в нефтецистерны, а то и на всю страну – деньги потекут, асфальт настелют, вид приличный станет у Адамова, утопающего пока что в садах и... по пояс в грязи, военная кровь еще не просохла...

А еще вот о чем думалось Октавиану Августу-историку. О Пути вечном, общечеловеческом – в прошлом, настоящем и будущем. Все три времени сразу в высях, на небесах, – на Млечном пути, по которому у кравенцев, их пращуров, испокон ходит черная корова, дает белое молоко. Все в Божьей воле – сделать белое черным, а черное – белым. В Божьей воле и то, что они живы, живут тут сейчас, в Адамове, в этой скифской степи, а не там, откуда их выставили когда-то в двадцать четыре часа. Все остальное ерунда, а дороги пока все-таки врозь, и по временам и пространству. В настоящем – дорога ведет на станцию, откуда адамовцы ездят в область. В прошлое всегда уводила Таганка – «сакма», дорога еще в те – монгольские времена, проложена по самому гребешку Среднерусской возвышенности. Отсюда и начинаются истоки адамовских рек. Направо плесни из кружки – Ока начинается с Очки, течет в

Волгу, впадая в седой Каспий; налево плесни – в Со-
сну-реку попадешь, а та – в Дон, а тот уж – в Азов, в
Черное море...

По этой «сакме» золотая орда из дикой степи совершала
свои набеги отсюда, с юга, и далее на Москву... Октавиан
пронзает мыслью весь путь орды – сюда оттуда, от Керкеле-
на, что у подножья Поднебесной империи. Скифы, сарматы,
персы, авары, а прежде арии, арии; арии, получается, кати-
лись сюда то Южным Уралом (Северным Причерноморьем),
а то больше створом этим – по узкому коридору между бере-
гом и самим Каспием. Из Азии в Европу и проходили волны
эти: Чингиз-хан, хан Батый, Тамерлан Железный... Все эти
арии катились волнами и накрывали собой Европу... Сколь-
ко волн легло на кельтов – невообразимо: изменяли лик Ев-
ропы; германские, славянские племена... Неодолимым же-
ланием Октавиана было, эх, побывать в каспийском Дербенте
или в Риме, хотя бы в Неаполе... Вот за что и прозвали с
детства его тут по-уличному Древнерим-
ским императором Октавианом...

II.

Когда пришло время Овидию и Октавиану заканчи-
вать среднюю школу, чтобы, как и всем тогда, ехать учиться
куда-либо дальше, Властитель «рая» дядюшка ФО вы-
звал к себе директора.

– Ну, и как? Что с этими золотыми делать будем? –
спросил жестко дядюшка ФО, имея в виду сыновей Адие-
вой, тянувших с первого класса явно на золотые медали.

– Все золото ищут, – сказал вроде бы ни о чем пан-
директор. – Поэт ищет золото в слове, Октавием Ав-
густ – в истории, в камне.

– Значит, так, – положил Властитель ладонь на теле-
фонную трубку, связывающую его, может, даже с Крем-
лем. «Власть есть власть, заснуть не даст(ь)», – подумал
директор и сказал вслух:

– Значит, так, как я понимаю. У меня много детей, кормить надо. А подруга Адиевой зав. столовой, а муж – председатель ГорПО...

– Гор-ФО, – поправил его Властитель. Очень уж он любил это ФО, медом его не корми. И подумал: «Дай этим братьям, так не выбьют на камне эти «ФО» – да низачто!»

– Я вас понял, – сказал директор и дали медали дочерям городского, районного ФО, а сам директор получил доступ к кладовой.

И вместо Москвы близнецы-братья попали на учебу в город не севернее, а южнее Адамова.

* * *

Вот и продолжается собственно, эта притча. Обобщения, иносказания и противопоказания. «Человека делает Человеком что? – Четыре «ЭС». В крайнем случае – три: Страх, Совесть, Социальная Справедливость (откровенно говоря, втихаря: только одного знал Овидий на все три «ЭС»: это декан С.С.С. Ни у кого других такого сочетания не было. У других, хоть одной буковки, а не хватало. И еще кого знал Овидий, так это Кусакину – колдунью, жившую ниже кладбища, близко к Беленькому – урочищу такому, оврагу, болотине.

– Я – сова! – во мраках своих говаривала Кусакина. – Живу меж кладбищ – адамовским и немецко-фашистским.

Дело в том, что чуть ниже ее усадьбы, на этом Беленьком, в войну гестаповцы расстреливали партизан, а также «своих» несогласных, из вермахта – армии Третьего Рейха. Кусакина доводилась сестрой подруге Адиевой. Именно Иголкина дала почитать когда-то Овидию «Гамлета», а взяла его у Кусакиной – у своей сестрицы. Подруга Адиевой была русская, а сестра ее, как говорили в Адамове, еще с той мировой войны являлась австрийской военнопленной. Почему женщина и почему военноплен-

ная? А кто же ее знает, это как Сальветы в Малоархангельске, закрыто временем и пеленой неизвестности. А Колдуньей звали ее, потому что, говорили, была она сербиянка – цыганка такая, черной, пронзительной масти. Гадалка, все по руке узнавала людям, всю подноготную, всю судьбу выворачивала. По годам, даже по числам предсказывала, особенно насчет смерти. Кто когда и во имя чего помрет? Ажник делалось страшно.

Овидию не хотелось знать свое будущее, он избегал гаданий с предсказаниями, предпочитая свободную стихию жизни, мистику карт с тремя «эс» и четырьмя неизвестными и слов из фантастики собственных снов. Однако верил Овидий Кусакиной более, чем другим, многим жителям Адамова. И держал Овидий стихи свои не где-нибудь в швейцарских банках, в записях актов гражданского состояния, а у Кусакиной, а та никому, кроме Бога, хотя и слыла Колдуньей, по крайней мере, никому не давала читать. Подозревалось, даже дядюшке ФО – Властителю здешнего «рая», который любил совать нос, куда его не просили.

— Все дело в том, — говорила Кусакина, — что когда и кому каким хочется видеть. — А Овидию приговаривала еще и отдельно. — Все путешествия, прежде всего, совершаются внутри самого себя.

Побывали как-то и мы с Овидием у Кусакиной. С той поры и мне давала Колдунья кое-что почитать. Вот они, эти

«Записки Овидия».

«Три «Эс» человека делают Человеком: страх, совесть и справедливость. А само движение, тягу жизни осуществляют Любовь, Тайнства, Красота...

Она сказала: «Все путешествия совершаются внутри самого себя?» Это она сказала так, потому, что сама никуда не ездит, даже автобусом на станцию; говорит, что

мутит ее, кружится голова. Как подозревают в Адамове, не хочется ей показывать свою охоту к перемене мест. Что хоть в какой-то мере характеризует ее прежнюю связь с Австро-Венгрией, Сербией: невыездная, заграница с таким «табу» по ней плачет ...

Вот одно такое путешествие внутри самого себя. Она дала мне обрывки и не сказала от кого.

1. «Обернувшийся бестселлером популярнейший «Заратустра», – говорят, – третий по счету идол (наряду с Лютеровской «библией» и «Фаустом») в рюкзаках немецкого юношества отправлялся на фронт».

«И вот снова Фридрих Ницше на русском языке <...> Ницше, обогащенный, табуированный, пораженный в культурных права, обреченный на пиратское существование <...> и все еще сенсационный <...>

О шифре он обмолвился сам, нечаянно выдав собственную тайну, – еще в первой своей юношеской книге о трагедии: в том samozахватывающе исповедальном отрывке, где речь идет о «демоне» Сократа, убийцы трагедии, – демоне, велевшем Сократу слушаться музыки. Трагедия умерла, но трагедия возродится, и символом этого возрождения был бы оставшийся в музыке Сократ – ненавистный диалектик, который обменял бы всю оружницу на внезапное чудо – запеть... «По сути дела, это музыка, случайно записанная не нотами», а словами (письмо к Софии Ричль от 2 июля 1868 г.)».

Что это? Опыт самокритики и сама практика? Почему прибавить к этому нечего? Не так давно я слушал оперу Рихарда Вагнера «Нюрбергские мейстерзингеры» в исполнении артистов «Метрополитен опера». Меня поразила как длинное слово убило короткую музыкальную фразу. Зачем Вагнер писал сам либретто?..

Кусакина рассказала, как летом сорок второго, когда в Адамове были еще оккупанты, а линия фронта проходила где-то за Колпной, по реке Фошне, отсюда километрах в ше-

стидесяти, и была еще полная неопределенность, — мимо ее усадьбы, ранним утром, когда она стояла у крайнего дерева, кажется, липы, проезжала грузовая машина с людьми. В очередной раз гестаповцы вывозили «своих» в Беленькое на расстрел. И юноша с рюкзаком за спиной откуда-нибудь из-под Мюнхена или, может быть, унтер-офицер из-под Веймара, чуть старше юноши, швырнул ей этот рюкзак.

Она схватила рюкзак и побежала, и пуля ее не настигла. В рюкзаке была книга «Так говорил Заратустра».

Кусакина дала мне эту книгу. Вот она.

IV.

Война и мир, мир и война. Как же мог мир в этой книге, как он мог превратиться так быстро в войну?

Из предисловия Заратустры.

«Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но, наконец, изменилось сердце его — и в одно утро поднялся он с зарею, стоя перед солнцем и так говорил ему:

«Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! <...>

Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне.

Я хотел бы одарить и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему.

Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!

Я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, к которым хочу я спуститься.

Так благослови же меня. Благослови чашу, готовую пролиться <...>

Взгляни, это чаша хочет опять стать пустою, и «Заратра хочет опять стать человеком».

– Так начался закат Заратустры».

* * *

Так началась и вторая жизнь Овидия – сына Адиевой, Поэта, некогда изгнанного из Древнего Рима. Вторая жизнь в Адамове – его неустанный, беспримерный подвиг по поиску золота в слове, витающего в высях где-то неуловимо то в божественно прометеевых, небесно огненных сферах, а то в недрах земных, извлекаемых из народных, амфиареевых недр, обвиваемых стихиями Моря и Океана.

Однажды к близнецам-братьям Овидию и Октавиану пришла старшая дочь Властителя – дядюшки ФО. Она жила в другом городе с матерью, а не тут. Стыдно, сказала, ей жить с отцом, который всерьез считает себя Властителем всех, которому все обязаны всем.

– Чего там, – махнул рукой Поэт и заметил, как зеленая искорка из ее глаз перебежала не к нему, а к брату Октавиану. А Октавиан, наоборот, заметил, что та же самая искорка перебежала, наоборот, не к нему, а к брату его Овидию.

Искорка означала Любовь, но к кому? Оба брата были, как две капли воды – и лицом, и фигурой. И одевать-то их Адиева-мать старалась одинаково; всегда покупала обим одно и то же. Знала, как ревностно относятся они к тому, чтобы у одного было то же, что и у другого.

Вот с этого начиналось соперничество близнецов-братьев из-за дочери дядюшки ФО. Девушка по имени Купава давно уж уехала обратно к своей матери, в другой город, а они все посылали ей вслед отсюда воздушные поцелуи. Овидий все больше проявлял себя, как поэт, в

поисках золота в слове, в превращении слова в золото. А историк, прагматик Октавиан Август – в поиске золота в камне, превращении камня в золото. И выражалось у обоих все это пока что в одном: в рассказах о любви, о прекрасной девушке, встреченной ими, о своих неустанных шагах по жизни во имя той девушки, с ее всевозможными мистическими превращениями, как вовне, так и внутри самих себя. Такая вот, казалось бы, капелька, как мимолетная встреча, два-три атома, введенные в материю способны были кардинально изменять ее свойства, так и они, эти атомные изменения, касались навек этих близнецов-братьев. В своем соперничестве сыны Адиевой за явными и скрытыми возможностями любить женщин видели тайный смысл и с этим связывали поиски золота в слове и камне.

Вот рассказы Овидия – слова, иногда рассказанные под музыку.

1. Мастер Зингер.

«Всю жизнь думаю об этом Дербенте где-то на Каспии, о Дагестане, – стране гор на Кавказе, закрывающей, как пробка, джина в бутылке, а чтобы не вылезал. И вот назад пошли те самые «джины», которые когда-то прошли через этот проход из Азии сюда к нам и далее в Европу, накрывая волнами обширные территории, арии ложились на кельтов. И вот – пришло время – они возвращаются, стремятся опять же сюда, к Дербенту. К проходу, откуда когда-то явились миру. Обратные волны: Наполеон – в девятнадцатом веке, Гитлер – в двадцатом...

Как все мистически невероятно, божественно соединено в один узел, такой тугой, аж звенит. Хотя бы такое слово – волшебное, оно интригует, звенящее – «Singer» («Зингер»). В 1811 году, как раз перед походом Наполеона в Россию, в Америке в штате, что ли, Кентукки, ро-

дился мальчик, наподобие Гекльберри Финна, по фамилии Зингер. Ему-то и обязаны братья – сыны Адиевой, по сути спасением, жизнью. Ему, этому мальчику, суждено было изобрести швейную машинку, присвоив ей свое имя. Как и в те времена, Ремингтон, изобредший пишущую машинку, она стояла, помню, в передней музея Льва Толстого в Ясной Поляне. А Вагнер в те же благословенные времена написал оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры». И вот те, кому надо, отменили рабство в черной работе с иглой, построили швейные фабрики, используя эту машинку «Зингер». Однако «вместо цепей крепостных люди придумали много иных». Вот и Адиевой еще с молодости, как невесте на выданы, помнится этот Зингер. Что после войны было бы с Адиевой, с ее сынами – двойняшками, если бы не этот Зингер, родившийся когда-то где-то в Америке, если бы не его «машинка». После войны, когда все кругом опухало с голоду, мерли, дети Адиевой искали золото в слове и камне...

Вот тебе Вагнер немецкий юноша – солдат, бросивший с машины рюкзак с книгой, в которой говорится о музыке, пении – это счастье соединять слово с музыкально осмысленной фразой. «Зингер» в переводе, «Мейстер Зингер» – мастер песни, песенное мастерство.

Слово – мистика, слово – музыка, эта машина времени и пространства, это – Судьба!

«Музисьон» как голос Александра Македонского.

«Вначале было слово», – так говорит Библия. Слово Божье, слово человеческое. А музыка? Шумы ветра, ритмы волн морских, слагающиеся в мелодии, разве они не были ранее слов? Заложил Александр Македонский в Египте Александрию, при городе велел построить пятое чудо света – Александрийскую библиотеку. Не было ее много-томнее, многозначительнее. Только знания могли соеди-

нить в центре тогда известного мира Запад с Востоком. Знаменитый Фороосский маяк указывал путь к знаменитой библиотеке, и корабли, шедшие на маяк к устью Нила, платили дань с каждого корабля в виде рукописных книг, не было тогда книг печатных. И столько книг тут за века накопилось, столько знаний – этого бесценного золота в слове! И построили при библиотеке книжный филиал «Серрапиона», а при филиале еще и филиал музыкальный, назывался он «Музисьон».

Аристотель, передавая свою библиотеку в Александрийскую, пожелал, чтобы с божественным словом в правах уравнили не менее божественную музыку. Открытый при «Серрапионе» «Музисьон» сделал слово еще более божественным, золотым. А пришли римляне с Юлием Цезарем и сожгли все это. Никто теперь не знает, где была Александрийская библиотека, тем более, «Музисьон». Идут потоком ныне туристы. Возьмет кто-нибудь морскую раковину, приставит к уху: где сильнее звучат шумы волн морских, слагаясь в мелодии, там, говорят, и был «Музисьон». И мы верим. Не хотят люди просто так уезжать отсюда, не познав «Музисьона», не услышав голоса самого Александра Македонского. Все понимают животные, даже растительный мир – на уровне человека, только не говорят. Слово только у человека. Когда он заговорил, тогда, вероятно, он и стал человеком, прорвав пленку миров, перейдя через грань. Вот каков смысл выражения «Вначале было слово».

2. Карталы и идея бессмертия.

Спустились арии вниз по Уралу, до самого края, где находится центр Вселенной – Разум Земли. С Севера на Юг пойдут – до Индии дойдут; в Тибете где-нибудь ранними христианами станут, со всеми своими золотыми словами о бессмертии души, с выражением «Возлюби ближнего, как самого себя». А пойдут на Восток и Запад – вот тебе крест и образуется. А если его, Крест, вертикально

поставить, то верхним лучом поднимется он на Небе к Богу, в райские кущи, а низом – к Амфиарею попадет, в гены огненные, кипящие. Не оттуда ли Крест христианский – от Разума Земли, где когда-то обитал Заратустра, а не только крест идущий, от распятого Спартака?

Необычна земля на юге Урала – магнитная. Взяли люди тут и копнули ее поглубже. Да потом так раскопали – тридцать пять тысяч шахт обнаруживается. Золото искали, а нашли руду, выплавляли – получилось железо. Стали изготавливать стальное оружие – мечи, щиты, стрелы. И пошли войны, понятие «бессмертия» сменилось понятием «смерти». Но для души все же капельку жизни люди оставили – «бессмертные души». И где оно? А в раю. А рай где? А на самом краю широкой скифской степи, в Ирии – где-то в устье Днестра и Дуная. Вот и шли сюда со стадами своими кочевники – степняки по двенадцать километров в день. На Запад, вслед за уходящим Солнцем, сильно веря в золото слов этих – «рай» и «бессмертие».

3. Золотые облака.

Чтобы быть достойно похороненным в земле родимой Итаки, Одиссей отправился в новое плавание в те места, где бы весло в его руках приняли бы за лопату. И куда именно? А сюда к нам, в Белую Скифию, откуда в Элладу идет хлеб, выращенный нашими пращурами – скифами, особенным скифами – сколотами, хлеборобами. «Однако укрепить торговые отношения со Скифией, – думает Одиссей, – это одно. А я ведь царь, мне нужны новые идеи».

– Широка земли! – воскликнул Одиссей. – Сколько степи тут, как моря в Итаке!

И тут над курганом Одиссей увидел облако.

– Какое нежное! – удивился Одиссей. – Золотое – презолотое!.. Почему? – спросил он сколота на телеге, собирающегося взмыть в небеса на огромном змее, из сухих бычьих шкур.

Это был сколотский князь Колаксар, не раз перелетавший на змеях через реку Итиль (Волгу).

– Золотое облако – это от слова, – сказал князь Колоксар, – которое знают герои.

– И какое же слово? – удивилась богиня Гера. – Солнце?

– Да, Солнце! – засмеялся князь Колоксар. – Ирий – рай наш сколотский тут, в устье Днестра. И над ним эти золотые, нежные облака. А на них, как в раю, наши герои бессмертны.

«А вот у нас на Олимпе один только Зевс, да еще свита его, приближенные, – подумал Одиссей. – Даже царей туда не пускают... Идею бессмертия для героев, для всех, кто принес пользу отечеству – вот что привезу я отсюда домой, на родину!.. Облака, облака золотые! – закричал царь Одиссей в восхищении. – Плывите, нежные, летите вместе со мной туда, за Геллеспонт! Несите меня в родную мою Итаку!»

4. Аспазия, малая родина.

Жила была в Элладе, во времена Аристотеля, женщина по имени Аспазия. Так привыкли тогда все воевать друг с другом: Афины со Спартой, Аттика с Македонией, «троянцы» со всеми остальными, что даже как раз перед нашествием персов и то не просыхали от крови меча. Мужчины ведь, доблесть видели в войнах и распрях. И тут прозвучало золотое слово, сказанной этой Аспазией, о своей малой родине, о доблестно павших: «Мы отдали им положенный долг, и, приняв его, они следуют теперь дорогой судьбы, сопровождаемые как всем городом (Афинами), так и своими близкими. Закон и наш долг повелевают нам воздать им в слове последнюю честь. Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях остается в памяти слушающих, к чести и славе тех, кто эти дела свершил. Необходимо сказать такое слово, кое достаточно прославило бы погибших, а живых благожелательно убеждало

подражать доблести павших <...> Итак, вославим прежде всего благородство их по рождению, а затем их воспитание и образованность. Вслед за этим мы покажем, как выполняли они свой долг»...

Скажем на это: «А чем речь Аспазии из «Диалогов» Платона не схожа с золотым словом Великого князя Киевского Святослава из «Слова о полку Игореве»? Со словом золотым о свободе, о павшем герое, пропетом уже из двадцать первого века?

5. Звуковая поэзия мира.

Искал, искал золото в слове поэт Овидий из Адамова – городка в серединной Руси. Со всех сторон слово брал и обозревал, брал и играл им, как мячиком, подкидывал, переворачивал, внутрь заглядывал, все допытывался: из чего хоть золото в нем получается? Прямо алхимик какой-то. Не хватает колб, реторт и мензурок, чтобы слить туда, скажем, две доли соляной и одну долю серной кислоты, чтобы образовать «царскую водку»... В конце концов, слово само внутри у Овидия заговорило, звуки наружу вырвались, мелодии выпростались из слов. Глянет Овидий на стихи – эти поются, а эти – нет. Хоть какой автор, хоть какая страна – одни поются стихи, золотые слова для песни, а другие не поются, хоть тресни...

Началось все, конечно, со своих стихов, потом с русских, близких поэтов. Потом пошли песни из прекрасной, тонкой французской поэзии – со своих переводов Рембо, Бодлера, Верлена, Аполлинера, Элюара и т.д. (кассета «Французский шансон»). Потом – со стихов таинственных, вдохновенных испанских звездочетов и, прежде всего, Гарсиа Лорки («Андалузские ночи»). И пошло-покатило, песня за песней, концерт за концертом, – бразильский («Ламбада и танго»), перуанский («Индийская голубка»), американский – США («Тихо поет Америка»), британский («Смеющаяся Англия»), итальянский («Сонеты Петрарки»), польский («Славянская тетрадь»), «Викинги (Норвегия), «Восточные арабски» (Пер-

сия, Аравия, Турция) и т.д. Все концерты пошли потоком, песни – по авторам, жанрам; крупная форма слова легла после на звуковые напевы, мелодичные возможности, музыкально-лирические напевы.

Поэзия каждой души, страны, мира всего глянулись вдруг с иной стороны, а как оно, это слово, поется? Вот тебе Аристотель! Вот тебе «Музисьон» Македонского! Вот тебе Боги – звуки с золотом слова, а слово из самого сердца, с золотых облаков!

А вот рассказы Октавиана Августа – другого сына Адиевой, рассказанные, словно спетые.

1. Золото в камне.

Встретит Октавиан брата где-либо на тихой улочке Адамова да и спросит:

– Все поешь?

– Все пою, – получит он ответ от Овидия. – А ты все рассказываешь?

– Все рассказываю, – ответит Октавиан.

Что поделаешь? Хоть и близнецы-братья, а одному Бог дал голос, а другому – мысль. «Что написано на роду, то и будешь носить на беду», – думает один, рассуждая, скорее всего, по Юнгу с его «коллективным бессознательным». А другой брат так про себя по этому поводу мыслит: «Чужую беду пальцем разведу, а мне бабушка надвое сказала». Это так говорит про себя Октавиан Август, оставляя себе возможность для выбора.

Идут вдвоем они в Мурашиху – в лес за опятами. За заводом дорожка на трое делится, – камень посередине. Как в сказке, куда идти? – налево, направо или прямо? Овидий идет, напевая, прямо, куда ведет мелодия. А Октавиан остановится: и куда далее? И ищет золото уже не в слове, а в самом камне. В камне ищет он свое золото. Как алхимик какой-нибудь из средних веков.

Овидий уже и назад возвращается, тащит мешок с опятами. Размялись опята, грибная вода течет из мешка по спине.

А Октавиан Август все еще стоит у Камня в великой задумчивости и размышлении. Ищет он день и ночь свое золото, свой Философский Камень. Вещество, известное еще с незапамятных времен, с помощью которого из одного материала можно сделать другой или хотя бы изменить свойства этого материала до неузнаваемости. Например, очень любили алхимики свинец превращать в золото.

И потом перед Октавианом в разные моменты жизни возникал такой камень, а за ним развилка – возможность движения сразу по нескольким направлениям. Однако не сразу понял Овидий, что это значит. Лишь потом ему стало понятно, что все это ему Бог устраивает – берега намечает, очертания Судьбы. Однако Октавиан и сам себе выбор делал, на себя надеялся, когда искал для всех золото в камне.

Так и жили. Камень на пути в Мурашиху один, а братьев – двое, а глаза – четыре.

2. Вавилоновка.

И была под Адамовом деревня с таким странным названием Вавилоновка. И жил с краю этой деревни друг Октавиана Августа – Землеустроитель, чудаковат, но с московским высшим образованием. И необычность его была, скорее, в том, что не землю он мерил, а в том, что он то собак разводил – русских борзых, то еще каким-либо чудачеством занимался. Как выйдет, бывало, Землемер этот из дому, а борзые вокруг него так и вьются, так ходуном и ходят. Любовь свою и уважение животного мира к нему, человеку, показывают.

И странность его, как понимал Октавиан, состояла еще в том, что он осознавал в себе ее, эту самую странность, считал ее золотом, желая больше такого золота внутри самого себя, чтобы поменьше было в нем этого самого Юнга, его «коллективного бессознательного». То есть глосса предков, ведущего по наследственной линии и не дающего поднять головы, когда хотелось держать голову-

то повыше. Вот Вавилоновка – такая деревня на самом краю Адамова! Отчего же она носит такое название? А тоже, конечно, история, Вавилон! И была в Вавилоне некогда башня из глины до самого неба. Люди строили ее, понимали друг друга, а как башня упала, так и пошли разные языки.

Октавиан – Историк взял и написал в рай – газету «Астра»: «Вавилоновка – хорошо, а где башня тут и в чем она состоит?» И получил ответ письменно, тоже через газету: «Вавилоновка – потому, что жили тут поголовно все отовсюду, разные национальности, а когда восстанавливали город после войны, то строили как бы башню». На улице подошел к Историку Землемер, родом тоже из Вавилоновки, и сказал ему на ухо:

– Слышал, правда ай нет? Только что сообщили: Ельцин помер, похоронят на Новодевичьем. Как Хрущева. Так и этак, черно-белое. А ведь русский был человек.

– Да ты что? – аж отпрянул от него Октавиан. – Ну, кто еще на такое способен? Говорят, подошел к старушке вытащил деньги и от души подает старушке: «Бабушка, вот тебе. Не смог покамест пенсию тебе повысить. Пока не повышу, буду платить из собственного кармана».

– А сам «семью» развел, заводы приватизировал, – подошел другой мужик, тоже из Вавилоновки.

– Догадался, почему Вавилоновка! Об одном и том же, а разные языки! – воскликнул Октавиан Август, тоже мне император Священной Римской империи. – И как уходил, лично власть другому передавал. Но «золотую мину» оставил.

– Да, конечно, – продолжил Землемер. – Плох если вам я со своей интуицией, так сказать, поэт во власти, без царя в голове, вожь отпетый, крестьянский, – продолжал Землемер, – Степан Пугачев и Чапаев вместе взятые. Так сказал: «Не такой я вам? Вот вам тогда другая система – аналитическая, эта всех вас причешет»...

А борзые винтом вокруг, а борзые винтом – все семь штук. Так и ушел Землемер на свою Вавилоновку. А Октавиан Август смотрел ему вслед и думал: «Золотое слово сказано, или не золотое? Но раз «хадж» совершил Ельцин, съездил накануне на Иордан – совершил омовение, да еще теперь отпевают его в храме Спасителя всея Руси, стало быть, дай время, еще и к лику причислят»...

Вот тебе Вавилоновка! Что лучше – когда говорят по-разному, а думают об одном? Или, наоборот, когда думают по-разному, а говорят об одном?

3. Каждая травинка божественна.

Задумался историк Октавиан и опять перед взором двойственность: то внешнее – степь ковыльная, хлебная повесть со своим раем в конце, с идеей бессмертия – этой главной идеей христианской. И все туда, в Элладу, идет вместе с хлебом, с царем Одиссеем, а оттуда, уже потом, сюда обратно возвращается в виде веры Христовой, прославляя малую да и великую родину. А то внутреннее: в сердце Бог нес это счастье, каждая травинка, каждая ковылинка в степи – от Бога. И тогда золото уже не знак раздора и войны, зла людского и конкуренции, а слово – солнечного сияния, любви, символ и стимул движения и достижения. Но это так говорит брат его Овидий, поэт, смущая всех, в том числе и его, Октавиана Августа.

А то... а то... Сам-то Октавиан – прагматик, физик – на чем стоит, что предписано ему одной и той же рукой? Алхимия какая в нем на новом витке повторения? Какая-то манипуляция с атомом, формирования нового. Достаточно нескольких пиков, чтобы проникнуть вовнутрь: духовное перевести в материю, а материю – в дух. Терпенье, мой друг, и рога твои превратятся в копыта».

4. Обращение.

*«Не трудись, Господи,
Ибо я недостоин,*

*Чтобы ты вошел под кров мой,
Но скажи СЛОВО,
И выздоровеет слуга мой».*
(Перевод с португальского).

5. Купава.

Пришла опять к ним, обоим братьям, Купава и так сказала чужое, ставшее вдруг своим:

*«Что случилось однажды,
Больше может и не повториться.
Но что случилось дважды.
Случится непременно и в третий».*
(Пауло Коэльо).

Один брат – Овидий, поэт, лирик, подумал: «Двое нас, близнецов-братьев, значит, существует кто-то еще и третий?»

А другой брат – Октавин, историк, прагматик, физик, сказал:

*– Земное все свершено, все уже сделано.
Лучшего не сотворить.
Надо только проникнуть в созданное,
Чтобы служить.*

«Главное, – подумали братья разом, хоть и в разных местах, – что кому когда каким хочется видеть».

VII.

Овидий все чаще бывал у Кусакиной, этой Колдуньи. Живет она за кладбищем, возле Беленького. Муж ее Черва – кладбищенский сторож, копает по совместительству могилы, Кусакина состоит при нем. А Черва вечно пьян, по-настоящему именно он притягивает смерть одним только своим жутким дыханием, не говоря уж о жутких словах и мыслях, содержащихся в нем где-то внутри, в невероятных качествах и количествах.

– Ты у меня, Черва, попляшешь.

Это у него знаковое слово в разговоре с любимым, кто ему в разговоре не нравится.

– Я тебя, Черва, к червям не пущу. Полежишь, у меня во гробе, подождешь череда своего.

Овидий пришел к Кусакиной, когда Черва уже принял «дозу» и лежал в сенцах, не переступив порога. Валлся серым мешком возле бочки. Потолки у Кусакиной черные, прокоптелые снизу, зато стенки белены мелом. Воню от лоханки несет, какими-то могильными миазмами, зато весело трещит русская печь.

А там внутри, где-то за печкой, находится чистенькая комнатушка. На стенке висит полка с книгами, под ней – железная коечка, с пикейным одеяльцем, тут-то и обретается Кусакина. Мистика какая-то: мрачно и светло, окошко распахнуто в сад и на кладбище.

Тут Овидий бывал уж не раз. Тут-то и давала она ему интервью, а также читать «Заратустру». И еще Овидий подозревает, что именно отсюда происходит тот самый «Мюнхгаузен», «Гамлет», та самая книжица про призраки, которые ему давала когда-то сестрица Кусакиной Иголкина, бывшая их соседка по другой улице.

– Зачем сюда? – простонала Кусакина и присела на табуретку, поближе к порогу, за которым лежал ее Черва. – Скажи вот ему, – показала она на Черву, – он хоть и во сне, а слышит. А я, как всегда, после еще ему переведу.

Черва заворчался и стал крутиться, бормотать что-то. Проскрипел и затих.

– Есть контакт, поймала нитку, – сказала Кусакина. – Слушай сюда... Ты все ищешь золото в слове? Хочешь, чтоб я тебе все рассказала?.. Черва говорит, закопал на той неделе одного земляка из Москвы, привезли на малую родину... московский профессор... Устанавливает сейчас с ним контакт... Тот говорит ему, мол, хотят в слове золота, а у самих мозги по дешевке катят, как с накатанной горки. Как вбили кол еще при Николе, так на нем и сидят...

– Кто такой Рахметов? – говорит он Кусакиной.

— Это в другой раз, — забормотала Кусакина. — А сейчас про новоприставленного...

— Про кого же? — переспросил Овидий Кусакину. — Про усопшую бывшую власть? Так чехвостили с утра по радио, по «Серебряному дождю»... Спроси хоть Черву, что про это кажет московский профессор...

— Эй, дед! — расталкивает Кусакина пьяного Черву. — Эй, дед! Ты меня слышишь?

— Он говорит, — уже как-то четче, подобраннее сказала Кусакина, — вот что.

— Про царя, вождя крестьянского не надо, — поморщился Овидий, — это я уже слышал. Что говорят в высших сферах, интеллигенты?

Кусакина, прислушиваясь к хрипам Червы, клонится ближе сюда, к Овидию:

— Говорит, тот профессор сам три дня и три ночи стоял в толпе у Белого Дома... Говорит, он дал Свободу, что это поэт был во власти!.. В мире сроду такого не было... Такую цепь выстроят: Александр Македонский — Наполеон — и он вот...

— Надо же! — спохватился Овидий. — Хотя, правда, Македонский был не столько полководец, сколько философ...

— Еще слово назвал! — насторожилась Кусакина.

— Какое?

— Главное, говорит.

— Ну, какое, какое?

— Прометей! Так сказал московский профессор. Всем дал Свободу, а сам на Скале...

— А не слишком?

Кусакина сидит, нюхает воздух, прислушивается к дыханию Червы. Видимо, там, на кладбище, есть такое мнение, оформится к лету, а тут уже через этого Черву — служителя мертвых, доходит и до него, Овидия — первого ссыльного поэта Древнего Рима. Господи, неисповедимы пути твои. Воистину чудеса.

– Про золото в слове хотел продолжить, – заворчал нечленораздельно Овидий. – От первоисточника подпитаться... от клиента московского... Из чего золото в слове двадцать первого века будет складываться?

– Какова эстетика будет, такова и эволюция, – блеснув живенько глазками, четко сказала Кусакина без всякой шепелявости.

Вздрогнул Черва, покосился из-под руки на нее:

– Чего это ты, ведьма, ай совсем спятила?

– Про золото мы в другой раз, – усмехнулась Кусакина Октавиану Августу. – А пока чай пить давайте.

Достала Кусакина из шкафчика чайный сервиз – не новый, но вполне приличный. Покопалась в том же шкафчике, извлекла оттуда конфеты фабрики «Красная Москва».

– Сейчас, сынок, мы тут поправим с тобой дела, – улыбнулась одними глазками ему эта Кусакина.

«Как это люди могут жить двойной жизнью»? – подумал Овидий и не шевелился, словно загипнотизированный книгами тут на ее книжной полке.

– Тройной, тройной жизнью живу, – угадала Кусакина.

«Как это люди в глаза не видели золота, а раритеты имеют?»

– Раритеты, сынок, паритеты, – растянулась в улыбке эта Кусакина. – Ценные, редкие книги.

– Как это, как это? Попокатебль, – забормотал под нос себе Овидий, поэт.

– А так это, так это, так это, – так же иронично в ответ ему забормотала Кусакина. – И молодой была... и дворянкой, – задышала Кусакина Овидию на ухо.

– А чего тайшься? – насторожился Овидий. – Свобода ведь, гласность, Прометей за это головы положили.

– Это там, наверху, ветер верховой, – вздохнула старуха. – А тут нас тишина, жгут по полям солому... Про немца потом расскажу.

– Про какого?

– Про того – Заратустру, – показала она глазами на полку.

* * *

И брат Октавиан Август, что Историк, как ушел на Вавилоновку, к своему Землемеру, так и не показывался. Наверное, пошли третьи сутки уж, а то и четвертые.

Деньки текли одинаково, монотонно. Только что и вносило некоторое разнообразие в их местные безобразия, так это его желание не потерять эмоциональной связи с братом, с Кусакиной, которая в последний раз повела себя в отношениях с ним более, чем странно. «Дворянка? Колдунья? А кто ж тогда я?» Овидий посылал ей воздушные поцелуйчики, импульс за импульсом, как по сотовому, так и от себя лично – к ней, от нее лично – к себе, туда и обратно. Так и сяк изоощрялся, проявляя волю и созидание. Как только ни старался, даже глаза на лоб закатывались. Приемник и передатчик, божья воля или коллективное бессознательное?

«Отчего в Адамове все такие дошлые, в каждого внюхиваются, наплетут с три короба, а тут как в рот воды про то, что дворянка Кусакина?.. И про немца-юношу, про книжку его ничего»...

Спросил у матери, у Адиевой, это все должна знать. Хоть и не сидит с соседями на «лавочке», зато люди из города к ней – сшей да сшей, ну, пожалуйста! Сруб хоть медленно, а подвигается – венец по венцу, и за все платить надо, одна крыша чего стоит...

Овидий с братом после школы обычно до вечера обивали дранкой стенки и потолок. Некогда было и на пару часов отлучиться, сбежать к Кусакиной. А на импульсы, на всякое психологическое воздействие, на нервы Кусакина не отвечала.

VIII.

В это время Октавиан Август был у Землемера, в районе Вавилоновки. В отличие от своего брата – лирика, Овидия, искавшего, золото в слове, а с ним и бессмертие души, элексир Вечной Жизни, – Октавиан, будучи физиком, искал золото в камне, то есть всеми фибрами стремился обнаружить Философский Камень. Землемер, обучаясь когда-то землеустроительному делу в Москве, заимел там многих друзей. И вот он пообещал представить Октавиана своему другу – Большому Ученому в области квантовой физики, чтобы тот помог Октавиану решать кое-какие вопросы, согласно кодексу Священной Римской империи. Особенно из области «хлеба и зрелищ», разумеется, не из самих второстепенных для всех императоров, в том числе и Наполеона. Однако, пока Землемер готовился к акции, солнце замедлило ход и год протянулся на два года, три месяца, четыре дня, два часа, пятьдесят восемь секунд. Именно в это время, два часа пятьдесят восемь секунд назад, если откинуть ровно два года назад и сделать упор на оставшийся сверх того срок, Большой Ученый этот – друг Землемера позволил себе отойти в мир иной. Однако, прежде чем быть похороненным в земле своей малой родины, он передал Землемеру кое-какие заветы через своего друга – Великолепного Ученого в той же самой квантовой области.

Теперь Землемер ждал этого ученого – друга своего друга, надеясь свести их с Октавианом и тем самым резко продвинуть вперед изыскания в вопросах поиска Философского Камня. Ученый, зашифрованный под Дабл-Ю, вчера, наконец, прибыл сюда, дабы вспомнить былое, когда он с приятелем однажды прокантовался с недельку тут на прекрасной рыбалке. И теперь он жадно мечтал повторить прежний экскурс, окунувшись еще раз в окно дикой природы.

– Видите? – показал Землемер ученому из столицы по имени Дабл-Ю на Сына Адиевой – Октавиана Августа. –

Этот доблестный юноша – Историк, одновременно еще и физик, прагматик. Он ищет золото в камне. Много камней – много золота.

– А зачем? – спросил Великолепный Ученый. – Золото – это раздоры, война. Юноша хочет много – войны?

– Нет, – сказал Землемер. – Наоборот, юноша хочет, чтобы люди собрали все эти камни. В конце концов, в них может быть мирное золото.

– Если вовремя собирать камни, – сказал ученый Дабл-Ю, – то они сэберегут мир. Но просто так, без алчности. Камни мешают полюсам переворачиваться... Да, – сказала светило науки – этот Дабл-Ю, обращаясь к застывшему, как изваяние, Землемеру. – Отчего же вы сами не собрали их, эти камни, имея дело с Землей? А обманом очищаете ваши поля?

– Я сам все это придумал, сам! – сжал руками Октавиан, и локоны его затрепетали золотом.

– Надо же! – удивился Землемер и показал на Гору. – А это вы видите? Это люди наносили ее за века, собирая камни с окрестности.

– Какая большая! – удивился ученый.

– И темная, – заметил Октавиан – этот юноша, сын Адиевой, друг Землемера. – Давайте перенесем Гору туда, за озеро.

– Хорошо, – сказал Великолепный Ученый – Давайте, я скажу Властителю. Пусть этим займутся люди, состоящие в родстве с дядюшкой ФО или хотя бы в дружеских связях.

Потом он тряхнул гривой, как мустанг, и захохотал, сбрасывая с себя тяжкие воспоминания.

– Ну, ладно, – сказал он. – Я включу машину времени, чтобы не за всю жизнь, а всего хотя бы за неделю, пока я тут буду, люди смогли как-то оправдаться перед эпохой. А если этого не случится, Гора навсегда останется темной. И ты, юноша, свое золото, никогда не увидишь.

Вот почему Октавиан с неделю уже живет у Землемера, а брат его Овидий навещает Кусакину, ее домик где-то между двух кладбищ. С трепетом братья дожидаются действий людей – перенесут они Гору по другую сторону озера или не перенесут?

А Властитель «рая» – дядюшка ФО, к которому письменно обратился Великолепный Ученый, взглянул, как всегда, дерзко на такое мероприятие. Пораскинув мозгами, он дал команду применить по отношению к Горе денежный фактор. Подвигнуть на это жителей всего «рая», для чего в десять раз увеличить налоги и, в первую очередь, с Адиевой – матери этих голубчиков, пусть и далее с успехом гонит свою строчку труда хоть до самого Зингера, через всю Европу и Атлантический океан.

* * *

Октавиан Август, проживая вместе с Великолепным Ученым временно в Вавилоновке, у друга своего Землемера, поневоле подзапустил дела своей Священной Римской империи. И вот, собрался он в город к своей Адиевой, может, лук прополоть, чтобы римские легионы брали побольше его с собой в поход от «ста болезней» или продернуть редиску – эту подлую лицемерку, красную снаружи, а внутри белую. Пришел он в город на свою улицу и открыл тихонько калитку, вошел в свой двор и что видит? Просто кошмар какой-то, черт знает что! Сидит перед окном дядюшка ФО на карачках и, качаясь, важно заглядывает туда, вовнутрь помещения. Фиксирует факт для налогов, а для чего же еще так держится? А двойник дядюшки, тоже из системы ФО, стоит на улице в обнимку со спиннингом и ловит в траве лягушек в их изумрудных одеждах.

Подошел Октавиан Август сзади к дядюшке ФО да и хотел ему дать под зад, как слышит, Адиева, мать его, кончает строчить – доехала, наверное, уж до Люксембур-

га. А дядюшка ФО как вцепился в раму, так ничего, кроме рамы в руках, и не замечает. Отвел Октавиан в сторону нацеленную под задницу дядюшке левую свою футбольную от имени всей своей Римской империи! Да глядь назад за калитку... а там подошел еще один холуй из ФО – технологии... Фингал Округлый под глазом...

Запыхавшись, явился Октавиан Август к своим туда, в Вавилон.

– Ну, и что тут у вас? – говорит он не только Землемеру, сколько этому Великолепному Ученому – физику из столицы. – Много чего там перетаскали?

– Гляди! – говорят они в восторге и разом. – Глянь только, как факт выполняется, благодаря денежному фактору – целая индустрия.

Глянул Октавиан Август с помощью «машины времени», с вершины Древнеримской империи за озеро, а полгоры уже нет, как корова языком смахнула, а всего ведь каких-то лет с полсотни прошло. Только третье поколение камни в Гору таскает, перетаскивает за озеро.

– Совсем поглупел, – показывает ему Землемер на ученого. – Тоже вместе со всеми работает. А ведь ему уже лет за сто, помирать скоро. Для него уж и травинку выдернуть и то работа.

– Смейся, смейся, черт побери! – говорит Великолепный Ученый. – Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А в Китае не так уж давно мандарины жили по двести лет.

– А все-таки гляньте! – аж захлопал руками, как крыльями, Октавиан Август – Историк, прагматик, сын Адиевой из Адамова. – Видите? Солнце встает, и Гора за озером с этого боку сделалась вся золотой. Вот алхимия: целая гора чистого золота. Из воздуха, из ничего. Представляете?

* * *

А на Кусакиной усадьбе, за кладбищем, земля шла под уклон. И Солнце на закате пролетало лучами выше, а

с восходом и вовсе не доставало, падало сразу на Вавилонку. И тут, у Кусакиной, всегда было мрачно мистически и сыровато. Как волчье логово. Зато ниже – урочище называлось Беленькое, скорее всего, от снегов, облегающих зимой эти лысые лбы, с которых весной и сбегали, веселя, снеговые ручьи.

Все старались обойти дурное место. Когда-то, сразу после войны, один офицер – бывший участник войны расстрелял тут сразу десятерых обозников, везших продовольственную помощь в соседнюю Каменку. Да и ускакал на отпряженной лошади куда-то аж в Среднюю Азию. А все на почве любви и ревности.

Овидий всегда шел сюда с трепетом. Для всех Кусакина была сербиянка, гадалка – Колдунья, которая поддавала всем страху, предсказывая будущее по всем линиям жизни, завершаемым трагически. Такой уж у нас русских менталитет: тянуться даже к мистическому, молиться на него и бояться. А для Овидия Кусакина совсем уже стала Верой Ивановной – бывшей дворянкой, дальней родственницей Ржевских – знаменитого дворянского рода, описанного в прежней литературе. И книжки ее теперь в той крохотной, чистенькой комнатке казалась для него так естественны, просты, как и разговоры о золоте в слове, которые он затевал теперь охотно вместе с хозяйкой дома. Особо в то время, когда Черва копал где-то близко могилку и было слышать его заступ, а также и глухое, ссаженное тяжелой работой дыхание.





ГЛАВА ВТОРАЯ

I.

Овидий вышел на ту сторону сада Кусакиной, что глядела на озеро, к Горе, свеженасыпанной и все еще насыпаемой жителями, и остолбенел. Лысая гора сияла всеми оттенками золота – от червоного до бледновато-зеленого, от белесого до голубого. «Это от Солнца, заходящего у меня за спиной, и от озера между кладбищем и Горой, между нами и пращурями». Под Лысой горой царил мрак, чернота –заготовки и шабаш ведьм. Подошла Кусакина, тронула его за рукав:

– И чего ты тут делаешь?

– Тучу призываю, – сказал Овидий и стал делать пассы, производя руками эманацию сознания и природы. – Дождь нужен, вон как земля растрескалась.

Кусакина промолчала. С одной стороны, действительно, дело клонилось к засухе, земля настолько растрескалась, что в щели можно было засунуть палку в полрояля или даже ребенка, если бы кому-нибудь пришла в голову такая дикая мысль. По краям трещин корни растений, кустарников, даже деревьев были оборваны, трава лежала почти сухая, а сирень и акации, липы стояли, опустив ветви длинными серыми тряпками. С другой стороны, Черва, копая могилку на новом участке, отведенном мэрией прямо в поле между старым кладбищем и кусакинской усадьбой, заявил Кусакиной как-то, что копать на новом месте за ту же цену больше не будет.

– Почему? – спросила она машинально.

– По кочану, – парировал Черва со злостью. – Не вишь, земля аж звенит – не удолбишь.

– Сырая тебе была тоже плохо, – отвечала Кусакина. – Сам же говоришь, на участке болотина, вода близко.

– Им плохо, – изобразил Черва на лице мертвеца. – Ложиться покойнику в воду, хоть стоймя гроб ставь. Зато копать легче, проживу долее.

– Зачем тебе? – сказала Кусакина. – Небо коптить?

– Вас, досужих таких закопаю поболее – сморщился весь, как перечный стручок, Черва. – Скольких вас, таких, уже закопал.

«По ту сторону сада, с видом на кладбище, наверное, ад, – подумалось Овидию. – А по эту – к Горе – золото рая, так Боги рисуют картину... Тот мир и этот – раз-единенные художественные миры...»

– Что это ты тут лепишь? – остановились люди, переходя дорогу мимо куда-то в сторону Беленького.

– Да дождь призываю, – засмеялся Овидий, еще энергичнее делая пассы, реанимируя в сознании голос далеких предков.

Люди из любопытства стояли и ждали: сдвинется сюда эта туча с Лысой горы или уйдет налево, как во все эти дни, в последние недели всего этого «жаркого лета в Берлине».

– «Почему так подумал?» – молча спросила она его.

– «Таково выражение», – также молча ответил он ей и сказал:

– Вижу Вековой Дуб на Лысой горе, алхимию арабов и нана-технологию.

– А что хоть это такое «нана»?

– Не знаю, – ответил он Вере Ивановне, так по-другому звали Кусакину. «Не знал даже сам Лев Толстой, всегда все узнаем последние. Рассекречен командный пункт в Москве под Таганкой, а ранее в Куйбышеве. Глубина в сотню метров, открыт доступ для иностранных туристов».

«– Наверно, в космосе командный пункт теперь будет», – подумала Кусакина, она же Ржевская как потомственная столбовая дворянка, а ответила Овидию как бывшая австрийская военнопленная:

– Рассекретили? Ладно, не облезем, если влезем.

– По телевизору показали, – в тон ей сказал Октавиан.

– Так героя войны не пустили на эсминец наш, а адмирала НАТО водили по всем кубрикам.

– Так что нам – идти или еще постоять? – сказали люди, вождедеющие тут, у кусакинского сада, из любопытства. – Будет дождь-то ай не будет?

– А-а, это вы? – вздрогнул, как после сна дурного, Овидий – древнеримский поэт. – Смотрите, – выставил он руку вперед ладонью, и тотчас же в нее захлопали первые капли дождя.

– Колдун! – засмеялись прохожие. – Научила тебя тут Кусакина – ведьма эта беспрецедентная! Сколько уж огородов накрылось, засухой погубило.

«Темнота несусветная! – в сердцах сказал он про себя. – И из-за этой-то черни Пушкин на дуэли стрелялся, а Есенин клал на плаху золотую голову»...

Вера Ивановна сходила домой, принесла видеомagni-тофончик с длинным шнуром, включила живенько программу апрельскую: показывали, как хоронили Ельцина... Толпы у храма Спасителя... ночь напролет... Часы прощания шли... Вот как прощания просил... Вот он снова на танке, ореол вокруг головы...

– Свобода! Воздадут! Если все пойдет по его сценарию, – говорит по телевизору Михалков-младший. – И всех собак навешают, если не по нему.

«А народу-то! Море! Не ожидали, не думали, – несет Овидия в невероятное и разрешается внутренним содроганием, никак снаружи не обозначенным. -- Народ есть у нас все-таки, а не чернь! Русь святая!»...

– Дождь-то? Ах да, этот дождь? – прячет он от любопытных за спину сырую ладонь. – Да это я так, пошутил. Заметил намеренно: туча пройдет по центру Лысой горы – дождь нас зацепит. Была левее, и дождь пролил вон там – метрах в трехстах...

«О люди, люди – исчадие крокодилов! О Русь изначальная, народ мой – духовная категория! Это вы спасли от забвения Пушкина, Сергея Есенина, вынесете и сейчас...» И такая благодать пролилась вдруг по телу Овидия,

так стало ему хорошо, значит, есть она душа-то, существует, Роза Мира. Задрал голову Овидий, глянул повыше: тут-то дождем его всего и накрыло, темным темно сделалось, а Гора стоит золотая, сияет.

— Чудо! — вскричали прохожие. — Чудо!

И испугались чего-то пали вдруг на колени перед Историком, стали кланяться, припадать к земле перед усадьбой Кусакиной. И обхватила Ржевская облик их своим взглядом, всем темным своим, длинным с кистями кунганским платком. И заплакала.

«Твари существуют, потому что существуют герои, — возник перед Овидием образ Заратустры. — А герои существуют всегда».

* * *

И пошел Заратустра искать того юношу с рюкзаком из далекого сорок второго, себя осуществлять в самом духе музыки и трагедии о рождении Заратустры и Рихарда Вагнера. И вот что нащелкал он, прочитав начертанное не своей рукой, а представленное «как разъединенные художественные миры — сновидения и опьянения между каковыми физиологическими явлениями подмечается противоположность, соответствующие противоположности аполлонического и дионисийского начал». В сновидениях впервые предстали, по мнению Лукреция, души людей, чудные образы богов <...> и эллинский поэт, спрошенный о тайне поэтических зачатий, так вспомнил бы о сне и дал бы поучение, сходное с тем, что Ганс Сакс дает в «Мейстерзингерах»:

*«Мой друг, поэты рождены,
Чтоб толковать свои же сны».*

«Что это была за сила, освобождавшая Прометея от его коршунов и обратившая миф о нем в носителя дионисийской мудрости? То была равная по силе Гераклу мощь музыки».

«Почему описание Гомера так превосходят своей на-

глядностью описания других поэтов? Потому, что слепой больше видит». (А мы добавим: еще и слышит...).

«Благородный человек не согрешает <...> очерчивает более высокий магический круг влияний, создающих на развалинах сокрушенного старого мира мир новый».

«Сказанное о Прометее – исконная собственность всей семьи арийских народов <...> этот миф имеет для определения сущности всего арийского мира такое же характерное значение, как миф о грехопадении для всего семитического мира, оба мифа находятся между собою в той же степени родства, как брат с сестрой».

II.

Взял Октавиан Август у брата его записи в плотной тетради зеленого коленкора и принес в Вавилоновку – показать другу своему Землемеру, а тот тут же показал другу своего друга – Великолепному Ученому из столицы. Пусть разберется во всей этой иерархии античного и современного содержания.

– Так, – сказали мы вместе с ученым, – атом есть атом, а цимус тут в чем?

– Да, в чем?

– А в том, – сказала наука авторитетно, – что именно стоит за музыкой и античностью?

– И в чем же?

– А в том, – втянула наука побольше воздуха в себя через ноздри, – что за музыкой стоят его песни, а за песнями – сам. Ищет золото в слове.

Заочно ставлю диагноз: как у вождя народов была – параноя, так к первому он пусть добавит второе: ищет золото также и в музыке. Пусть покажет, как это делается? Приведи его как-нибудь ко мне.

И привел брат Октавиан Август брата своего Федю (по паспорту), а по-уличному в грехопадении, в грезах, он все так же Овидий, Поэт.

– Ну, – говорит ученый, – демонстрируй сразу обе программы.

– Нет, – говорит Овидий, – я не согласен. В кучке власть вся. А должна быть разделенной на светскую и духовную, я на такой платформе. Несмотря ни на что. Церковь от государства отделена.

– Церковь-то отделили, – заметил Землемер, – а ее функции себе присвоими. Светлое будущее, например, приводится в виде «рая».

– Как у дядюшки ФО, – заикнулся было брат Поэт, но брат Прагматик тут же его поправил:

– Как фараоны, бывало, в Египте. И что получилось?

– Даже не две, не две! – поднял ввысь указательный палец Великолепный Ученый. – А все пять властей быть должны такими, как фиксирует биосфера!

– Как это, как это? Попокатепетль, – тут же подверг сомнению всю эту систему поэт Овидий из Древнего Рима.

– Пять, все пять властей! – настоял на своем Древний Рим.

Великолепный Ученый разбирался не только в квантовой физике, но и, оказывается, в колбасных обрезках. И выразил он мысль о том, что между прочим, демократия власти тоже золото ищет.

– И какие же власти-то?

– Ясно – какие! Президент, премьер – исполнительная, парламенты – законодательная, суд, пресса и... и... и...

– Что «и»?

– А то... то...

– Что – заклинило? Всегда на этом месте заклинает. Исторически так. Так все же, что означает у тебя «и»?

– И – народ! Все знают, подразумевают, но только об этом не говорят. – Глядел за окно Великолепный Ученый. – Хотя официально четыре власти, и все. Это все путешествия из Петербурга в Москву.

– И чему к этому? – насторожился Овидий – первый ссыльный поэт тут из Древнего Рима.

– Да это, я так, – сказал Великолепный Ученый. – Ленин с правительством переезжал поездом ночью из Петербурга в Москву...

– Из Петрограда, – заметил Землемер.

Любит точность, подлец! Такую бы прыть, ему, когда меряет землю, а то два-три километра туда-сюда, разброс такой в поле, при дороге или при свиноферме, ничего не стоит сделать ему. «Широка страна, земли много – в горсти не вмещается»...

Тут Овидий и давай демонстрировать свое написанное им то про лепрозорий, то про музыку. Кусакиной еще не показывал, демонстрируется впервые. Именно тут, в Вавилоне, ибо музыка в монолит вяжет все языки, все народы, слова. Вот как это выглядит у Овидия на концертах, записанных дома на аудио и лежащиеся в

«Зеркальные души». **(Записки Овидия)**

«Эта страна Аэдия, звуковая поэзия мира. Что еще, кроме музыки слов, поэзии, песни, так заглянет сюда, в эти недра?»

Вот уже две зимы и три лета пою. Пою и пою. Чем труднее людям, народу моему и мне самому, тем больше пою. Голос – мой единственный музыкальный инструмент, на котором я играю и пою, купаясь в музыкальной стихии. Слова и музыка слиты в душе воедино, так записаны десятки альбомов, сотни песен. Это – малая родина музыки, ее форма. А есть еще крупные вещи, такие, как «Слово о полку Игореве» в своем переводе – с голоса Бояна и Ходыны, любимых песнетворцев великого князя Святослава, древнерусская летопись «Велесова книга», переложенная сначала на язык поэзии, на более светский манер, такие песнопения из «Ветхого Завета», как «Пес-

ни царя Соломона», «Экклезиаст», «Псалтырь», Заповеди жития и Заповеди блаженств. А также мой веночек сонетов «Каменная рапсодия», циклы из намоленного и напетого: «Камея в июле», сонетов Шекспира, Мицкевича, Лонгфелловско-бунинская «Песня о Гайавате». А также переводы с французского, в том числе таких крупных вещей, как «Пьяный корабль» Артюра Рембо, «Морское кладбище» Поля Валери и другие.

И вот эта «Звуковая поэзия мира». Шестнадцать концертов – букет стихов восточных, европейских, американских поэтов, положенных на музыку моего сердца. Спел я все это, сорганизовал в концерты и призадумался: а что же это получилось у меня, что за жанр такой? Звуковая, что ли, антология, поэзия народов Земли?

На авторов слов глянулось вдруг с совсем обычной, невыразимо тонкой стороны: а как он поется? Вот пою и удовлетворяю свой певческий, поэтический зуд. Как бы оживляю авторов, полузабытые творения поэтов – коллег своих, сотоварищей – близких и давних. Попадутся стихи – ну до чего прекрасны! Ну почему хоть не я их написал-то? И вот я нашел способ «присвоить» «чужие», совершенно изумительные строки – я из пою, как свои собственные. Найдена возможность не только выразить себя, но и в себе, в людях Земли, в памяти человеческой оставить, восстановить строки и имена прежних, полузабытых поэтов, дать им новую жизнь.

Я подхожу к поэзии с той стороны, которая заложена в самой природе стиха. Я только обнажаю эти его музыкальные качества, тоже – по Аристотелю – главные.

После трудов праведных, жизненных и после долгого сидения над своим словом в томах прозы, поэзии, драматургии, погружаю себя в мир иной, пою с голоса живших до меня песнепевцев. Гомером нашим кто-то назвал меня после спетой моей «Белой Скифии» – продолжения «Одис-

сеи» Гомера. Так и живу, пою-то со своего голоса, то с голоса тех поэтов, которые были, творили по всему миру, дышат музыкой слов и живут теперь вместе со мной в моем сердце. Золотые слова – в золотых квантах музыки».

III.

Война прокатилась и унесла с собой все: жизни, вещи, жилье, надежды на счастье, на свет Божий, свет электрической, оставила только родину, могилы. Сразу же после войны Адамов рано погружался во тьму, в сон и бессонницу тех, кто именно тьму считал подходящей для своих воровских дел. Как забрешут, бывало, собаки после двенадцати ночи, так, считай, публика эта ступила на тропу операций.

Горела «коптушечка» с мышинный хвостик, сделанная из расплющенной снарядной гильзы, туда наливался бензин. А чтобы не взорвалась, туда же сыпалась соль.

Незабываемый этот «мышинный хвостик» гробил глаза Адиевой, когда ковыряла она иголкой или строчила строчку ночами напролет.

Давно уж горела лампочка Ильича. А Адиева, нажимая ногой на педаль своей швейной машинки «Зингер», по-прежнему тянула от себя эту строчку – бесконечную, бегущую аж до Атлантического океана. Сидя далеко за полночь, Адиева уговаривала себя: «Так жить еще можно. Не то, что тогда». Это она про войну. Куда назад ни поплнись, времена вспоминаются не столько просто по именам вождей, а сколько по тому, когда чего не было, чего не хватало. «Хрущев – это когда мяса не было. А Брежнев – это когда хлеба белого не было. А Горбачев – это, когда «тринкен» не было, а сахар опять давали по карточкам»...

В окно постучали.

– Кто там?

– Почтальон Печкин.

Опять человек из Рай – ФО, от самого дядюшки.

Господи! То налоги, то штраф, а то вот и в нарсуд. Разве дядюшке интересно, у кого кто не пришел с войны, сколько детей у кого и откуда что брать, чтобы на ноги ставить этих детей? Главной для дядюшки является своя золотая гора, которую надо воссоздать и пересоздать из пылинок, чтобы содержать другие, темные горы – целый хребет захребетный.

Дядюшка ФО сделал Адиеву в нарсуде заседателем. И велено было ей заседать: в центре сам судья, а по бокам – заседатели: Авдиева и еще мужик – бригадир из Вавиловки.

Судили женщину – простую, как и Адиева, за «колоски». Нельзя собирать колоски на полях, вот и все. Ну и что же, что трое по лавке, а нельзя, «ты меня понимаешь?»

Дали пять лет с «кон..сти... фи...» нет лучше так – с «конфискацией»...

Едва дотащилась до дому Адиева, как упала в подушку. И не пошла более – хучь убейте; «не суди, да не судим будешь». Нервы, оказались, не те у нее, характер ничтожный. Так дядюшка ФО прислал за ней милиционера, а тот и говорит: «Идем, не то мы тебя к стенке, расстреляем. А все равно приведем». – «Как это так? – говорит Адиева. – Расстреляете, а потом приведете?» – «Ну, тогда сначала приведем, – говорит участковый, – а потом расстреляем».

Вот под какими страстями жила Адиева, какое времечко было гадкое, пока лет на десять вперед не отодвинулось. Это когда все по стране запели: «Хрущев – хорошо, когда выпил и ищцо», «Берия – нету доверия», «Маленков – напек нам блинков».

И покатило.

И пошло – поехало.

«Кукурузные печатки протянулись до Камчатки».

«Много дел, а цель одна:

Больше дать стране зерна.

Наша главная задача –

Молотьба и хлебосдача».

Вот так вот, а как же. Оказывается, дядюшка ФО закрепил за Адиевой братанов, тоже люди из ФО, в порядке шефства в смысле фиксации и «конфискации». Теперь двое его людей (по возрасту, как и сыны Адиевой), теньми содержались у нее за спиной и стучали дядюшке на пишущей машинке «Ремингтон». Это, когда Адиева выезжала в село на своей машинке типа «Зингер» для проведения швейных операции. И строчка все так же внезапно срывалась и ехала по широкой степи по 12 км в сутки вслед уходящему Солнцу...

И чем больше слава, бывало, идет об Адиевой как о мастере своего дела, тем яростнее крутит она, бывало, педаль ножную, чтобы сколотить кой-чего на домок, какой они строят, уже «долгострой». А крыши все нет, полу нет, доски-«сороковки» опять на станцию не привезли. А «тридцатка» прогибается даже под простым столом, а не то, что под комодом дубовым или каблуком дядюшки ФО. Тем яростнее работает машинка печатная «Ремингтон» – под пальцами дядюшкиных братанов.

И думала Адиева о татаро-монгольском иге с улыбкой уже. Сынов бы вот только поставить на ноги, пустить их по дороге жизни, чтобы они не то, чтобы один золото в слове искал, а другой – золото в камне, да просто чтобы на кусок хлеба себе заработали и матери – ей, Адиевой, – хоть капельку дали бы передохнуть.

Однако зорко следит за ее жизненным процессом как сам дядюшка ФО, так и весь его «Сатирикон». Особенно те из ФО-системы, у кого дома свои сыновья. По близнецам-братьям Адиевой – Овидию и Октавиану Августу – своим детям примерку делают. И, если в чем торчат ребя-

та Адиевой, тут же головушку и стремятся снять по самые плечушки. Не знаем, как поныне где-нибудь в Северной Африке, в Ирландии у Бернарда Шоу или у Маркеса к Южной Америке, а также в Антарктике или на Северном полюсе, а также еще в Древнем Риме, у императора Октавиана Августа, а у нас, в срединной Руси, это так было и есть, а может быть еще сколько угодно.

Революции – эволюции, контрибуции – конституции, проституции и мастурбации – это где-нибудь в Турции, а Сербия тут не при чем, а при чем К.Г.Ю. (Карл Густав Юнг), генотип, коллективное бессознательное. И квантовая эта самая строчка на швейной машинке «Зингер», которую гонит и гонит Адиева уже в совершенно бессознательном состоянии и понимании ситуации опять вон куда уж захала, аж за границу.

А ситуация складывается какая? Растут ребята, проявляют характер. И чем больше в золоте они проявляются, тем больше грязи туда им в князи нашвырывается. Ползут черные тучи по – над Адамовом, а проливаются, заметим, все над Адиевой, а бухают яйцами, например, по дому, где живет лично или заседает вместе со всеми сам дядюшка ФО. И отдельные жители – сказочный материал, плети, как у огурцов, сплетенная атмосфера. Ух, фантастики, мистики, первопроходцы!..

Кусакина еще жива, доску не успела на потолке у себя отодрать – это когда колдуны помирают, так все мистики делают, а Адиевой уже клеится – тоже Колдунья. Вот змея! Все бы земной шар опоясывала, а задушила бы в своих жарких древнеримских объятях всю эту ФО – современность, так в результате, извините, что из такой нана-технологии, извините меня, получилось?

Как пенсию хоть какую, так ноль градусов на улице; как талоны на уголь – в последнюю очередь. А как в почетном карауле стоять с метлой у райкомхозовского сортира, так – в первую. Как сочинения Овидиевы детям по

классам читать или задачки особо невероятные решать, так Октавиану. А как в Москву ехать с золотой медалью, так Гоголю на метле или академику Капице в свою Резерфордию. «Во дела, во дела – жена негра родила! А у нас в Адамове глина и та белая. Ух, и угорёла я! Процедуры эти – лучшие на свете! Дядюшка ФО обожает свои портреты! А также русский квас, – терьяс, терьяс-терьяс»... Это все местная тема, фольклор, так поет в Адамове под частушку Дуня-два, бывшая комсомолка, доярка. Ныне, по причине дальнейшего расцвета сельского хозяйства, обретается она тут в Адамове, спит прямо на улице, на кирпичах. По традиции – каждое утро созидает под магазинами свою цветочную оранжерею из шиповника и эвкалиптов, воспевает, на всякий случай, дядюшку ФО и адскую машину жизни.

* * *

Идет по городку Великолепный Ученый из Вавилоновки – по квантовой физике, московская знаменитость. Останавливается перед Дуней – два, кланяется церемонно:

– Ну, что, Дуня, все поешь?

– А ты как думал? Это у вас в Москве все протесты. Площади позастроили, негде митинговать, так по улицам теперь ходите. По Тверской – от Пушкина до Жукова, от Жукова до Пушкина...

– Ну, и на что ты живешь, куски собираешь?

– Домой приносят. Заработала – вот и приносят, – говорит Дуня и машет, приветствуя кого-то на стороне.

– Мы, либералы, ходим по бритве!

Видал, сколько теперь асфальта?

А как было-то – в сапогах по горлышко лазили...

– Как тебя обуржуазили, – в том ей говорит Великолепный Ученый – вавилонянин с сарказмом. Ибо в его Вавилоновке пока что асфальта даже не намечается, башня и та кабы не рассыпалась окончательно.

IV.

Пришла Адиева на прием к Властителю дум – дядюшке ФО. А в приемной одни женщины, тоже все совместно-го цвета «Ф» (фиолетового) и цвета «О» (оранжевого), и все какие-то перепуганные. Стала Адиева, задыхаясь, задавать им вопросы входящие, а получила отпор.

– Ты, – говорят, – зачем сюда сегодня явилась?

– А почему бы и нет, – специально кокетливо как-то сказала Адиева. – Пожалиться пришла на здешнюю флору и фауну. Сказками и протоколами дюже замутили. Сплетни зловещие и налоги...

– Не строй из себя Дуню: «пожалиться», «дюже», – сказали ей. – Дядюшка ФО любит достижения, а не уродства. Между прочим, только что тут, в приемной у нас, умер человек.

– Умер! – вскочила Адиева. – Человек!.. Да кто же это?

– Директор школы, – сказали ей. – Ефремов – номер два.

– Почему «номер два»? – спросила Адиева, как будто не знала, что в Адамове есть еще и Ефремов – «номер один».

– По школам отличаются, – сказали в приемной Адиевой. – Школа, значит, номер такая – вторая.

– Ну, я побежала, – сказала Адиева и в дверь опрометью.

И тут же на бывшую Дворянскую улицу. И как в воду глядела: как они, инфаркты-то, получают, тут же еще один лично предотвратила. Ступила Адиева за порог к Ефремовым, а там уже Валентин Сигарев, по-уличному Валя Балда (прораб, когда школу строил, скопил фасадную стенку так, что кирпич топором подтесывал). Так вот, стоит Валя Балда – Сигарев, и – тишина. И перед ним лица все какие-то не свои, а какие-то белые.

– Да, – говорит Адиевой Валя Балда, – помер вот хозяин, директор школы. Только что в приемной у дядюшки ФО.

– Балда! – тут же среагировала Адиева на ситуацию. – Какой директор? Какая фамилия?

– Директор школы, – сказал Сигарев. – Ефремов. Моя жена там была, в ее присутствии.

– Какой номер директора? – прошипела Адиева. – Школы какой, спрашивается?

А сама уж видит через окно, как вошел в калитку и идет сюда, к крыльцу, сам хозяин дома – директор школы «номер один» Геннадий Ефремович, тоже Ефремов.

И тут же сюда, за порог. Метнул взгляд на него Сигарев – Валя Балда, что топором лично тесал переднюю стенку в школе, и говорит без всякой запинки:

– Ну вот, долго жить будешь, Геннадий Ефремыч.

И в дверь. А Адиева следом. А в спину им жена Ефремова Нина Ивановна:

– Вот дураки! Господи, вот дураки! Да уж тебя, Балда, переживем.

И как в воду глянула. Первым из троих присутствующих, не считая, конечно, Адиевой, Валя и отошел. И Геннадий Ефремович убрался последним. Это так все говорят, даже не Кусакина сотворила в приемной, а Колдунья! А именно Адиева – вот кто! Вот с чего и пошло, покатилося по Адамову и, в конце концов, накатилося на саму ее это шепотком говоримое: «Колдунья». Ух, сплетники, сочинители, бумагомарки! «Чина, звания, не пощадят, в комедию тебя вставят», – Гоголь, конечно, «Мертвые души».

– Какие «души»?

– «Мертвые».

– Ты что?

– А что?

– Да «Ревизор» же, из «Ревизора»!

Всякая собака в городе знает, что здесь бывал Пушкин, которого приняли тут за ревизора – чиновника из Петербурга, а ему все мертвого осла уши мерещатся.

– Ну, и прохвосты – хитрый народ, эти кадры дядюшки ФО! – выразила Адиева свое современное сооб-

ражение. — Они и сейчас, на всякий случай, принимают всех чиновников за ревизоров из столиц. Ишь, как разыграли в пьесе, как будто не знали, что это был Пушкин в образе Хлестакова.

— Кабы знали, подстелили б соломки.

— А они и подстелили.

— Да ведь не до того же, а после того.

— Нам без разницы, безобразницы! Лишь бы после бала лошадь не околевала. «Дядюшка ФО и другие приключения Шурика», — книжку такую, говорят, выпустил здешний писатель.

* * *

— Как ты думаешь, что это — притча? — спросил автор Адиеву, а потом перешел на Кусакину.

— Нет, не притча, — сказала Кусакина. — Нету тут всех четырнадцати пунктов из статьи Береговской, опубликованной намерении в научном сборнике Московского университета.

— И шести пунктов хватит, — сказала Адиева. — Но главное — что?

— Да, что — главное?

— Не под пункты подминают творчество хотя бы сынки мои — Овидий и Октавиан Август. — А, скорее, наоборот: из творчеств извлекаются пункты.

— Какая умная! — сказала Кусакина об Адиевой. — Никогда б не подумала.

— А ты как думала! — явно гордясь, сказал о матери Овидий — первый ссыльный поэт Древнего Рима, и все надеются — не последний. — А ну, попробуй на «Зингере» протяни строчку до Тихого океана, до самых Гималаев или, как их, до Гавайев, куда, между прочим, ездит иногда поныряться в бегущей волне наша элита — московская профессура.

* * *

Адиева взяла и оповестила сынов своих – Овидия и Октавиана – про смерть директора школы в приемной Властителя дум – дядюшки ФО. Кончина человека у дверей, так сказать, «рая» произвела на сынов Авдиевой неизгладимое впечатление. Будучи двойняшками, братья усиливали друг в друге реакцию на сатисфакцию. И не в этом дело, смерть директора как вымышленного героя на пороге подвига, подломив душу, вбросила туда комочек какой-то, как бы во глубине «черного» человека. Эффект сопоставим разве что с землетрясением прямо под Адамовом по шкале Рихтера баллов на восемь.

Золото, накопленное в душах, потускнело и на время исчезло. И это грозило превратить Овидия и Октавиана Август из граждан Священной Римской империи в серую местную знаменитость. Однако именно грозящая катастрофа заставила их включить внутренний ресурс, то есть обнаружить в себе Камень Судьбы, доверить ему трудный выбор пути как на Мурашиху, так и на все остальное пространство в пылкостях жизни. Октавиану повезло, ему помог Землемер. Стал он иногда брать с собой «черного» человечка, оставляя Октавиана на карьере Белой Глины девонской, которую он «оконтуривал» как месторождение.

А вот в Овидии «черный» человечек застрял, и надолго. Овидий прекратил всякое общение с золотом в слове, чаще стал ходить в лес, делая прогулки до Беленького – туда и обратно, обходя усадьбу Кусакиной за километр. Побавивался, что Кусакина станет его реставрировать, вскрывая в нем «человечка», дожидаясь, когда же он, стервец, потускнеет, идя внутри всего путем эволюции.

А «черный» человечек любил себя, свое место в публичке и не хотел ни под кого подминаться.

– Неймется тебе, милай, – уговаривал он его, как самого себя. – Ну, потерпи еще, ну, немножко. И я про-

должу свои изыскания, свои экзерциссы-нарциссы в «эль-дорадо» слова. Вишь, как изменяется все золото смысла от перестановки слагаемых букв? О, этот ежедневный восход и заход Солнца! Когда Гора за озером загорается и сияет ярко и убедительно, в то время как мраком кажется вся адамовская округность.

Дядюшка ФО, как и Джо, очень уж обожал свои собственные портреты. А директор, умер не зная того, и тем сократил срок своего пребывания. Хотя «черный» человек болел именно у Овидия своей тайной, неисповедимой болезнью. Это как у Наполеона, когда его ранят, бывало, так он сразу к себе в палатку, отлежится, бывало, приводя всех в недоумение. И опять как огурчик, но об этом знал только знаменитый круг доверенных лиц, не знала даже история. И только, когда помер полководец, тело его оказалось все в шрамах.

V.

Так притча-то в чем? — А чтобы была еще и мораль, назидание. Как в басне Крылова. Но Крылову природа сделала крылья, и он улетел в античность, к Эзопу. И Овидий как первый ссыльный поэт Древнего Рима стал писать не только про любовь к Эзопу и Архелоху, одуревшему от избытка славы первого поэта-лирика еще в Древней Элладе. А снова начал свои поиски золота в слове — неискоренимый инстинкт.

Почаще стал приходиться теперь Овидий к Кусакиной — Вере Ивановке отныне, урожденной Ржевской, и стал брать книжки у нее и читать хоть что-нибудь на такую тему. И вот что частью он у нее накопал, а частью сам накопал. Что у Овидия получилось после всех собеседований то с Кусакиной, а то и с матерью своей Адиевой. Пока не показывал брату своему Октавиану Августу, но когда-нибудь предполагал.

«**Ларец мудрости**» – добрые рассказы Овидия.

1. Аскольдова могила.

В Древней Руси, во времена великих князей, жил был юноша по имени Аскольд, из рода викингов. И в составе великокняжеской дружины он охранял путь «из варяг в греки», а также границы Руси с Востока и Запада. И жил Аскольд в поселении на берегу Славутича – Днепра, реки, по которой проплывали мимо всякие струги, товары везлись с Юга на Север и с Севера на Юг. И говорили гости на разных языках, а юноша знал только один – свой, древнерусский. И вот пришло ему время учиться: чего балбесом расти, махать мечом просто так перед носом у проплывающих мимо греков и норвегов. «Знания нужны, – решили отцы поселения. – Вождем станешь, дружину возглавишь, всем корм добывать будет легче». И послали они его на учение даже не в Киев – стольный, а за границу.

И попал он куда-то к датчанам, откуда и Рюрик явился, и сын его Гамлет там все еще живым оставался. Пришел Аскольд к ним в школу – специальный университет без преподавателей, и спрашивают его там компьютеры:

– Откуда ты – из Древней Руси? Ага, значит, в первую очередь, защищаться вам надо с Востока, от Дракона.

И стали учить юношу восточным единоборствам, как защищаться и защищать страну от Дракона. Учился, учился он много лет, как побеждать всяческих там драконов. И все деньги платил за учение. Платил, платил деньги, наконец-то вырвался из-под опеки ученых. И вот без единой копейки в кармане, но важный, с глубокими знаниями о том, как убивать восточных драконов явился Аскольд обратно к своим, в свое поселение. Записался в дружину и стал ждать, когда же на них нападет этот самый Восточный Дракон? А он все не нападал. Своих дел много там у них на Востоке. А когда приходили с Запада быки, рого-

носцы – тевтоны, так Аскольда не брали на битву: погоди, «не твою ума дело», а был он не той специальности.

Так и состарился юноша, стал уж седой. Вот новый Великий князь, просматривая списки, увидел в них Аскольда и говорит:

– Медаль требует, а что он умеет?

Призвали. Спросили. Сказал:

– Драконов могу убивать. Восточных, с Востока.

– Погоди, – сказал ему новый князь. – Потом позовем. Знания твои нам пока не нужны.

И прожил Аскольд всю свою долгую жизнь в нужде и неизвестности, так ничего и не поняв. А как умер – похоронили киевляне его в Киеве, на высоком берегу Днепра – Славутича и, гордясь, показывают теперь всему миру могилу его как павшего воина, героя высокочтимого.

2. «Поль Верлен и декадент».

«Писал юноша стихи с самого детства – Декадентом в городке его называли, такое несносное имя носил он у земляков. И задумал Декадент довести свою поэтическую формулу жизни до логического результата. Иными словами, стать деятелем культуры, а как это сделаешь без французского языка? В недавнем прошлом язык ведь был языком дипломатии и искусства, ваяния словом.

И стал Декадент учиться. Ходил по частным школам, гувернерам и курсам, филиалам, отделениям и гуманитарным факультетам. И всюду платил.

Поработает – заплатит, поучится, кончатся деньги – выгоняют. И опять по-новому, новый цикл. В конце концов, выучился французскому, а куда с ним, где применить? Везде уже как «эсперанто» этот английский. По палаткам, магазинам, конференциям, юриспруденциям. Но попал Декадент, однако, в Российскую библиотеку однажды. День рождения Рембо отмечался, присутствовал сам господин Майор из ЮНЕСКО.

– Подошел в перерыве к нему Декадент и говорит:
– Шпрехен зи дойч?

А тот ему:

– Я, – говорит, – каталонец.

– А почему, – говорит Декадент теперь уже на чисто французском, – почему Рембо, будучи у вас в европейской культуре, лежит в Марселе, брошен в яму для бедных? Я же, – говорит, – очень люблю его «Пьяный корабль». Выучил французский язык специально.

– Разберемся, – сказал господин Майор.

А недавно Декадент побывал во Франции, в провинции Шампань – Арденн, в городе Шарлевилле, куда его там повезли. Видит, а на могиле: «Рембо». И глазам своим не верит русский наш Декадент. И мать рядом с поэтом лежит, тут же и земляки.

Вернулся домой Декадент, всем рассказывает про Артюра Рембо, этого вечно молодого поэта, и так говорит в заключение:

– А все он – французский язык! Вот что значит статья Горького «Поль Верлен и декаденты», опубликованная аж в шестнадцатом томе!

2. Надкушенный персик.

В Китае дело было. Сорвал юноша персик с дерева и протянул помещику – мандарину:

– Вот хорош! Сладкий да сочный! Отведайте, мой господин!

Довольный – мандарин говорил потом свите:

– Каков этот юноша! Далеко пойдет, подлец!

Прошло время, юноша стал мужчиной, потом дедушкой, совсем старым слугой. Позвали нового слугу – тоже юношу.

– Почему? – спросил прежний юноша старого мандарина.

– Что – не знаешь? – разгневался сморщенный, как стручок уже, мандарин. – Предложить надкушенный персик мне, своему господину, нет, каково?

Сел мандарин в карету времени да и укатил, в конце концов, в небытие. А надкусанный персик так и остался у всех в памяти, хотя самого мандарина, как и не бывало.

4. Справедливость.

До революции дело было. Пришел к помещику юноша – голодный, как волк. А помещик как раз считал свои деньги.

– Мне бы копейку на кусок хлеба, – сказал юноша богачу.

– Приходи через месяц, – сказал богач бедняку.

Пришел тот через месяц, а богач взял да и эмигрировал за границу. Так и остался юноша без росинки во рту. В конце концов, собрал юноша таких же, как и сам он. Поднял знамя, да и сделал свою революцию. Теперь денег стало больше, а тех, кто считает, меньше. Зато из росинки получилось целое ведро, нет, море слез, справедливость восторжествовала.

4. Чудо-юдо.

Пошел юноша в лес под Пасху. Захватил с собой бутылочку с кагором и куличом. Хотел преломить его в память, об Иисусе – Господе нашем, спасителе, прошедшем к нам сюда через муки и страдания, да передумал. «Что один-то я? Дай, – думает, – Друга позову своего закадычного». Пошел к Другу, на второй день после Красной горки – на Радуницу, в этот главный день поминовения усопших, да и говорит:

– Пошли в лес, грибы собирать.

– Какие грибы? Еще рано, – засмеялся Друг.

– А сморчки, строчки и прошлогодние белые? – хитровато улыбнулся юноша.

Пришли. Присели под Вековой Дуб. Раскинул Друг руки свои пошире и пала рука его на сухие листья, и что там? – твердое что-то. Бутылочка! Надо же.

– Бог послал, – сказал юноша и засмеялся Солнцу, бесконечности жизни, Богам и хорошей выпивке на дурничку.

– Тост предлагаю... Не чокаться... В память о пращурах наших, отцах-матерях...

– Па-па-па... ма-ма-ма, – загудел, захлопотала сухими прошлогодними листьями Вековой Дуб.

5. Ослепление золотом.

Зашел жадный человек в магазин, а там на прилавке золото, целый слиток, а от него – сияние, богатство. Схватил жадюга слиток и в дверь. Поймал за рукав его юноша:

– Неужели не видел, что кругом столько народу?

– Не видел, – ответил безумец. – Совершенно ослеп.

– Не удивляйтесь, – тут же сказал старый торговец всем остальным. – Для ослепленных золотом не существует людей.

VI.

А что же делал в это время другой сын Адиевой – брат-близнец Поэта, первого лирика в Адамове – Октавиан Август – Историк, прагматик, физик. Что физик-то да, но какой – первый или второй? Ибо первым всегда тут был тот ученый, родом из Вавилоновки, друг Землемера. Но он уже умер, вавилонянин-то, зато теперь появился его друг, однако родом не из Вавилоновки, как быть?

– Да и ты не первый лирик, – сказал Землемер Овидию – Поэту.

– А кто же? – стал оглядываться вокруг Овидий – Поэт. – Кто же это еще первый, кроме меня?

– А что – не знаешь?

– Не знаю, – ответил Овидий.

– Не знаешь, – учиться надо. Первый лирик был Архелок, из Эллады. Он первый в античной Греции заговорил от имени своей души, он-то и создал лирику. А до того поэты говорили от имени народа, общества, всей Эллады, были

эпическими поэтами: Гомер, Эсхил, Аристофан... А ты, Овидий, — первый ссыльный поэт из Древнего Рима...

— Так кто же мы с тобой? — пожал плечами Овидий. — Как нас с тобой называть?

— Просто Поэт, просто Историк — вот кто мы с тобой, мой дорогой брат! Мы с тобой сыны Адамова и матери нашей Адиевой.

— Хорошо сказал, — заметил Великолепный Ученый, приехавший в Вавилоновку из столицы, чтобы почтить память усопшего друга и пожить тут какое-то время.

Вот он теперь стал первым Физиком, а Историк, хотя был еще тоже и физиком, но, очевидно, вторым. И тогда, осознав это, Октавиан еще активнее взялся за поиск золота в камне. Переняв от брата своего эту иллюзию, он тоже стал отливать найденное слово в притчи, писать коротенькие рассказы. И вот что у него получилось. Наверде тоже про дядюшку ФО.

1. Храбрый чиновник.

«Большой был Чиновник, невероятно важный. Вставил этот чиновник Дракона в свою печать. И давай лепить ее на шторы, полы, потолки, занавески, всюду у порога, по коврам. На потолок еще ладно — гляди да гляди, а вот на пол, на порог, на ковры, что постелены под ноги? И стал Большой Чиновник ходить, попирая ногами законы, вроде Дракона. Везде, где только мог. «Какой я важный, большой и отважный», — думалось ему поневоле.

Слух об этом дошел до живого Дракона. И решил он навеститься к Чиновнику, когда тот принимал у себя решения. Дракон взял и прилег на лужайку перед дворцом. Дракон был настолько велик, что смог просунуть голову в окно зала, где заседала чиновная братия, а хвост входил аж в дверь, где стояла у входа стража.

Большой Чиновник, увидев это, настолько испугался, что сразу же сделался маленьким. И велел издать Большой Указ о том, что печать, всюду поставленная по пред-

метам означает его любовь к Дракону, его особую, личную привязанность и заинтересованность.

– Все теперь любите Дракона, как я! – сказал Большой Чиновник и первый поцеловал землю перед порогом, попираемым прежде. А на портреты Дракона, что были на потолке, велел всем кланяться и молиться.

2. Маркитантка и барабан.

Больше всего в оркестре Большой Чиновник любил Барабан – такой круглый, громоподобный. Самый великий из всех инструментов. И велел Большой Чиновник писать музыку для Барабана. Любил слушать такую музыку сам и приказывал слушать другим. Говорил подданным:

– Впредь так делайте! Услышите барабанный бой, «лезарм, ситуайян!» («к оружию, граждане!»), бегите защищать дворец от нападающего врага.

Размеренно шла дворцовая жизнь: делегации, гости, приемы. В заключение для услаждения слуха били в Барабан, и все хвалили даже не Барабан, а самого Большой Чиновника. Так говорили, хитря:

– Надо сделать еще один барабан... сочинять особую музыку...

Сделали второй барабан. Вынесли наружу, показали народу. Прибежали люди с оружием, а им объявили, что это музыка такая: создана специально для восхваления. Сделали еще один барабан – третий. Опять вынесли показывать, и опять прибежали люди. И опять говорят им: для восхваления.

И вот, когда во дворце собрался уже целый оркестр из барабанов и гремел так, что стенки дрожали, на страну напали враги.

– Бей в барабаны, бей! – приказал Большой Чиновник. – «Лезарм, ситуаян!» («К оружию, граждане!»).

Однако никто к дворцу так и не прибежал. «Бей в барабан и не бойся! Целуй маркитантку под стук!» – это уже пели другие войска, маршируя мимо того же дворца под флейту.

3. Петух и флейта.

— Так что? — говорили через долгое время, освободясь, наконец, потомки Большого Чиновника, сами тоже Большие Чиновники. — Барабан в отставку, «вив ля флейта?» («Да здравствует флейта?»).

И целые полки стали маршировать теперь уж под флейту. Маленькая, но остренькая, как прорезает — все слышат и в ногу идут.

— Ну, с этим все ясно, — сказал другой Большой Чиновник свите. — С этим мы разобрались. А вот такой вопрос: кто как работник более ценен — кто много говорит или кто говорит мало?

Пожали подданные плечами: давно здесь сидят. Как за жизнь наболтались.

И тут философ усмехнулся, сказал:

— Пойдемте, посмотрим, как оно у людей-то?

Пришли в деревню — стоят и соображают. В пруду лягушки кричат до утра, но все в деревне спят спокойно. А как петух едва вскрикнет на заре, так все тут же встают, умываются и идут на работу.

4. О единстве мнений.

И был у Большого Чиновник мудрый, но незаметный советник. Да без него Чиновник этот никогда бы не стал большим.

Все шло в стране более-менее. Дожди перепадали, тепло, а тут засуха. Солнце жарит, реки пересохли, урожай под угрозой. И с каждым днем земля все чернее, поля все суше.

— Поди спроси у народа, — сказал советнику Большой Чиновник, — что делать? Каково народное мнение?

Собрал мудрец жителей всей сельской округи.

— Видите, что творится. Что будем делать? Бога молить о дожде?

Загудели, забушевали люди.

– Да, конечно! Молить и молиться. Служить молебны, бить в колокола. Не то без дождя перемрем за три года от голода.

– Так, понятно, – сказал мудрец-советник. И повернулся лицом к противоположной стороне: – А вы что молчите?

– А нам дождь не нужен, – сказали они. – Мы уже все полили.

Вернулся мудрец-советник к Большому Чиновнику и говорит:

– Нет в людях единства даже по такому, казалось бы, ясному поводу, как о дожде.

– И что предлагаешь?

– Указ издай, запрети с утра до вечера смотреть попусту в небо. Пусть лучше воду из рек на поля таскают. А вообще-то, наперед глядя, пусть копают каналы, делают орошение. «Бог в помощь, а сам не плошай!» С того, говорят, и началось в стране орошение как гарантия урожая. А если бы было спервоначала единое мнение, то никакой бы гарантии не было.

5. Больше Счастья.

Прибежал мальчик домой, перепуган.

– Ты чего? – взволновались родители.

– Да змею видел – огромную, двуглавую! О я несчастный! И всю свою жизнь буду несчастным!

Отец вздохнул тяжело и говорит:

– Пойди скажи людям, чтоб в лес не ходили.

– А зачем? Я же ее, змею ту, убил.

Мать заплакала: «О несчастный!» А отец засмеялся:

– Не бойся, мать, за нашего сына! Он убил эту тварь, чем избавил людей от страха, дал народу свободу. И, когда ему самому станет плохо, люди вспомнят об этом. Сколько из них обязаны ему счастьем».

VII.

И показал сын Адиевой Октавиан Август свои рассказы Великолепному Ученому из Вавилоновки — другу друга своего Землемера. Не то, чтобы как артист, который нуждается в аплодисментах. А просто интересно: что ученый скажет ему в смысле его дальнейших поисков золота в камне? А Великолепный Ученый из Вавилона, как в воду глядел, тут же прочел в нем эту мысль да и говорит:

— Как махину вон ту, — показывает он на Лысую гору за озером, — вы с братцем на другое место перетаскаете, так и осуществится мечта твоя: добудешь золото в камне — величиной с булыжник.

— Булыжник — оружие пролетариата, — говорит Октавиан. — А пролетариата уж нет.

— И рабочего класса уж нет, а крестьянства и подавно, — отвечает Великолепный Ученый. — В Японии людей заменили роботами. Так вот, нет ни крестьян, ни рабочего класса, а в гербе они до сих пор.

— И где же?

— А у одной партии. Серп и молот. Были и остались. Правда, нет шара земного на фоне.

— Лучше бы фоном сделали книгу, — сказал Октавиан Август.

— Книга бы, может быть, и осталась бы, — смеется Ученый из Вавилона. — Стану вот академиком — объявлю голодовку, нет в науку настоящих денежных вливаний.

— Зачем они вам? — говорит Овидий. — Вы же, алхимики, золото ищете. Вот и активизируйтесь, применяйте «нано-технология» в своекорстных целях. Свинец превращайте в золото — драгоценный металл.

«Ух, какой попался! — думает Великолепный Ученый. — Мальчишка, а гляньте, на какие определения замахивается».

И говорит Октавиану, нацеливаясь на его рассказы.

– Поднимешься, – сказал он – мой друг, высоко в своих заблуждениях. Туда, попадешь, – показывает на небо, – где одни «орлы великолепные живут».

Его зачаровала высота.

И сам полет как смысл всего и действие.

И он летел под звездный хор с листа,

И умер, задохнувшись от блаженства.

– Хе-хе, – сказал на это Ученому из Вавилона Октавиан Август, – спросил бы лучше Овидия, он бы точнее прочитал.

– Так по памяти же, – ответил Великолепный Ученый. – Зато угадал направление полета.

– Это мистика, – широко раскрыты были глаза у Октавиана. – То Орлы, а то Алхимия.

– Мой юный друг, – сказал ему Великолепный Ученый, – ты пойдешь далеко...

– ... если вовремя не остановят, – усмехнулся другой сын Адиевой, по памяти лучше Ученого знавший стихи Гумилева.

– Вместе нас не остановят, – смотрел Великолепный Ученый из Вавилона, глядя прямо в глаза ему, этому юноше. – Они и читать-то еще не научились, а не то, чтобы творить что-то самим.

И стали они помогать Овидию перетаскивать ту самую Гору, которая была темной. И высилась она все на том же месте, а им казалось, что она находится уже в конечном своем результате – за озером и золотая. Так не хотелось Великолепному Ученому объявлять голодовку, подобно тому академику, что уже голодал, подвергая свое здоровье риску ради такой благородной идеи. Они еще пригодятся людям, равновесию Земли, траектории полета шара земного: слишком многие накопили силы, пытаются сбить ее с божественного пути...

Перед тем, как уехать после отпуска обратно к себе в столицу, Великолепный Ученый решил поделиться с юно-

шей всем, что знал в отношении перевода материи в золото поисков Философского Камня. А главное — своими мыслями касательно Бессмертия души, Эликсира Бессмертия.

— Твой брат — поэт Овидий, — сказал он Октавиану — Историк, — нашел свою идею Бессмертия в этой Горе. Так сначала следует перенести ее на это место, сделав Гору золотой. А потом, через столетия, вернуть обратно или поставить рядом с обратным. Это как смотреть: если отсюда, в спину Горе, она кажется темной, некрасивой, горбатой. А если смотреть ей прямо в лицо от отношению к Солнцу, она будет всегда золотой.

— Главное — что когда каким хочется видеть, — заключил рассказ Великолепный Ученый.

Октавиан — Историк сделал паузу, поразмыслил слегка, да и сказал затаенное:

— Главное, по-моему, даже не это, а то какое положение занимаешь ты сам по отношению к Солнцу. Если Солнце — перед тобой, даже когда оно уходит на Запад, «золото рая» у тебя впереди. Твоя Ирия где-то в устье Днестра, к какому вечно двигались по ковылям скифы со своими стадами. И наоборот, если встанешь лицом к Горе, она окажется у тебя за спиной, и тогда перед тобой Гора будет всегда золотой и красивой.

— Все дело в том, — сказал и я Октавиану, — что ты и твой брат ищете золото в разном: он — в слове, ты — в камне, а находите оба в одном. Два стихотворения есть у Шарля Бодлера, француза, они означают пределы поэзии — «Красота» и «Соответствия». В первом — преклонение пред Красотой мира, в другом — перед его Тайной. Это два идеала человечества. Вот мой перевод первого из них —

«Красота»

«Прекрасна я, как в камне спящем эхо.

И кто-то пал, ударясь мне о грудь.

А в ком любовь, тот создан для успеха,

Он мой Поэт, он — вечность, Млечный путь.

*Одна в лазури – лебедь молодая.
Белее снега, холоднее льда.
Я – Красота, недвижна и горда я,
Слеза и смех – я выше их всегда.*

*Они сожгут себя, мои поэты,
В трудах души, во цвете своих дней,
Чтоб только я питала их сонеты,*

*Во имя благосклонности моей.
В два зеркала возьми и оглядись:
Прекрасен мир, покуда длится жизнь!»*

И стал Великолепный Ученый рассказывать историю поиска своего Философского Камня, а не вообще про золото всех алхимиков Средневековья. Реторды, колбы, методы выпаривания, заговоры... «Имея золото, можно сделать все, что ты хочешь. Можно даже обеспечить себе место в раю», – так говорил уже Заратустра, а также тамплиеры – рыцари Христовы, совершая крестовые походы на Ближний Восток. Орден охранял руины древнего храма царя Соломона.

Подобно монахам, «бедные» рыцари давали монашеский обет безбрачия, нестяжательства, ведя суровую жизнь. Потом они же занялись разбоем, ростовщичеством, накоплением богатств; таинственны были у них церемонии, должниками у «храмовников» становились даже короли. И вот Великий магистр ордена бургундский дворянин Жак де Молэ переезжает в Париж. А вскоре самого его, ставшего перед тем Великим инквизитором Франции, ворвавшись в Тамплъ, арестовывает легист Гийом де Гонарэ. Но сокровища тамплиеров уже вывезены и спрятаны, где? По всей Европе, а может быть, и в Америке... «Домине дамнем» – псы Господа, монахи средневекового ордена доминиканцев, подобно собакам, высле-

живают золото, разрывают еретиков в куски. Так и на Руси потом, при Иване Грозном, «опричники» с притороченной к седлу головой пса и метлой в руке «вынюживали и выметали» крамолу.

VIII.

«В последний раз прошел по Парижу магистр ордена тамплиеров – босой, в колпаке из желтой ткани, на которой были нарисованы черти и языки пламени. Языки смотрели вверх, что означало сожжение». Прошли века, в 1745 году немецкий архивариус Глитман опубликовал найденный им документ, который гласил, что Жак де Молэ перед смертью сумел передать юному графу Гишару де Божё следующее послание:

«В могиле твоего дяди Великого магистра де Божё – нет его останков. В ней находятся тайные архивы ордена. Вместе с архивами хранятся реликвии: корона иерусалимских царей и четыре золотые фигуры евангелистов, которые украшали гроб Христа в Иерусалиме и не достались мусульманам.

Остальные драгоценности – внутри двух колонн, против входа в крипту. Капители этих колонн вращаются вокруг своей оси и открывают отверстие тайника».

– Ты, Октавиан Август – Историк, ты должен знать все это, – сказал Великолепный Ученый, – чтобы продолжить начатое... Знай, что Великими магистрами были самые выдающиеся люди, в том числе Леонардо да Винчи»...

«И может быть, те же алхимики? – подумал сын Адиевой Октавиан. – Американский писатель Хемингуэй, например, создавал в стиле тайну, вычеркивая слова, целые фразы, вырабатывая свое золото в слове... Но, кажется, я врываюсь в пределы брата Овидия? А ведь мой идеал – искать золото в камне»...

– Ищите золото в золоте, – закончил его мысль Великолепный Ученый. – Открою секрет тебе, он теперь не-

большой, но когда-то был государственной важности. Я был строго засекреченным лицом, одним из соавторов ракеты «СС-20» как альтернативы возможной агрессии. Теперь же работаю в научно-исследовательском институте по «нано»-технологии. Когда, к примеру, ввести один – два активных атома в материю, можно менять структуру, то есть по сути формировать материю, усиливать или ослаблять ее свойства. Алхимики Средневековья искали способ, а мы уже превращаем свинец в золото.

– А золото, – улыбнулся Октавиан Август – Историк, прагматик, будучи еще и императором Священной Римской империи, а еще и братом – близнецом Овидия – первого ссыльного поэта Древнего Рима, сосланного сюда, в Белую Скифию, – самое главное – превращать золото в идеи, например, в идею Бессмертия.

– Ну да, – усмехнулся в усы себе Великолепный Ученый. – Ты ищешь способы соединения Философского Камня и Эликсира Бессмертия. Ну, что же, дерзай!

* * *

А в это время другой сын Адиевой – Овидий, Поэт, лирик, как что-то почувствовал и потому был натянут в мыслях, как балалаечная струна.

Там, в Вавилоновке, говорят исключительно о Горе его золотой, о Бессмертии, Эликсире Бессмертия. И долго не ходил Овидий к Кусакиной, все у своей Адиевой обретался. Охранял окно ее от псов дядюшки ФО. А тут пошел он к Вере Ивановне, урожденной Ржевской, бывшей дворянке, уходящей корнями в «столбцы» русской дворянской фамилии. И стал он опять-таки глядеть-вглядываться с этого краю сада на тот, иной мир, откуда видна Золотая Гора. За озером, чуть дальше Беленького, куда, как рассказывала Кусакина, вывозили они на расстрел своих и чужих.

Стоит Поэт, загляделся, предался воспоминаниям. И тут за спиной шаги – видит, Кусакина движется

как-то крадучись, а за Кусакиной – Черва. Глаза у нее, как у диковатой кошки, провалились в подвалы и сверкают оттуда зеленым. Увидела она Овидия, вздрогнула сразу пришла в реализм – оказалась уже не Колдуньей, даже не Кусакиной, а Верой Ивановной, по фамилии Ржевской. Такие-то категории превращений при различных фразах Луны. Подошла Вера Ивановна к отпрянувшему от нее Овидию, тронула за рукав и улыбнулась по-человечески:

– Слыхали? Заратустра вчера опять являлся ко мне.

– Какой З-Заратустррр-а? – оторопел Овидий. – З-Заратустра какой?

– Из лета сорок второго, – спокойно сказала Кусакина. – Когда я была еще молодой.

– Не может этого быть! – решительно заявил Овидий. – Вы мозги нам тут не компостируйте своими переходами туда и обратно.

– Ну, тогда это не сам он, а тот юноша, что кинул мне рюкзак с проезжающей мимо машины. Он же был расстрелян тут, на Беленьком, – сказала Колдунья – Кусакина. – Это, скорее всего, его младший брат или младший сын младшего брата, в общем, кто-то из Зингеров. В Адамов, говорят, приехал то ли из Германии, то ли из США... Спрашивает книгу про Заратустру, брошенную, говорит, в сад нам сюда. Летом еще сорок второго. С проезжающей мимо машины. Отто Скорцени, что ли, опубликовал свои воспоминания... Книга-то у тебя. А Зингер этот остановился в гостинице, завтра сюда придет. Так что нашелся хозяин – реликвию придется вернуть...

* * *

– Знаем таких аферистов, – сказала дома сынам Адиева. – Ездят, могилы раскапывают, золото из зубов выдергивают, а затем переплавляют. Сделать хотят золотую статую Гитлеру. Одних к Кусакиной вас не пушу.

И пошла Адиева к Кусакиной вместе со своими сынами, мало ли что. Явились они все втроем, а Заратустра этот уже тут как тут, поджидает.

– И где, – говорит, – эта реликвия, наш национальный продукт – книга?

– Вы, – говорит Адиева, – и есть мастер Зингер? На одноименной машинке которого я проехала, строча как бы из пулемета, до самого Берлина. И дальше бы ехала, если бы не остановили.

– И кто остановил, спрашивается? – говорит он как бы на «эсперанто», на английском или немецком, а то, может быть, и на русском, на всеобщем каком-то языке из Вавилона шумерского, как из адамовской Вавилоновки.

Налился лицом весь кровью этот тоже, что ли, бывший юноша, а ныне добропорядочный мастер Зингер то ли из-под Веймара, а то ли откуда-то из-под Детройта.

Адиева и говорит, ему что, если вы родня тому юноше с рюкзаком из сорок второго, то это еще надо доказать. А Кусакина, превращаясь в Ржевскую, подтверждает:

– Верно, надо устроить экзамен. Сразу станет понятно по знаниям, по творческому полету – родня вы тому юноше или не родня. Может, вы «гватемал» какой-нибудь из Тринидата-Тобаго.

– Как можно сомневаться – говорит мастер Зингер, явившись сюда в наши дни к нам, в Адамов, к ребятам Адиевым, словно с того света. – Ну, начинайте свой, как у вас... «егээс»... «единый государственный экзамен». Краткие тесты: вопросы – ответы, а уж потом жевать, пережевывать... Итак, вопросы первый, второй и третий. Кто задает тон?

– Вопрос первый, – задает Овидий-поэт. – Как вы думаете, есть этот свет и тот свет в мире и литературе?

– В мире не знаю, – дается ответ. – А в литературе – есть.

– Вопрос второй, – задает Октавиан Август – историк. – Можно ли от Гомера протянуть «след» сюда к нам и через кого?

– Гомер, Шекспир, Гете, Лев Толстой, – тут же дается ответ.

– А Заратустра как же?

– Заратустра – первый Спаситель Мира, Иисус Христос новый и вечный Спаситель человечества.

– Вопрос третий, – задает Ржевская, Вера Ивановна, из русских дворян. – Сколько было крестовых походов сюда к нам в Белую Скифию и будут ли походы еще?

– Четыре всего. Два из них в недавнем прошлом, – дается ответ. – И третий уже начался.

– Куда и кто с кем воюет?

– Гунны с nibелунгами не довоевали, вот все назад к нам сюда и возвращаются.

– Вопрос четвертый, пятый, – задает вопросы Ржевская, тоже во всем весьма поднаторевшая. – Можно ли «Пьяный корабль» связать с Одиссеем, а Рембо – с Лермонтовым, Пушкина – с Шелли, Эдгар По – с Гоголем? И правда ли, что Гоголь перевернулся в гробу и кто еще, возможно, перевернется? Что в одном Гоголе сразу два памятника сосуществуют – свету этому и свету тому?

– Можно, все можно, – дается ответ. – Это все так, что когда кому каким хочется видеть.

– Что ж, – сказала Ржевская, – Адиева все понимает. Тоже баба не промах, не кто-нибудь, а родом донская казачка. – Не грусти, как Нострадамус, – зри в грядущее.

– Отдайте ему «Заратустру», – сказала сынам Адиева, показывая на Зингера-мастера песнопения, приехавшего сюда из своей заграницы.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I.

Как будто всю жизнь держали Боги сынов Адиевой в приемной дядюшки ФО, а тут распахнули двери. Сказано сынам Адиевой – Овидию и Октавиану – обоим сразу в едином лице: «Идите!» Даже страшно стало Адиевой, оттого что впереди обозначилось. Уехал мастер Зингер с «Заратустрой» из сорок второго, а смуту в душе поселил, такую тоску, играющую на страстях и сомнениях. Толковать они стали вопросы-ответы, получалось двойное, тройное, многозначное изображение.

Вопрос и ответ первый. Вопрос главный для человека и человечества: есть ли Бог или нет? Создан ли мир Творцом или человеческим духом и как отражается это в слове? «Вначале было слово», – сказано в Библии. В начале чего – всего, всей Вселенной? Коллективно, кто был в коллективе? А Творец – он сам по себе или все это дух человеческий, наполненный смыслом? «Если ищешь золото в слове, как искать его, это золото в слове, как без Бога?» – так говорил сам себе поэт Овидий – первый ссыльный поэт из Древнего мира – тут уже, в Белый Скифии, в этом степном городке Адамове. «Нет жизни без духа, нет духа без Бога, нет Бога без слова, нет без слова и Человека, нет Человека без книги», – так говорил сам себе Овидий – Поэт, сын Адиевой из Адамова.

Вопрос второй и ответ. Цепочка какая: Гомер, Шекспир, Гете, Лев Толстой – три поэта, один прозаик. Вот почему Толстой не ценил Шекспира, так о поэзии говорил: «Писать стихи – это все равно, что пахать и за сохою танцевать, это прямо-таки неуважение к слову».

– Почему Лев Толстой так сказал? – спросил Веру Николаевну Овидий – поэт.

– Между прочим, «Война и мир» как название взято у малоазиатских греков – философов, – сказала Ржевская. –

У Шекспира в трагедиях явный гомеровский «след». А Лев Толстой как художник любил оставлять только свой.

– И второе, – это сказала уже Кусакина. – Заратустра – первый Спаситель, Иисус Христос – вечный Спаситель всего человечества. А все остальные – жалкие копии, три попытки в двадцатом веке...

– «Заратустры имя известно с Урала, а Урал – Разум Земли. – Так говорил Октавиан Август – историк. – Проверяем слово это и то на «арийскость»: «З-ар-атуст-(э-а)р-а», «У-(а)р-ал». Есть «арийскость» – слово идет от ариев – древних пращуров наших, известных еще по «Авесте» – манускрипту, которому уже 26 тысяч лет. Арии – кто они: из разломов прежних цивилизаций или сошедшие с неба?» – так говорил Октавиан Август – сын Адиевой из Адамова.

Вопрос третий и ответ. Было четыре крестовых похода, в первых трех – 1096, 1147 и 1202 годах – потеряли жизнь шесть миллионов христиан и четыре миллиона мусульман. Еще Александр Македонский доказал: дальше Индии не проникнешь. И вот, взяв на Востоке огромные богатства, за счет чего и подпитавшись, Европа через торговлю уже в облике Ганзы, через те же рыцарские ордена – тамплиеров, тевтонцев – переместили сферу своих интересов в центр и на север Европы – по Балтии, от Германии на Восток.

«Полоса – полоска – Польша»; иди по польскому коридору в эти скифские пределы, через весь евразийский материк, до самого Тихого океана». – Так говорила Ржевская.

«Девятнадцатые век – Наполеон, двадцатый век – Гитлер». – Так еще в 1555 году говорил Нострадамус.

Вопрос четвертый и ответ. Бывший президент Франции Жорж Помпиду в предисловии к своей «Антологии французской поэзии» высказался о юном Артюре Рембо: до чего же неправильна у него поэзия и до чего же прекрасна. Что это – слово «политика»? Однако, прежде чем стать Президентом, Помпиду всерьез занимался вопроша-

ми литературы. «Пьяный корабль» Артюра Рембо чем не гомеровский «след» в поэзии? А сам Рембо чем не Одиссей в лице поэта – юноши, который отправляется в очевидное плавание по невероятному...

А связка Рембо – Лермонтов, Пушкин – Шелли, Эдгар По – Гоголь и т.д. – это не просто изменение точки зрения, а кардинальное обновление взгляда. «Ключ иной – не от реализма, а от фантастического – божественного и духовного». Так говорила Ржевская – сербиянка, голубых дворянских кровей.

* * *

А потом Кусакина рассказывала Овидию, как она вошла на Беленькое этого Зингера из-за границы, что приезжал в Адамов за «Заратустрой» – из сорок второго, от имени солдата – юноши, что бросил с машины в сад ей перед расстрелом этот рюкзак.

– В Беленьком гестапо расстреливало, – говорила она, – а хоронили, наверное, в Мурашихе. Вывозили на рассвете обычно. Прильну, бывало, к окошку, таращусь туда, в развилок суходола. Глаза были молодые, за полтора километра видели. Немцы-то аккуратисты. Раздевали, кого расстреливали, но не догола, оставляли в белье. А мундиры бросали в машину...

Кажется, этот Зингер не тот, за кого себя выдает. Думается, по молодости он и сам воевал, был когда-то в наших местах. Прямо с Беленького мы поднялись по горке повыше – в Костюрино. Прошелся Зингер по краю деревеньки. Все оглядывается, все ищет чего-то – приметы, что ли, какие? Гуси ходят по лугу, обошел их за полверсты, возле теленка остановился. Мимо одной, другой, третьей хатки прошел, вздохнув, сказал на ломаном русском: «Все, как и было. Негде и руки помыть».

Тут же этот Зингер вернулся в Адамов, выписался из гостиницы, сел на паровоз и укатил. «Неужели так доро-

га была ему книжка, чтобы проделать за ней такой долгий путь?»

– Немцы же, сама говоришь, аккуратисты, – вздохнул в тон ей Овидий. – Хотя, говоришь, возможен и другой вариант. Раритет, редкая книга, музейная вещь. Легендарная история о бледном немецком юноше, который пожертвовал жизнью ради высокой идеи...

– Ищешь золото в слове, – сказала Кусакина, прямо-таки на глазах превращаясь опять же в Веру Ивановну, в Ржевскую. – Ну, и ищи. А не отвлекайся, в сторону не уходи.

Полдень всего, а Гора напротив дома Кусакиной из золотой сделалась снова черной, какой-то зловещий. Тучи лохматятся, как шкура медвежья, вывернутая наружу. И как-то нехорошо Овидию, тошнота подступает к горлу «Люди! Слова-то какие прекрасные: «Беленькое», «Золотая гора», «Заратустра»! А такая над ними жуткость, Керры несметные над головой»...

Не успел Овидий попросить Небо о чем-то, как оно само собой прорвалось, очистилось сразу и улыбнулось голубым, явственным светом, куда упал узкий солнечный луч. «О мое солнце!» – так и запело все в поэте Овидии.

II.

Посещение Адамова немецким гостем придало поиску золота близнецами – братьями другой эффект. И это было 2-го мая 2007 года. И был снег. И долго он шел хлопьями, висел потом на деревьях. И умерла Адиева – мать братьев. И хоронили ее всем городом, осознав вдруг величие ее и материнство. А братья чуть с ума не сошли, мать едва не увела сынов за собой. А все же остались братья тут, стали жить без нее.

– Господи! – молились они в доме, который строили вместе. – Господи, найди и сохранить в себе самые хорошие слова о нашей Матери, Христовой невесте.

И шли они с кладбища, что рядом с базаром (ну, с рынком – рынок так теперь называется), и увидели ковер, по земле распростертый – в честь Казанской Богоматери вытканый. А тут еще колокол, колокола ударили – Казанская, оказывается, праздник.

Церковь новая, свежестроена – первые звуки стала давать, восстановилось все как-то само собой в Адамово. Господи, какая образовалась в душе благодать, зримость разлилась, неодолимая. Адиева все стоит перед глазами. Вот как автор плачу с ними вместе, с моими героями, вместе стою, во единый заплот. Грешны мы, не так жили, не то делали, Господи! Прости нас, прими мое покаяние, Господи! Молюсь вот вместе со своими героями-братьями и плачу ведь, за все плачу – за все наше и свое нынешнее.

И пришли домой близнецы-братья с кладбища, где лежит теперь Мать Адиева, а дома-то пусто. Господи, нету Матери, в огороде уже сорняки И поговорить-то не с кем, рассказать-то, как же золото дальше-то в слове и камне само собой будет искаться.

И повесили они ковер тот, с изображением Богоматери, на стену и стали ей, Казанской, с сыночком малым, класть земные поклоны, лбом о пол бить. «Господи, помоги дальше жить, богоносица, заступница! Как бы это далее перед людьми, перед жизнью не опрохвоститься... Стали близнецы-братья разговаривать в одном лице то с котом Адиевой, с тем же Васей, то с портретом бабушки, то с фотографией самой Матери. И тут как пошли все живые, помнящиеся – коллективное бессознательное, ой да, коллективно-е-е-е... ой... да не могу, не могушеньки далее-то... Автор с героями путается, за окном снег идет, сыплется, второе мая, а снег... а ведь знал я, что будет так, эры все посмешались... А власть местная хочет быть святее папы римского – ни единого флага, ни единого... Зачем же так сразу-то, люди привыкли... так и живем, приучаем сначала к наркотикам, а потом запрещаем...»

Как начали братья лбом-то бить о пол, прямо перед портретами — дедом родным Герасимом Макарычем и Богоматерью, тут-то и явился им, как и мне когда-то, Сергей Есенин, отец мой крестный, с отцом натуральным моим родился в одном году, и, позвав в поэзию меня, сына своего духовного, начал петь мне свои стихи, а я ему отвечать, голос в голос. «Тоже мучения от Бога-гения, Боже, спаси меня от самовосхваления; в бока все ширяют ногами, пинают за слово твое, мне тобой, Господи, данное и от меня уж направленное к Тебе; о Господи, спаси меня от ихнего рвения, бдения, тем не менее...»

Вот как они, близнецы-братья-то, стали меж с собой теперь разговаривать. Вот к чему ведет эта проза — конечная и бесконечная. Это тебе не алхимия слова — материальная, это еще и сам дух слова сюда подселился, соединилась материя с духом. «Неизвестно, куда вывезет после смерти — кончинушки Матери сынов-то ее этих братьев — друзей моих, сердца мово неискорененного в Разуме Земли... Даже если змея этот Разум Земли и не кусает...»

Очнулись братья — невозможно жить без Адиевой. Да и пошли братья дальше своей дорогой, как шли или, может, подозревали идти, предполагали движение...

«О, Господи! Прости, Мать, нас, прости! За все, что не так, что за жизнь-то с короб нагали да наворочали... Гора целая, темная — не золотая уж... прости нас, о Боже...»

Так вот и молились братья, оставшись одни без Адиевой. Человечество, где ты? Ладно уж, власти грешны, а мы-то народ ведь, мы же люди, каким дана совесть. Господи, перемени отношения с внешних на внутренние... Вот и я так, автор, сижу, как сыч, в доме пустом один на один с портретами — основателем рода Герасимом Макарычем, его дочкой — моей матерью Марией, с Пушкиным Григорием Григоричем, какой тут побывал на открытии

памятника прадеду его – Александру Сергеичу, – собеседую с ними, душой разговариваю...

Есть хоть с кем поговорить. Там, в деревне Синяевской, тоже трое: Лев Толстой, Тургенев и Фет, и тут, в Малом Архангельском городе, тоже трое: Пушкин, тот же Тургенев, помещиком был и тут в Топках, Лесков, родившийся в уезде где-то поблизости, в деревне Старое Горохово, когда его мать приезжала к своей матери – его бабушке...

Вот какое течение мыслей пошло у детей Адиевой, у ее сыновей-близняшек, ищущих золото то в слове, то в камне, а теперь все в одно смелось, соединилось в них, в этих ее божественных детях: у Поэта, лирика Овидия – первого ссыльного Поэта из Древнего Рима, и Историка, прагматика этого – Октавиана Августа, императора всей Священной Римской империи.

* * *

И пошли они по степи. Бок о бок, плечом в плечо. Не пускали за дверь кота своего Василия, знакомого читателю еще по Зевсу из «Прометеи» (это я говорю уж как автор, а не как герой повествования), и почему не пускали? Ведь снег же по щиколотку, холодно, хоть уже и 2-е мая, жалко ведь, еще и простудится. Однако просится – выпустили из дому. И прошел он по бетонным дорожкам, сделанных ими самими – по двору, в сад, к баньке, остановился, дергает носом, нюхает воздух своей малой родины. Тут-то и вспомнили они речь Аспазии – тут, в этой своей Евразии...

И пришли близнецы-братья к Белой Глине. С Землемером – другом Октавиана – вместе. Это он нашел глину, открыл, оконтурил как месторождение. А Овидий стихи написал – о столице Белой Глины, об Адамове – Малом Архангельском городе; прочитать, что ли, или погодить, а где еще прочитаешь?

**«Столица Белой Глины»
(полностью из четвертого романа в стихах
«Неопалимые»)**

«Нечаянно открыл: живу в столице!
Даже не хлеба скифского, а глины.
В столице Белой Глины Русь коренится,
Наш городок старинный.

Адам – из «глины человек»,
Так в переводе,
А Ева – из ребра его.
Все человечество навроде

В девонских глинах от него.
Я с детства чувствовал, тут в недрах
Таится что-то от Творца.
Дает луне, погоде ведра,
Болезни гонит, хмарь с лица.

Стоит за Правду, за Свободу!
Как мы, как будто о человек
Победу тут дала народу,
Перемогла двадцатый век.

Но, как бывало, в сорок третьем
И, кровь впитав, не стала рыжей,
А самой белою на свете
Так и осталась, к тайнам ближе.

Когда везут в ВИЛОР отсюда
И украшают ею век,
Я знаю, что такое чудо!
Оно от нас, от недр, откуда
И самый первый человек.

*Влетит в Москву какая птица,
Крылом трепещет, в окна бьет.
— И мы, — скажу, — живем в столице,
Где человечество живет!»*

III.

И еще такой поток событий в Адамово придал мыслям братьев другой оборот. Действительно, Первое мая — праздник, а в Адамово ни флагов, ни митинга, даже странно. Всегда были, и сейчас ведь государственный праздник, выходной даже, митинги трудящихся по большим городам — от Сахалина до Кенисберга, а в Адамово нет. «Дядюшка ФО, — решили близнецы-братья, — в самом деле, хочет быть святее папы римского или даже Иисуса Христа». Вспомнили, что им Адиева рассказывала: даже при немцах (при оккупации) флаги вывешивались, наш праздник трудящихся совпадал с ихним, тоже шел от Розы Люксембург. Теперь он в Адамово называется праздником не весны и труда, как везде по России, а «весны и огородов» — флаги-то не нужны, в Адамово все на огородах работают.

И в честь того, что Адиева помнила такие праздники, была даже ударницей труда, диплом и медаль ей давали «Труд — фронту». В войну, с сорок третьего, шила Адиева в мастерской фуфайки и нижнее белье для нашей воюющей армии. Вот в честь этого хотели они предложить улицу свою переименовать, назвать ее именем. Даже немцы, когда пришли, и сделали свою «оккупацию», и те увидели и сказали: а что это у вас тут улиц мало, да и у тех в названиях одни евреи и немцы («Адлера», «Володарского». «Либкнехта», «Урицкого», «Карла Маркса», а еще была «Троцкого», так ранее переименовали уже в «Первомайский» — скрытно «Сакко и Ванцетти», а «Интернациональный» тоже скрытно «Сакко и Ванцетти»).

Так вот, в честь 9-го Мая в Адамово, Фонтан собираются открывать в Парке Героев. И близнецы-братья со-

бираются про это сказать, а заодно и чтобы назвали улицу имени Адиевой, их матери, труженицы, а не вообще имени «пролетариата». Но подумали: в Адиевой героизм, может, и есть, а абстракции маловато. И тогда Овидий — первый ссыльный поэт Древнего Рима, делавший все всегда наоборот, когда стрижено-то, значит, кошено, взял и прибавил к «Белой Столице» конкретики и написал такой гимн Адамову про Малоархангельск, а Октавиан Август как император Священной Римской империи утвердил эти слова. Да еще хотел отнести в редакцию «Звезды», чтобы там напечатали в качестве гимна, а отнес в первую школу. Там и висит гимн по сей день в рекреации, на самом видном месте.

«Степная песня»
(про Малоархангельск)

«В когорте малых городов!
Возможно, и не самый малый, —
Он весь из парков и садов,
На стелах павшим звезды алы.

Мы тут живем, на видном месте,
Как раз меж Курском и Орлом,
Где ключ Оки, родные песни
И синий-синий оком.

Припев: А степь — а степь, а степь — а степь,
А степь широкая.
А по степи кресты да колея.
А ключ-река, а небо синеокое,
Глубинка русская моя.

Мое высокое раздолье.
Плесни из кружки, и течет
Одна река — на черноморье,
Другая — до каспийских вод.

Как назвала Екатерина,
Так и стоим мы на своем.
Малоархангельск – слово длинно,
Но кратко – на сердце моем.

Припев: А степь – а степь, а степь – а степь,
А степь широкая.
А по степи кресты да колея.
А ключ-река, а небо синеокое,
Глубинка русская моя.
Судьба моя, душа моя глубокая,
Россия – родина моя.
Он крепко сшит и ладно скроен,
Георгиевский кавалер.
Как у Москвы, святой Егорий
Венчает наш духовный герб.
Мы у архангелов в чести.
Как Феникс, встаем из пепла...
Любимый город мой, расти!
Да будет мне с тобою светло!

Припев: А степь – а степь, а степь – а степь,
А степь широкая.
А по степи кресты да колея.
А ключ-река, а небо синеокое,
Глубинка русская моя.
Судьба моя, душа моя глубокая,
Россия – родина моя.
Судьба моя, душа моя глубокая
Святая Родина моя».

* * *

И решили близнецы-братья, сыны Адиевой, прибавить в этом вопросе еще больше конкретности – вопреки, значит действовать, несмотря ни на что. Даже в смысле конкретно-

го времени. Давно ли было, а вот оно живо все, кровоточит. Там где-то много, а тут всего не хватает. Бронзового Солдата убирать стали в Таллине, так сюда, что ли, бы перенесли. Во Львове памятник Кузнецову, герою-разведчику (помню, прямо из окна виден был) убрали, так на родину его – на Урал к Заратустре – отправили. А конкретика такова: за Берлин легло сразу сто тысяч, за Польшу – шестьсот тысяч, а за Прагу – вон сосед наш в Адамове Косоусов Сережа, так его дед, в чине полковника, под самой Прагой погиб, перед самой Победой – восьмого мая сорок пятого года...

А что тут у нас под Адамовом? Кровавая мясорубка, по две дивизии погибали за день, «семь месяцев брали, да так и не взяли малый наш Сталинград». На Сабуровском поле в одной атаке, брошенные в бой почти без оружия, на десяти гектарах каких-то пали сразу десять тысяч – именно сколоты – скифы, хлеборобы вчерашние... Почему умолчали про Армию Рокоссовского – потому что «штрафной» была, эхо гражданской войны?... Да вот же они, дети их внуки, сыны Адиевой, сама Адиева – встали на ноги, несмотря ни на что, выросли патриотами...

А где памятник в Адамове Рокоссовскому? Вот «прешпект» широкий, через весь городок, с Орловской на Курскую сторону, так ведь имя полководца сюда, где он бывал, так и просится. А где имя Марины Чечневой – героической летчицы, тоже ведь так и липнет к улице Урицкой, ведущей в Протасово – малой родине летчицы. О Аспазия! О нравы и времена!..

И соединяясь в одно в своем поиске золота в слове и камне, пошли близнецы-братья по родимой земле, по ее выбоинам, вымоинам и щербинам; заросли поселенья крапивой и бурьянами забвения, и куда они шли? А хоть куда отсюда – на Юг и на Запад, куда уходили многие и не вернулись. «Усвятские шлемоносцы», богатыри святорусские, целые армии из «Слова о полку Игореве»... штрафбаты из скифов-сколотов, вскормивших когда-то

Элладу, всю античную Грецию, а через нее всю европейскую цивилизацию... Вот он – городок сколотский, белокифский, Белая Глина, житно-ржаной черный хлеб. «Аржаной» говорят тут, проверяя звуком голоса само русское слово на «арийскость» звучания...

Танков тут битья бито было. Не меньше, чем где-то на другом фланге. А как воевали хлебоборбы – «усвятские шлемоносцы», какую проявляли смекалку! Знамя этой саперной бригады прошло до Берлина. А началось все тут, на этом вот поле, в треугольнике «Малоархангельск – Поныри – Глазуновка», где-то тут за Протасово, перед адамовской станцией.

Поле, рожь в бурьяне. Две «полуторки» по краям, трос между ними, а на тросе повешены мины противотанковые. И прет сила сюда на них – чужая стальная армада. А «полуторки» бегают, по краю поля родного, сеянного намедни. И туда-сюда трос таскают, наводят мины под самую гусеницу.

Впереди никого, далеко никого не видать, а взрывы. И горят вражьи танки, не обращая внимания на края поля, где «полуторки» бегают... Героизм со смекалкой вместе очень нравится сынам Адиевой, шившей фуфайки на фронт, для нашей Действующей армии.

IV.

Когда в Адамове снег пошел хлопьями и белое на зеленом лежало почти до полудня, Землемер сказал близнецам-сынам Адиевой:

– Диво будет какое-то, вот тогда поглядите. Либо Фонтан, какой строят, в Парке Героев, в самом деле, начнет фонтанировать, воду вверх подавать, либо еще чего-нибудь дядюшка ФО удумает...

Но забыл Землемер про богов, а они взяли и Купаву в Адамов прислали – дочку старшую, от прежнего брака дядюшки ФО. А она как приехала, так и пришла к братьям,

да все не знала, где бы ей поселиться, у отца, как и в прошлый раз, не хотела. Либо, говорит, в гостинице, что ли? А гостиничка в Адамове маленькая. Вот Купава и говорит отцу:

– Райпо бы туда, что ли, перевели, а в Райпо бы – гостиницу. Двухэтажное здание, на виду главной улицы. А то ведь в Райпо пустуют комнаты, а в гостиничке мест не хватает.

А дядюшка ФО расценил слова ее как вмешательство в его мафию. Вот она и не хочет жить у него. Пришла она к Адиевым посоветоваться, а Адиевы ей и говорят:

– Иди к нам сюда, бери и живи.

– А вы где? – говорит она. – Где вы-то жить будете?

– А мы, – говорят, – будем ходить в Райпо, это в Районное потребительское общество и занимать временно, по ночам, пустые помещения. А днем будем жить, где и жили.

Так сказали братья, а сделали по-другому. На ночь стали ходить в Вавилоновку, к другу своему – Землемеру.

– А с вами тут, – сказала она, – я ночью жить не хочу.

– Почему? – удивились они.

– По кочану, – сказала она. – Вот хотя бы ты, Поэт, ну-ка прочти стихи свои, как ты считаешь, может, самые лучшие.

Овидий взял и прочел вот такие. Связав Адамов с Малоархангельском, Сабуровское поле – с эхом гражданской войны, а китель военный – с самим Рокоссовским.

«Китель Рокоссовского»

«После Сабурово – фронта Хозяин

В Малоархангельск нагрязнул.

Был я мальчишкой, рот свой раззявил,

Не оторвался, как глянул!

Был он высок и красив, в сапогах,

В кителе, сшитом Филиппом.
Был тут такой у нас – Лаушкин, маг,
Специалист по клипам.
В кино хоть полководца снимай –
Вылитого артиста –
Дань Рокоссовской фигуре отдай!
Видел, стоял очень близко.
Мы, пацаны, сквозь оцепленье
Как-то пробрались. В кругу
Трость проявляла особое рвенье, –
По сапогу, по сапогу!
Алый околыш, белые лица, –
Мог бы любого в окоп!
Я же на китель не мог надивиться.
Ажник он треснул под мышкой,
Сроду не видел, это уж слишком,
У генералов трескалось чтоб.
В кителе, сшитом Филиппом,
Встал Рокоссовский у школы старой.
Бил Рокоссовский по клипам,
Сразу по всем кошмарам.
Я бы, напротив, музею
Отдал те клипы следом,
А тут бы у школы поставил Расею
В кителе, сшитом соседом.
Я бы поставил памятник тут,
Сделанный фронтовиком.
Тоже сосед мой!
Годы идут,
Не успокоюсь на том!
Все говорят, мир из идей.
Крутится шарик, неистов.
«Филипп» с латыни – любящий лошадей,
А Рокоссовский когда-то был кавалеристом».

* * *

Купава прослушала эти стихи Овидия и говорит:

– Не про Любовь. Вот когда про Любовь напишешь, тогда и поговорим.

И тут же положила глаз на другого брата – Октавиана Августа:

– Ну, а ты-то чего хорошего сделал?

– Да вот, – говорит он, – с Землемером Белую Глину нашли, недра в золото теперь превращаем.

– Вот когда превратишь, тогда и поговорим... Да что вы, ребята! – вспыхнула Купава. – Имена себе какие-то попридумали, нет вам, что ли, русских?

– Адамова как дала, так и пусть! – твердо сказали ребята – Овидий как первый ссыльный поэт Древнего Рима, а Октавиан Август как император Священной Древнеримской империи, при котором Овидия куда-то под Одессу, что ли, и выслали.

– В заданный район, – уточнил тут же брат-прагматик, Историк. – В устье Днестра, где рай был у скифов.

– Вот когда про Любовь будет что-либо, – утвердила она уже сказанное, – тогда на что-то и рассчитывайте.

Тут-то и случилось, едва стаял снег, диво дивное: позвонил из Орла Землемеру друг его – Великолепный Ученый. И вот что сказал:

– Тут у вас, – говорит, – в областном центре целое столпотворение: с юга по России, через Курск в Орёл доставлены из самой Греции мощи святого Спиридона. Десница – правая рука мастера, помогающего всем пребывающим в нуждах... Святой Спиридон – это как у нас Николай – угодник, только возрастом старше, с третьего века нашей эры...

Господи, так в душе и запело! Это мастер Зингер запел в братьях. Нужно сказать, что и я как автор тоже все дела бросил и летямя летом, орлиным полетом скорее в

Орёл. Это же он ко мне, думаю, прибыл с острова Корфу, это же Итака, откуда и Одиссей. А я про Итаку, про царя Одиссея продолжение самого Гомера написал, вот она, рукопись, под названием «Белая Скифия». «Дай, — думаю, — к мощам святым прикоснусь... чудодейственным образом... вместе с моими героями»...

Впали братья в такое очарование. И не слышит Поэт уж, что говорит Купава ему, мол, про китель-то лучше бы сосед твой стихи написал, дескать, он фронтовик, ему бы. «В детстве все это видел я как автор, и на всю жизнь, — сказал Поэт, Адиевой мамы сынок. — В данном случае, это я лично рассказал про китель от имени автора».

— Все запутали, перепутали, — сказала Купава. — И про китель, и про Рокоссовского, а также про авторство и соавторство.

— Так в чем же дело? — говорят ей близнецы-братья оба в одно. — Едем, что ль, к самому Рокоссовскому? Штаб его в Коренной пустыни, тут — под Курском где-то. Если что и пешком дойдем, как в старину — в Сибирь пешком хаживали...

Все втроем и собрались. В народе все знают. Электричкой до станции Золотухино, а там и автобусом. Стоит там на станции «Икарус» — вместительный и шикарный, часу своего дожидается по расписанию. А пока все втроем стали они разглядывать Памятник Погибшим Солдатам тут же, близко к вокзалу. Автор — скульптор В.А. Чухарин (Валентин Александрович). «А, это ты? — думает автор вместе с моими героями. — Друг моей с молодости, еще со студенческих лет в Курске, это ты его тут поставил?» И на что все втроем обратили внимание, так это на то, что на памятнике целые списки погибших, и все из одних, выкошенных деревень. Каково глядеть на такие «убитые» списки! «Нерожденные дети», — застучало в висках.

V.

Приехали в Коренную. Прошлись пешком. Как полмники какие-нибудь с пальмовой ветвью – с кистью рябины. Так, с рябиновой кистью, и взяли правее, скорее, инстинктом почуяли, что от автовокзала надо сначала сюда. И попали все втроем, к штабу Центрального фронта – Армии Рокоссовского.

Справа-слева от главного входа – пушки-гаубицы. В камуфляже. Такими же новенькими, серо-зелеными и видел их я как автор этого повествования тогда еще, в лето сорок третьего. Провозили пушки, помнится, через Луковец. А я в это время читать у солдат учился, уже начал складывать буквы. А тут тягачи с этими пушками. Бойцы в касках зеленых, в новенькой форме – с иголочки, на гаубицах, на тягачах. По местам сидят строго. Три дня и три ночи синяя дымка висела, горло щипало.

– Помнишь? – говорит один брат другому. – А назад, искореженные, полуразбитые, – прошли за какие-то пару часов.

Это все памятно мне в качестве автора, а от них по инерции идет «коллективное бессознательное». Передалось мне от мифов, от степи самой, от кромешной войны. И – тишина уже нынешняя. Даже не верится. Так и думается, вот-вот где-то что-то опять взорвется, полетят самолеты, парашюты повиснут, тягачи зарычат, покажет оскал свой война...

Вперед прошли левой аллеей – танк увидели у музея. «Т-34» – основной танк наш в прошедшей войне. Даже вздрогнул я, невероятно! И ты тут, брат? Такие танки стаскивали в ремонтную часть полковника Угрюмова к берегу Сосны-реки, в Луковец из-под Понырей, где-то за Малоархангельском – израненные, угрюмо молчащие, но еще как живые, кровью обрызганные изнутри. И стонали они, все рассказывали, кто живьем сгорел, а кого отправили в госпиталь...

И снаружи, и изнутри все до шпента мной, мальчишкой, изучено. В карманы напихано все до последнего шурупчика. Патроны: с черной окантовочкой – бронебойный, с зеленой – трассирующий; от пулемета Дегтярева, пистолета «ТТ», от автомата «ППШ» с круглым диском... Поднял, помню, такой шуруп – черный, промаслен, «толстоват», думаю. Глянул сбоку – косточка розовая, палец!.. И давай выпихивать все из карманов... А это вот люк внизу. Не вылез снизу из танка с перекошенным от удара люком молоденький лейтенантик. Получил вчера письмо из блокадного Ленинграда, погибла вся семья, а сегодня сторел и сам под Адамовом...

– Эх ты, конь!

Конь вороной!

Дружим мы с тобой,

Кружим мы с тобой –

Конь дорогой мой, стальной!

И вот тут же, следом за танком, домик – музей. И прямо перед нами Бронзовый Солдат – Алеша на зеленом холме.

Справа, в конце асфальтовой дорожки, блиндаж штаба Фронта. Заглянули в глубь – холодом, мраком повеяло. Вот где Рокоссовский был со товарищи, принимались решения... И кадры замелькали, полетели хроники из кино, и Ульянов в образе Жукова, и друг его Рокоссовский... только троим и известно было: Сталину как Верховному, Василевскому как начальнику генштаба, Жукову как заместителю Верховного, почему несданный Малоархангельск не герой, а слава пала на Прохоровку...

Потом расскажу.

Какое место для командного пункта! Слева, от монастыря, овраг, крут откос, танконепоходимое место...

А самолеты все летят из-за головы, все рычат тягачи и ухают гаубицы, сыплется мелко пулеметная дрожь, падают люди, осыпается рожь. Перед штабом уклон к реке,

змеятся затянутые паутиной траншеи. И рай вокруг – нынешний, настоящий, божественный, человеческий. Мячики яблочек под яблонями и на яблонях мячики – чудные, красно-бело-зеленые: антоновка, грушовка, белый налив, – сколько угодно, ешь не хочу, все за так. Урожай в честь чего?.. В честь Свободы...

Заходили они по берегу Тускари – от дальних монастырских владений, от холодных ключей. Речка текла за спину, берег стало быть, правый. Так, по берегу, и дошли они до главного места.

Иордань тут внизу. Ключ бьет из горы толщиной в две руки. Хрусталь какой, вкуса необыкновенного. «Святыми» испокон называют такие места по Руси, вода – главный движитель жизни. Икону нашли у воды когда-то – знамение, основали тут монастырь, а потом уж и ярмарки пошли на всю Россию...купаются люди в речке, остужают подошвы ног – денек-то хорош, позднелетний, а уж там недалеко и до Покрова.

– Купайся, Купава, – сказали братья.

И сами разулись, стали совать ноги в комфортную воду.

– Живая, – показывали люди им куда-то на середину речки. – Лечит.

– Хороша, хорроша-а-а!! – смеялись сыны Адиевой, попав в божественную обстановку.

А следом за ними входила в воду и Купава. И все втроем смеялись они Солнцу, лестнице, ведущей наверх, и улыбалась в ответ им вся Коренная. И церковь справа по лестнице, говорят, тоже Казанской Божьей Матери, как у Сергея Есенина в Константиново, как на ковре дома у них в Адамове. Такой «треугольник» святой...

Первой это заметила Купала. И что заметила эта зоркая, как натянутая изнутри вся она, эта Купава?

– Видите? – сказала она, проявляя волнение. – И что там видите?

И показала рукой ввысь по лестнице. Чуть левее. Напротив храма Казанской Богоматери.

– Святой наш – Серафим Саровский, – сказал одно-значно, проходя мимо, монастырский служка. – Скульптура работы Вячеслава Михайловича Клыкова.

– Хорошо, – сказал один брат служке, а другой переспросил Купаву:

– Где это? Что это?

– Да вот же! Разве не видите? – вспыхнула вся перед Солнцем Купава. – Сияние ободочком над головой, нимб!

– Видим, видим!! – закричали близнецы-братья – сыны Адиевой.

Они такие! Уж если один что увидит, так тут же то же самое и увидит другой.

– Нимб, нимб! – подтвердили они Купаве. – Сияет.

И Поэт подумал, что светлый такой ободок вокруг головы Серафима Саровского – это как на иконе. Например, у Андрея Рублева в его «Святой троице», а другой – Историк тут же стал предполагать, и откуда взялось хоть такое явление? От Солнца или от отражения церкви – Казанской Божьей Матери, что рядом, напротив? А может, от дыхания людского, изобильно собрались тут, ведь воскресенье. А Солнце радовалось...

VI.

Так и стоял нимб теперь у них перед глазами – куда ни глянут, на что глаз не положат. На крест церковный посмотрят – стоит в очертаниях круга, внутрь церкви зайдут – над иконостасом светится во всех его сложных узорных образованиях; из помещения выйдешь наружу – напротив монастырские службы, а и там над ними дают округлость свою очертания света, светлее вокруг головы, чем все остальное пространство.

Миновали проходную церковь с реставрируемыми фресками, вышли на площадь. Имени Трех Охотников, что ль, называется? Тоже памятник, тоже фигуры, птицы Божии – голуби. И тоже Фонтан такой, тоже сияние...

Оглянулась, посмотрели, откуда поднялись по лестнице, – откос крутой, а там зеленые поля – видать далеко-далеко, до самой Аспазии, до Спиридона, и всюду Россия – Родина, и на всем этом – нимб, глаза Серафима Саровского и вся жизнь, как на ладони, друзей моих – Клыкова и Чухаркина, на земле просиявших.

– Видишь что-нибудь? – спросил брат Поэт Купаву и брата Историка.

– Вижу, – сказал брат Поэту. – И слышу, слышу!

– Что слышишь? – спросила Купава.

– Музыка слова! Оркестр Кониффа, песню «Зеленые поля».

И начал брат Поэт читать нараспев стихи, обращаясь к нимбу, тому, какой очертил вокруг Саровского Слава Клыков, знакомый ему еще со студенческих лет, еще с Курска, по площади Перекальского, напротив мединститута, когда жили они тогда у хозяйки, в одной комнате с Валея Чухаркиным, и было их много, студентов, а я, тоже студент, пришел к ним туда по поводу переписи населения, и засиделись, заговорились... Господи, а теперь нет ни того, ни другого, в один год ушли. И нимб сияет внутри меня, а наружи над ними сияние...

И нашли они тут, в Коренной, где присесть. И присели все втроем, и начали думать: что это? Кем поделана натуральность такая, или само пришло? Может быть, это Любовь, Любава такая? Вы-то как думаете? Оторвите глаза от бегущей строки да и загляните вперед, оживите прошлое, а куда нам без этого?..

И начал читать Поэт стихи братьям и сестрам своим тут собравшимся. В этот год Русского языка пришли все они поклониться этому берегу, этому Празднику Всех Святых, на земле просиявших. Овидий, спой им свою песню под музыку моего сердца!

«Зеленя».

Слово, введенное в оборот речи Тургеневым.

«Снеговье обоймет, и с зеленых полей
Понесет меня к Солнцу, в заветные дали.
Я иду, я иду – ветер злее и злей,
Мы горластей еще не видали!

Норовит под кожанку, в теплушку залезть –
Застудить, опрокинуть, закинуть в курганы.
Обопруся о дуб, – уж такие мы есть!
Преждем, перебесятся старые раны.

Те поля уж не пашут, а те зеленя
Уж, наверно, последние. Экое дело!
Бурьяны, бурьяны ободрали меня,
Когда шел, где, бывалыча, греча кипела.

Привезут из – за моря, и горюшко с плеч.
Перемелют и – крышка, без всякой мороки.
Променяют на хлеб нашу русскую речь,
Да еще и чужие подсунут пороки.

Ветер рвет кожанок со плеча моего
Посижу у костра, пошаманю на тризне.
Натерпелись за жизнь, навидались всего
Зеленя, зеленя, зеленя по отчизне.
Натерпелись за жизнь, навидались всего –
Зеленя, зеленя, зеленя по отчизне».

* * *

Вон куда видать отсюда – с откоса, с Коренной, от Свободы – аж до Адамова и далее, до Соловков, куда уходили и не возвращались. А и тут, в Адамове, и ныне имеются страждующие свои «луноходы», тени прошлого в настоящем. Монетарное общество – эти долги, недоработки свои

дядюшка ФО тут же пишет на всех. Вот и крутятся, вертятся эти круги один за другим, рекрутируются новые поколения. Ибо возьмут с тебя сто, а дадут двадцать пять... Слишком много двоеточий – так и лезут в очи; «очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные»...

* * *

Уезжали отсюда уже через Курск. Проезжали поездом с Юга на Север. Вот и станция Свобода. Равнение в окнах вагона держите налево – на белую церковь километрах в пяти, на высоком зеленом от холме. То и есть Коренная – святое место Руси! Сияет-то как! Осеняет проезжающих мимо в поездах то с Юга на Север, а то с Севера на Юг, и багословляют всех нас на жизнь: Серафим Саровский, Коренная пустынь, Свобода...

* * *

Теперь и в Адамове имеется это сияние, этот нимб, его привезли сюда сыны Адиевой вместе с Купавой. Воду из Коренной они дома особо поставили – для крайних нужд, для поминовения и прославления.

Особо стоит коренская бутылочка, ждет.

Фонтан-то в Адамове запустили, качает воду, фонтанирует, олицетворяя все, что касается золота в слове и камне. Вспоминают старожилы Адамова давний, еще послевоенный сюжет – трофейный фильм «Скандал в Клошмерле». Мальчик – пис, со струйкой вниз, помнится и до сих пор... А котельные запустить нечем...И пушка как стояла стволом на Восток, откуда пришли свои, да так и стоит, таращится. Просто умом постичь невозможно, что завтра возникнет под голубым высями...

Так и живем.

Фонтанируем.

А счастья все нет.

VII.

Я уже, кажется, говорил – про то, что тезка мой – Леонардо да Винчи – был Великим магистром ордена, так сказать, «мейстерзингером», причисленным к поющим? Помните его картину «Тайная вечеря»? Вот что сказано по этому поводу в книге немецкого юноши, которую бросил он в сад Кусакиной вместе со своим рюкзаком.

«На этом месте прорицатель прервал приветствие Заратустры и гостей его: он протиснулся вперед, как тот, кому нельзя терять времени, схватил руку Заратустры и воскликнул: «Но, Заратустра! <...>

Кстати, разве не пригласил ты меня на трапезу. И здесь находятся многие совершившие длинный путь. Не речами же хочешь ты накормить нас?

Не всякий, как Заратустра, пьет от рождения одну только воду <...> Вода не годится для усталых и поблекших: нам подобает вино – только оно дает внезапное выздоровление и импровизированное здоровье!» <...>

«Хлеба? – возразил Заратустра, смеясь. – Как раз хлеба и не бывает у отшельников. Не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят <...>

Мы скоро устроим знатный пир... у Заратустры даже королю не зазорно быть поваром».

Это предложение пришлось всем по сердцу; только добровольный нищий был против вина и пряностей.

«Слушайте этого чревоугодника Заратустру! – сказал он шутливо. – Для того ль идут в пещеры и на высокие горы, чтобы устраивать такие пиры?

Теперь понимаю я, к чему он некогда нас учил, говоря: «Хвала малой бедности!», почему и он хочет уничтожить нищих».

«Будь весел, как я, – отвечал Заратустра. – Оставайся при своих привычках, превосходный человек! Жуй свои зерна, пей свою воду, хвали свою кухню – если только она веселит тебя!

Я — закон только для моих, а не закон для всех. Но кто принадлежит мне, должен иметь крепкие кости и легкую поступь».

* * *

— Это место было подчеркнуто, — заметил брат Поэт — сын Адиевой и воскликнул вдруг, осеняясь: — Так вот почему того юношу они везли на расстрел!

— А мы, побывав в Коренной, разве не больше причастились к нимбу, чем к Небу? — ответил другой сын Адиевой — Историк.

— Нимб везде у нас, — сказала Купава.

— Мудрый, наверно, этот дядюшка ФО, — заметил Историк — император Священной Древнеримской империи. — Соединить Воду с Небом, а Небо — с Нимбом.

— А за Водой как источником — ввысь и потянутся люди, — сказала Купава, впервые, хотя и негласно, оценив зерно мудрости отца своего.

* * *

«Человек зол» — так говорят мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было правдой!

«Человек должен становиться все лучше и злее» — так учу я <...>

Но это сказано не для длинных ушей <...>

«О высшие люди, не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы исправить то, что сделали вы дурного? <...> По-моему, вы еще недостаточно страдаете. Ибо вы страдаете собой, вы еще не страдали человеком.

Будьте осторожны, о высшие люди! Ибо нет для меня сегодня ничего более драгоценного и более редкого, чем правдивость.

Не принадлежит ли это «сегодня» толпе? Но толпа не знает, что велико, а что мало, что прямо и правдиво: она криводушна по невинности, она лжет всегда <...>

Остерегайтесь так же ученых! Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них холодные, иссохшие глаза, пред ними лежит всякая птица общипанной <...>».

И тут в близнецах-братьях – сынах Адиевой – в душе возникла песня тоски: зачем нам все это? С этим они пришли сюда, они пригрелись тут, и этим сказано все, у нас же есть и свое.

Да, «если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами!» «Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!»

И почему так: «кто родил, тот не чист, должен омыть душу свою?»

Действительно, «чем совершеннее вещь, тем реже она удается».

О Ницше, о Заратустра! В мятущемся этом, бледном немецком юноше! Зачем вы, убили его? Нам жаль его, возможно, талантливое, со своей песней без слов.

В груди этого, не вполне раскрытого Зингера мы плачем о нем вместе с ним. Зачем вы пришли сюда к нам и привели его силой? Где ваша Совесть – в детях ваших детей? Вы расстреляли юношу тут, на Беленьком, – самом чистом месте Земли... Он бросил рюкзак свой Кусакиной, а попал в меня, в мою душу... Оставьте смерть у себя там, не несите сюда войны... Так говорим уже мы следом за Заратустрой. А с нами и юноша тот, а с ним и герои мои – близнецы-братья, сыны Адиевой – Поэт и Историк. И Купава – тайно любящая, но – кого? За спиной у них теперь Коренная, Серафим Саровский и нимб вокруг головы, на Земле просиявший как вечный праздник людской. «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови – уведи меня в стан погибающих»...

* * *

Все втроем пришли они к камню Фонтана, у Парка Героев. Грачи, прилетев, пили из него воду. А взлетев, сесть грачам было не на что – тополя, еще екатеринские, были спилены, а с ними убраны гнезда. И теперь грачи

салятся на огороды и, мстя кому-то, дергают рассаду — будущую капусту и помидоры.

— Твари, — говорят одни, проходя мимо.

— Жалкие вы, милые, — говорят другие, вспоминая, что именно тут, в тени, под мартовскую капель с дерев, зазвучали у них еще в юности первые песни, послышалось первое золото в слове...

Заметили? Все чаще на этих страницах подразумевается редкое слово «любовь». Что же надо, чтобы слово поднялось из недр, сделалось состоянием? Не надо нам, чтобы грачи делались белыми, пусть останутся черными, главное естественность: «Серафим Саровский, Коренная пустынь, Свобода...»

VIII.

А вот что начертанным оказалось в Установлении: присвоить Белоярску звание города воинской Славы. «Так ведь про это звание, твердо помню, говорилось к 60-летию Победы для таких, как Ельня, Прохоровка, Мга... малые, но по подвигу знатные...»

Малый Архангельский город — первый в ряду, «зелок крепок орешек». А все обходят его. Дуга-то Белоярско-Куреневская — дважды «дуга». Одна — наш выступ с Куренем внутри — в сторону Запада. Другая — их выступ с Белоярском внутри — на Восток. Так не путайте, граждане, какую роль сыграла для этих выступов широкая степь. Для Куреневского выступа — Малый город и Прохоровка, для Белоярского выступа опять же Малый город и Болхов. Выстояв, Малый город создал возможность для обхвата Белоярска с Юга, а взятием Болхова с Севера стал угрожать возможностью замкнуть «колечко» позади Белоярска, что заставило врага вывести из Белоярска войска, как из будущего мешка. А взятие Брянска, продвижение к Белоруссии создавало возможность нового, еще большего «котла» уж за всем Куреневским выступом, по

линии Белоруссия – Черное море. Это и заставило неприятеля «выпрямить» линию фронта, сняв войска с Прохоровского направления, где они продвинулись в глубь уже на 35 километров. В ставке Гитлера хорошо прочитали замысел трех: Сталина, Василевского, Жукова, может, даже и прогибавших по-скифски в себя вражеские войска: чем глубже они, тем страшнее «котел»...

Фронт Рокоссовского – Центральный, а основа его в центре – Малый Архангельский город. «Малая дуга по железнодорожной линии, малый выступ перед Малым городом в каких-нибудь семь-четыренадцать километрах, которые они «семь месяцев брали да так не взяли малый наш Сталинград». Пространство перед Малым Архангельским городом в степи – центр сразу двух «выступов» с разворотом на Юг – за Курск и на Север – за Орёл. Именно тут и провернулось, как черпак с кашей, это огромное многомиллионное сражение. Это как Небо над Землей проворачивается вокруг Полярной звезды, ковша этой Большой Медведицы. Посмотрите на карту – увидите, что это так. Не до того тогда было, умолчали об этом, зачем? Да и штрафная армия Рокоссовского, эхо гражданской войны. А теперь они, убиенные, молча лежат тут на этом пространстве степи, так дайте хоть мы за них это скажем! Просто не имею права молчать!

Большая дуга – это битва не за города, а за степь, за оперативный простор, за Русское поле. И в этой стратегии особую роль сыграл именно Малый Архангельский город. Выстояв, он создал стратегические возможности далеко за спиной врага, на Западе для большого «котла», выручив, вместе с Прохоровкой и Болховом, сразу три областных центра. По две дивизии в день погибали тут под Малым Архангельским городом летом сорок третьего, семнадцать Героев Советского Союза за один день сражения тут где-то под Ольховаткой, кровавое месиво на Сабуровском поле. И – ни шагу назад! Ни километра. И после

только вперед — от этих высот, от истока Оки! Именно тут впервые прозрелся окончательный смысл всей нашей Победы!

Тут был и Первый салют — после того, как отбились от наступающих полчищ. Именно тут, в этом Парке Героев, в честь погибших товарищей, хороня их, все подняли вверх оружие и стали стихийно стрелять. И это было в июле, а не 5-го августа. Малый Архангельский город олицетворял тогда степь, пространство, великую армию на этом пространстве. Не было еще таких огромных сражений в мировой истории! Сотни километров с Севера на Юг, семь миллионов сражавшихся с обеих сторон. А ныне историки тянут его к ординару, навязывая мысль принимать гигантскую, стратегическую степную битву как сражение за города.

Что же мы забываем, что тогда говорили фронтовики! Генерал Седов погиб тут, под Малым городом. Город Седов наказывали военные построить между Малым Архангельским городом и Понырями. Уж вокзал в Понырях поставили такой видный. Но ушли на Запад войска, а тут в руинах Малого города так и исчезла идея крупного города...

Мал городок — «орешек», однако достоин! Достойны герои, лежащие здесь, чтобы знали о них в стране, в столице, в Александровском саду, у памятника Неизвестному Солдату. Как раз за Мурманском есть на плите там местечко, я приглядел то местечко и для нашего города, для наших, всеобщих героев. Майор Лисунов, капитан Евдокимов, комбат Снегирев, солдат Ефремов Геннадий, чудом вырвавшийся живым из сабуровской «мясорубки», — им нет числа, а на плитах лишь сотни. Справедливость нужна нам, живым, будущим поколениям...»

Вот какую тираду закатил сын Адиевой — этот Историк. И я с ним как автор, как свидетель всего, что было тут и тогда, — совершенно согласен.

* * *

И что еще подвигло Историка на такую Любовь, так это то, что брат его Поэт-лирик связался через слово свое с Заратустрой. Перетягивать стало Купаву то к Историку, а то к Поэту за эти его стихи и песни. Да мы люди скромные, нам чужого не надо, но и своей, братцы, пяди не отдадим.

— «Георгиевского кавалера» я сам лично присвоил в песне Малому Архангельскому городу, — сказал Поэт у Фонтана адамовским грачам.

А они взяли и улетели, сели к себе на новые гнезда. Кричат, галдят, протестуя против всякой несправедливости, тем более исторической. А мы по-прежнему до малых городов с велим подвигом никак не дотянемся, не хватает нас на такое. «Если бы так тогда воевали, где бы мы были?» Так говорим сейчас мы с Заратустрой.

После финала.

Что же искали сыны Адиевой вместе и что врозь? Историк задумался о Мурманске — крайний Север и крайний город на камне городов — героев в Александровском саду. Говорит во весь голос: «Вот за ним и чеканьте Малый Архангельский город!»

А тут, в сердце Руси, в этом Малом городе, как заметил даже неприятель еще тогда, в сорок первом, до сих пор в названьях лиц и переулков все евреи да немцы. Да дайте городу денег! И пусть хоть улицы-то переименуют, назовут именами своих, зачем торчать грачам тут на наших братских могилах!

А другой сын Адиевой — Поэт, подобно Алхимику, уж на склоне лет, научился все-таки делать золото из серебра, песню — из тоски, воду — из неба, любовь — из нимба...»

На этом и прорывается слово, написанное о любовных отношениях в треугольнике близнецов-братьев с Купа-

вой. А что дальше будет – пусть читатель сам до всего додумается. Главное – не забыть, что говорит Заратустра. Главное – это что кому когда каким хочется видеть.

* * *

Пора от войны оттуда отторгнуться – жить тут в естестве, по-человечески. Вышел я на огород свой в Адамо-ве – да как глянул, а май – месяц, в саду бузуют всюю соловьи, всюду – одуванчики, отпрыски Солнца. «Возлюби ближнего. как самого себя». А все от «Авесты» идет, от ариев, спустившихся по Уралу к Разуму Земли. Через семьсот пятьдесят тысяч лет Земля меняет свои полюса.

Но вот и салют в Адамо-ве, в небе – цветы, как яркие вечерние отпрыски Солнца. Да, первый салют был именно тут и тогда. Я видел эти желтые пятки, пока еще без гробов... Все говорят о Победе, а я вообще против войны выступаю. От имени павших тут фронтовиков, их фото дома у нас в комодке – майора Лисунова, капитана Евдокимова, солдата Ефремова Геннадия...

P.S. Прикрепил на стене портрет дедушки в доме своем в Адамо-ве. Герасим у Тургенева в «Муму» немой, а мы с дедушкой Герасимом Макарычем – громкоговорящие. У него все три сына с войны не вернулись. Свое описание лет я веду еще от «Авесты» Гомера. Видите? Это ко мне сюда приходил из Итаки святой Спиридон, как Никола-чудотворец, в нуждах людских помогающий. Вот мы с Муму и вникаем в пророчества Нострадамуса... Отцы! Перед Временем все мы одиноки. А вчера митрополит Лавр посадил в Коренной пустыни вяз в память о возвращенной иконе – знамени во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

*Апрель-май 2007 г.,
г. Орёл – г. Малоархангельск.*



Содержание

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ <i>(предисловие). От автора</i>	5
Игорь Золотарёв. «МАСТЕР ЛЕОНАРДО ИЗ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКА»	11
МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ	35
<i>ВМЕСТО ПРОЛОГА</i>	35
<i>ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ</i>	39
<i>ГЛАВА ВТОРАЯ</i>	66
<i>ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОСКВА – СТОЛИЦА.</i>	95
<i>ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ</i>	124
<i>ГЛАВА ПЯТАЯ</i>	153
<i>ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ</i>	182
<i>ГЛАВА СЕДЬМАЯ. МОСКВА – СТОЛИЦА</i>	211
<i>ГЛАВА ВОСЬМАЯ</i>	237
<i>ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОРЁЛ – ГУБЕРНИЯ</i>	264
<i>ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МОСКВА-СТОЛИЦА</i>	295
<i>АДАМОВ – РУССКАЯ ГЛУБИНКА</i>	302
<i>ВМЕСТО ЭПИЛОГА</i>	324
КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ, ИЛИ НА ЗЕМЛЕ ПРОСИЯВШИЕ <i>(повесть – притча)</i>	327

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Золотарев
Леонард Михайлович**

**«Москва – третий Рим»
(4-й роман в стихах)**

**«Коренная пустынь»
(повесть-притча)**

Редакция и корректура автора

Ответственный редактор:

Осмоловский Олег Николаевич

Издатель Александр Воробьёв

Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г.,
выдана Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.

Подписано в печать 19.06.2007. Формат 60x80 ¹/₁₆

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,25

Тираж 100 экз. Заказ № 356.

ИЗДАТЕЛЬ
AV
АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ